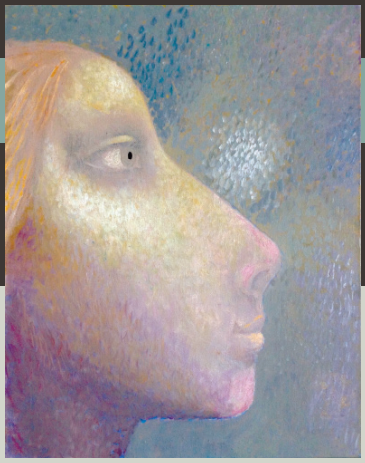
Одесский
альманах

№83

IV / 2020

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ



PLASKE
ПЛАСКЕ

Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 4 (83), 2020
Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
(свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010 г.)
Председатель редакционного совета: Иван Липтуга
Редактор: Феликс Кохрихт
Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга
Технический редактор: Геннадий Танцюра
Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой информации:
КВ № 19644-9444Р от 08.01.2013 г.

Адрес редакции: 65001 Украина, Одесса, ул. Ак. Заболотного, 12, а/я 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»
Украина Одесса ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД №21 от 20.01.2003 г.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Тираж 100 экз.
Заказ № _____

Літературно-художнє видання серії «Одеська бібліотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 4 (83), 2020
Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» (свідоцтво ДК № 3673 від 21.01.2010 р.)
Голова редакційної ради: Іван Ліптуга
Редактор: Фелікс Кохріхт
Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губар, Іван Ліптуга
Технічний редактор: Геннадій Танцюра
Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:
КВ № 19644-9444Р від 08.01.2013 р.

Адреса редакції: 65001 Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного, 12, а/с 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «ТакиБук»
Україна Одеса ФОП Карпенков О.І.
Свідоцтво ОД №21 від 20.01.2003 р.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Наклад 100 прим.
Замовлення № _____

© АО «ПЛАСКЕ», 2020
© «Дерибасовская – Ришельевская», 2020

От редакции

Нынешний номер альманаха завершает 2020 год. Нужно ли говорить о том, каким этот год выдался для планеты, страны, города, для всех нас… Признаемся в том, что и наш альманах сполна ощутил на себе если не катастрофические, то весьма серьезные последствия пандемии опасного и коварного недуга, вызванного коронавирусом. Уже третий номер выходит меньшим тиражом – в 100 экземпляров вместо привычных 500. Мы благодарны издателю и просвещенным меценатам, с помощью которых альманах сегодня все же поступает в библиотеки, музеи, творческие организации. Наши читатели, как и раньше, имеют возможность читать его на сайте Всемирного клуба одесситов.

Пройдет время – и этот период жизни в Одессе будет осмыслен, и картина происходившего у нас и с нами предстанет если не во всей полноте, то гораздо более точной и объективной, чем та, что видится нам, участникам событий и их сегодняшним толкователям.

Наш альманах изначально издается как литературно-художественный и историко-краеведческий. Сегодня мы подведем некоторые итоги того, как обстояло и обстоит дело с первой составляющей этого определения. Историки скажут свое слово позже.

Для нас сегодня важно то, что с первых лет своей биографии молодой город на берегу Черного моря не только стал заметным, а впоследствии – и значительным европейским центром культуры и искусства. Уже давно признаны одесские творческие школы – литературная, музыкальная, художественная, а в последнее время мы обрели статус Литературного города ЮНЕСКО.

В XIX веке Одесса стала первым городом Российской империи, в котором театр был построен раньше, чем тюремный замок. Молодой Пушкин в Одесской главе «Евгения Онегина» призывал: «Пора нам в оперу скорей!». Он был завсегдатаем первого театрального здания на Приморском бульваре, а в сегодняшнем, помнящем Чайковского и Гилельса, 10 августа нынешнего года открылся VI Международный фестиваль Odessa Classics.

Он должен был начаться в июне, но тогда сама идея его проведения во время карантина казалась невыполнимой. И все же, по свидетельству послов зарубежных государств и знаменитых музыкантов из разных стран, выступавших в концертах, стал единственным в Европе праздником высокой музыки.

Испытание выдержали создатели и устроители фестиваля – Алексей Ботвинов и его команда, музыканты, меценаты, волонтеры, центральные, областные и городские власти. И, разумеется, горожане, не только заполнившие залы, но и на удивление старательно выполнявшие требования карантина – в том числе и на концерте опен-эйр на Потемкинской лестнице. О фестивале – о том, что происходило на сцене, за кулисами и в залах, – в статье Феликса Кохрихта.

Вслед за фестивалем классической музыки состоялся джазовый с участием наших и зарубежных музыкантов – ежегодное приношение Натальи Эртновой и друзей памяти Юрия Кузнецова. На сей раз он открылся выступлением биг-бенда училища искусств, который отныне носит имя его создателя Николая Голощапова.

Музыка в этом летне-осеннем сезоне была представлена еще и новациями – сочинениями современных авангардных композиторов, которые по традиции звучали на фестивале «Два дня и две ночи новой музыки» – детище Кармеллы Цепколенко. Звучали и музыка самой Кармеллы, и две оперы Людмилы Самодаевой на тексты Велемира Хлебникова и Пауля Целана…

Уже несколько лет Одесский международный кинофестиваль собирает участников из многих стран и преданную публику, но на сей раз и конкурсанты, и зрители увидели фильмы и участвовали в дискуссиях в режиме онлайн, а вот немой фильм демонстрировался, как всегда, на Потемкинской лестнице.

В особом режиме прошла подготовка проектов и тематических выставок в наших музеях. В Художественном был представлен проект «Суровые и стильные» (искусство долгих шестидесятых), показавший, что в отрицании всего, что было в советские годы, мы можем выплеснуть с водой и ребенка, а его безумно жаль. Там же состоялась изысканная и медитативная выставка работ Михаила Ревы: можно сказать, его разговор с Богом, но для нас, людей. В Западно-восточном – ретроспектива картин Юрия Егорова. МСИО отметил 30-летие первого Одесского музея современного искусства ТИРС показом отреставрированных работ из его коллекции.

Все эти события отражались в нашем альманахе. Но, конечно же, литературная жизнь Одессы прямо выливалась на страницы текстами, которые лишь потом становились книгами. Замечательную панора-

му изданий мы увидели на фестивале «Зеленая волна». Практически всех победителей конкурсов мы печатаем. И не только взрослых, Владу Ильинскую, Таю Найденко, Елену Андрейчикову, Анну Михалевскую, но и юных авторов – участников Корнейчуковского конкурса.

Об одной книге скажем особо. Литературный музей регулярно выпускает сборник «Дом князя Гагарина» – уже вышел девятый выпуск. Наши издания сотрудничают: в альманахе публикуется Алена Яворская, в сборнике – Евгений Голубовский, Олег Губарь.

2 сентября, в День города, на аллее у оперного театра появились новые звезды, которыми отмечены заслуги деятелей литературы и искусства, чье творчество связано с нашим городом. Среди удостоенных в 2020 году – писатели Александр Куприн и Иван Бунин, балетмейстер Павел Вирский, композитор Исаак Дунаевский, театр «Маски».

226 годовщина Одессы ознаменована историческим событием, которого мы ждали долгие годы. Увековечена память одесситов – выдающихся личностей, и тех, кто претворял в жизнь их идеи и замыслы, государственных деятелей и строителей, военачальников и солдат, ученых и лекарей. В свое время их прах был захоронен на Первом кладбище молодого города, но потревожен в лихие постреволюционные годы: новая власть устроила на могилах парк культуры и отдыха… Много лет наши краеведы, историки, журналисты, общественные деятели боролись за восстановление исторической справедливости – по божеским и человеческим законам.

И вот – молебен памяти усопших, освящены первые сооружения – часть мемориального комплекса, который создается в Преображенском парке. Молитвы творят священники разных конфессий. Мэр Одессы Геннадий Труханов говорит, что предстоит сделать: мемориал станет не только памятником, но и интерактивным музеем, где можно будет узнать о каждом, кто был здесь похоронен, и почтить его память.

А сейчас о тех, кто с нашим альманахом уже много лет, чьи статьи и стихи вы читаете и обсуждаете, чьи картины – на цветных вкладках этого номера.

Мы поздравляем врача, писателя, краеведа Леонида Авербуха с 90-летием, художника Александра Ануфриева, который на 10 лет его моложе, и самого молодого юбиляра – поэта Игоря Потоцкого: ему всего 70. Они в хорошей творческой форме – в этом вы убедитесь сегодня.

И в заключение о том, что 83-й номер, уже по традиции, содержит монолог Михаила Жванецкого и новые стихи Юрия Михайлика.

Михаил Жванецкий

Обман

Меня обманывают, потому что я переживаю.

Какой смысл обманывать того, кто пропускает обман мимо ушей, или того, кто не слушает обман?

Граждане! Какой толк? Зачем? Смысл какой?

Какая радость от выдумки, от жалобы?

Обман всегда связан с жалобой.

Обман связан с просьбой.

Обманывая, рассказывать о себе, о своём здоровье, о своем тяжёлом положении как раз, как назло, накануне его большого взлёта, огромных заработков, и тут на тебе – перелом ноги, ребра, сустава, мозгов.

– Ты в гипсе?

– Уже снял. Но прихрамываю.

Самый тонкий проход в душу – просто рассказывать.

– Такая жара. Ни кондиционера. Ни воды. Такой холод. Батареи надо менять. Крыша протекает. Штаны износились, эх…

Потому вас и обманывают, что вы выслушиваете.

Хотя, казалось бы, какой смысл выслушивать того, кто дважды соврал? Кто трижды соврал. Что отвечать врущему? О чём с ним?

Вам ему сказать нечего, кроме того, что вы здоровы. Если вы скажете, что больны, вы услышите поток лжи…

Только: «Я здоров. Всё хорошо. Ты замечательно выглядишь».

Дайте понять, что вы его поняли, и на все жалобы: «Я рад, что у тебя всё так хорошо… Как хорошо?.. Так хорошо!».

Вы чувствуете, что дикий разговор во взаимном тупике… Он столбенеет.

Сверните в переулок, даже если вам туда не надо. Куда бы вы ни рванули – там лучше. В себе вы кое-как разберётесь. В нём – никогда. Оставьте его там! Кто-то его отравит или подожжёт. Как можно войти в положение врущего человека?

Мы попали с нашим воспитанием в мир обмана. Он торчит из земли, свешивается с карнизов, торчит на экране. Взамен огромного слоя советской лжи, что в виде чёрной тучи ходила над нами, на нас опустился обман в виде тумана. Этот туман из политики, рекламы, знахарства легче пережить, но трудно перенести.

Не надо говорить о человеке, который врёт! Не надо получать от него письма и звонки. Повесьте трубку…

Почему крик «наших бьют!» – собирает толпу? А крик «наших дурят!» – никогда? А надо собираться!

Ибо, ах, ибо этот обманывает того.

Тот – того.

Тот – того.

И самый тот – моего.

Этого «наших дурят!» терпеть нельзя.

Юрий Михайлик

В том небе, которое нам дано

* * *

Это мы – из тьмы
да в костер страстей,
что ни шаг – во мрак –
не собрать костей.
Чем жарче костер,
тем ярче простор,
а вокруг огней
тьма еще темней.

* * *

В покинутом доме хлопнула дверь, зажегся свет и погас.
Учетчикам наших поздних потерь легко обойтись без нас.
Им наши удачи – до фонаря, а наши долги – не в честь.
И поиски эти затеяны зря – потеряно было не здесь.

Не здесь – во мхах, и не там – впотьмах, не в ворохе прелой листвы,
не там, где, сердит, неотрывно следит немигающий глаз совы.
Недвижна вода ночного пруда, забвением дышит пруд.
Из каждых двоих не узнать своих, а чужих не бывает тут.

Над темным прудом – покинутый дом, и шелест – снов или крыл? –
и вход паутиной оброс как стыдом, а двери ветер открыл.
И вспыхнул свет, и погас во мгле, в хрипеньи ночных простуд.
Там книга лежит на темном столе. Но вряд ли ее прочтут.

* * *

Море горит зеленым, красным, белым и голубым огнем.
Обычно это происходит ночью, но иногда случается днем.
Не салют, не фейерверк, не праздник, не зороастровы степные костры,
не то, что балуется море и дразнит лунных морей сухие миры…
Евглена зеленая пятому классу объяснила – это сияет планктон,
цветная плавучая биомасса. (Синий кит достигает шестидесяти тонн.)
Напитавшись этим морским пожаром, киты уплывают куда-то на юг,
стадами, поодиночке, парами – плывут под водой и поют,
чтоб оборвать – мгновенно, вместе – плавный долгий плывущий стон,
а спустя полгода вернуться в песню – на ту же ноту и в тот же тон.
Над обрывом огромные звезды дышат, купол держит слабый мерцающий ритм.
Даже если море понимает и слышит, море занято – море горит.
Черное – зеленое и голубое, в белом разгуле, в красно-синей шальной гульбе
откликается звездам, приемный покой над тобою адресует каждый укол и упрек тебе.
Звезды помнят свой ритм. Влажный пламень коснется руки. Море горит. Киты уплывают, трубя.
И не ты выбираешь длину строки. Она настигает тебя.

* * *

Есть сигнал – налет, и сигнал – отбой,
есть убитые города.
А звездного неба над головой
здесь не было никогда.
И когда поднимаешь глаза вверх –
на бегство бедных комет,
там свой Сталинград и свой Кенигсберг
на сто световых лет.
Никто не знает, сколько небес
уносится вдаль, в разлет,
и сколько созвездий, рожденных здесь,
никто нигде не найдет.
В том небе, которое нам не дано –
как не дано никому, –
звезда Бетельгейзе погибла давно,
она ослепла в дыму.
В неведомых звездах полночь встает,
как тысячи лет назад,
ни одна из них не прервет полет,
чтоб встретить прощальный взгляд.
Только мягкий блеск возлюбленных глаз,
только дальний отзвон беды –
лишь они одни достигают нас,
как свет погибшей звезды.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

История, краеведение

12 **Олег Губарь**
Путеводитель по пушкинской Одессе

32 **Андрей Добролюбский**
«Я попал в какой-то другой мир…»

45 **Макс Нужный**
Человек инициативы

57 **Тамара Каганович**
Одесские Кагановичи

Олег Губарь

Путеводитель по пушкинской Одессе*

Коблевская улица

В Одессе нынешняя забегаловка «Семь ветров» имеет вполне определенную репутацию. Расположена она не на перекрестке, не на «*пяти углах*» даже, как легендарная развязка старого Петербурга, а много круче. В створе улицы Гулевой, на стыке Коблевской и обширной Соборной площади, куда обе интенсивно вдуваются. Обратная же тяга, с Соборки, еще избыточнее. Место проходное, продувное, публика ветреная. Во времена развитого социализма – ничем особо не примечательная блинная, по сути, рюмочная, каких в ту пору было немало. При недоразвитом капитализме – фактически осталась в прежнем жанре, в чем и притягательность. В двух шагах от Дерибасовской, но при этом камерно и просторно одновременно, демократично, относительно «дешево и сердито».

Постепенно, поэтапно вся тусовка продвинутых разгильдяев типа всяческих художников, музыкантов, фотомастеров, музейщиков, галеристов, пишущей братии и тому подобных типов перекочевала сюда с насиженных мест, из тяготевших к Гаванной улице кофеен и баров – «Зоси», «Ласточки», «Гаванны», «Паруса» «Этюда» и проч. В связи со вздорожанием аренды и соответственно услуг, а то и с полной ликвидацией означенных заведений – по той же причине. Жизнь берет свое, точнее, по наблюдению моего друга Саши Розенбойма, она берет как раз наше. Ушли излюбленные дешевые «наливайки», а с ними рельефнейшие персонажи: художники Юра Коваленко, Ваган Ананян, Валя Сиренко,

* Продолжение. Начало в кн. 64, 66-82.

Саша Дмитриев, композитор Женя Лапейко, поэты Игорь Павлов и Яша Качур, керамистка Катя Чечеткина. Да мало ли… Ювелир Хвостанцев… Громогласная Роксана (родственница видного историка и коллекционера Коциевского, тоже покойного), служившая реализаторшей на сувенирном базарчике в Городском саду и там же по заказу и совместительству рифмовавшая слова…

Они (мы), конечно, пропойцы, но, в общем, люди привлекательные, периодически полные, как непочатый шкалик. То, что как бы присутствует в пространстве, помимо Интернета (он же сеть, он же паутина). Некая не виртуальная живинка. И хотя в данный момент «Семь ветров» заметно ожлобели, здесь все еще можно глотнуть и покудахтать с вяленым цветом университетского истфака, грамотными музейщиками, коллекционерами, отставными растаманами и др. Здесь блистают и меркнут философ Кукуричкин, культуртрегеры Абрамов, Голубовский, Кохрихт, художники Верещагин, Войцехов, Волошинов, Ивченко, Гусев, Костюченко, Наумец, Милович, Чипигин и т. д. и прочее, фотохудожники Шевчук, Череватенко, Исаев, Бойко, Алекян, галеристка Голубовская, поэты Борушко (и его Пушкинский фестиваль в полном составе), Векслер, Попов, Четвертков (поэтам и музыкантам, как и художничкам, здесь несть числа), сомелье Рубен Ашрафиан, керамисты Дмитрук, Стайников, Евстратова, академик Пойзнер, оперный вокалист Носырев, краевед Виноградов, атаман Юра, боксер Керимов, вечный сиделец Борман и масса других достойнейших людей, вроде меня.

Колокольни портрет угловатый. Стол качается шероховатый. Спит обслуга – извечный покой. «Эй, подруга, не дрыгай ногой!» Синеглазка, подстилка, дешевка говорила про Ясперса долго, про девичество, красный диплом, про всеобщий и полный облом. Над столешницей клейкой и шаткой ворковала смешной куропаткой. Визави стрекотал Зубоскал, обнажая зубчатый металл. Я на Пасху, а может, на Пейсах заседаю меж судей третейских: кто кого и когда и почем и куда завсегда и на чём. Небожитель с кудрявым барбосом в кружке пива присутствует носом. Ржут клаксоны. Ревут тормоза. У собачки слезятся глаза. Щуплый дядечка либо массивный заорет в никуда агрессивно – метрономом. На звоннице – бом! – отзовется другой метроном. Там звонарь, интенсивный пропойца,

«Колокольни портрет угловатый…»

с Зубоскалом поспорив на Тройцу, прозвонил для присутственных рож «Миллион, миллион алых роз». И восстали из мертвых *мущины*, залипала слюной матерщина, столбенел беспечальный народ, «Куропатка» раззявила рот. Плачь, девица, о прошлом красивом, о себе, обо мне, шелудивом, лепечи, утешайся со мной сей соборностью твари земной.

Мы, алкоголическая общественность, действительные члены Клуба городских сумасшедших имени Володи Дубинина, провели здесь много незабываемых часов, которые сложились в счастливые месяцы. Мы окрасили место, и оно ответило нам взаимностью. Во имя столь гармоничных отношений я и провел вполне серьезное исследование, касающееся старинного дома (собственно, целого квартала, ограниченного улицами Коблевской, Дворянской, Садовой и Соборной площадью), где базируется офис «Семи ветров», наполнявших его лиц и учреждений в контексте определенных ретроспективных обстоятельств. Предполагаю, собеседники и собутыльники примут мои ученые записки с пониманием и благодарностью.

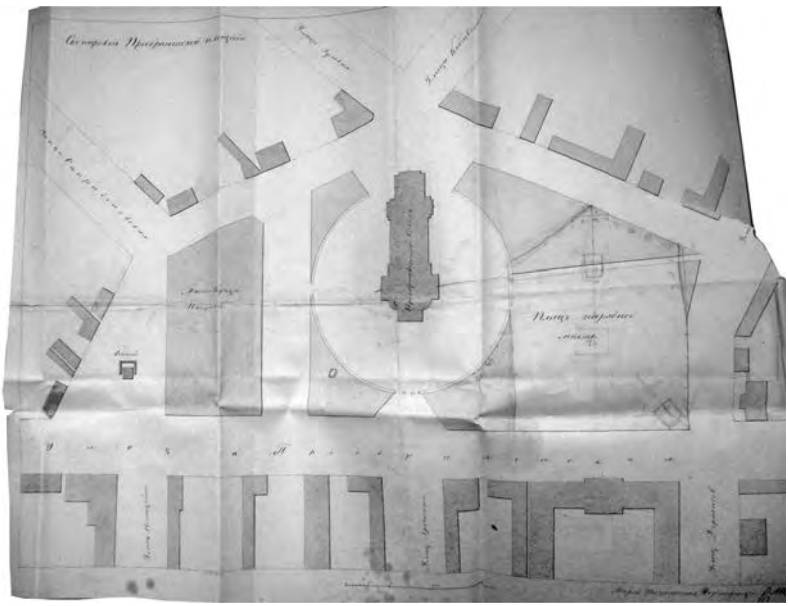
* * *

Соборная площадь – грандиозная, циклопических для едва рождающегося на голом степном плато города размеров – предусмотрена самыми первыми планами Одессы. Планировщики, что называется, раззадорились и размахнулись. По целому ряду

причин строительство шло туго. Возведение соборного храма приостановилось, приход перевели в отдаленное временное помещение, площадь представляла собой громадный пустырь. Как видно из генерального плана 1802 года,[1] утвержденного монархом в 1803-м, ее периметр застраивался главным образом с будущей Преображенской улицы. Кварталы с противоположной стороны включали лишь единичные разобщенные строения.

Ситуация улучшилась после 1803-го с созданием Одесского строительного комитета, имевшего в своем составе квалифицированных специалистов, некоторые суммы и функционировавшего под эгидой демократичного де Ришелье. Но и после этого из-за недостатка ресурсов еще долго ощущался острый дефицит в более-менее комфортабельных строениях для размещения различных учреждений, квартирования чиновников и офицеров. Формировались, мужали административная, социальная, коммерческая инфраструктуры, что требовало все новых и новых казенных зданий и сооружений. Помимо дорогостоящей гидротехники были необходимы крепость, казармы, склады, адмиралтейство, морская таможня и сухопутные таможенные заставы, карантин, маяки, мосты, колодцы и пруды, административные здания (включая дома для генерал-губернатора, градоначальника и их канцелярий, Думы, магистрата, полиции, тюремного замка, пожарной команды, почтовых служб, того же Строительного комитета и др.), биржа, банк, военный и гражданский госпитали, богадельня, храмы, учебные заведения, типография и проч. Поэтому состоятельные домовладельцы уже на первом этапе существования Одессы сдавали свою недвижимость в аренду.

История «Семи ветров», где кучкуется относительно интеллигентная публика, мистически, как теперь говорят при каждом удобном и неудобном случае, сопрягается с ранним этапом формирования системы городского просвещения. Учитывая очень конкретное функциональное назначение города, она начиналась 16 апреля апреле 1804 года с коммерческой гимназии,[2] в которой, понятно, наблюдается довольно широкая палитра сословного представительства. В составе воспитанников (1806-1809) – дети служивых и не служащих дворян, чиновников, священников, купцов, иностранных подданных.[3] Примерно тогда же французом



План Соборной площади, 1840-е гг.

Пьером де Вольсеем был основан частный благородный пансион, и тоже под опекой де Ришелье. При этом публика явно отдавала предпочтение частному учебному заведению, в котором потому и было больше воспитанников: в 1805-м – 43.[4]

Сюжет этот в общих чертах довольно хорошо проиллюстрирован в регионально-исторической литературе. Хочу обратить внимание на другое важное обстоятельство: хотя благородный пансион был приватным учебным заведением, администрация города и края безвозмездно обеспечивала его помещениями – учебными, жилыми, служебными. В противном случае оно просто не сумело бы выжить по указанной выше причине – высокой арендной платы на крайне дефицитные комфортабельные помещения.

Коммерческая гимназия, из которой вырос Ришельевский лицей, получила под заселение одно из первых масштабных казенных строений – «дом главного воинского начальника» меж

будущими улицами Дерибасовской, Екатерининской и Ланжероновской, перестроенный и переоборудованный за казенный же счет, а затем еще и отреставрированный после пожара.[5] Это тоже известный мотив, на котором нет нужды останавливаться, имея, однако, в виду, что на время восстановления сказанного здания гимназия временно находилась в другом месте. Под нее и пансион Вольсея Одесским строительным комитетом арендовались солидные частные дома. Какие? Два первых адреса – дома Кирьякова и Андрияша. Что за люди, и где находились здания?

* * *

Михаил Михайлович Кирьяков (*Кириаков*) (1766-1825) – один из основателей Одессы, сподвижник де Рибаса и де Ришелье, главный надзиратель Комиссии (Комитета) по отстройке гавани (1800), директор Хаджибейской (Одесской) таможни, херсонский губернский предводитель дворянства, пушкинский знакомый,[6] владелец имения Ковалевка, коллежский советник и т. д. и прочее. Застройщик архаической эпохи, он в разное время получил несколько участков. Интересующее нас место застроено меж 1802-м и 1805-м годами. Дом Кирьякова отсутствует на упомянутом выше плане Ферстера 1802-1803 гг., но четко отмечен на плане Фраполли 1807-го.[7] Мы можем даже получить некоторое представление о его внешнем облике.

Дело в том, что в период катастрофической чумной эпидемии 1812-1813 годов Кирьяков утратил владельческие документы на это строение. В 1816-м он обратился в Строительный комитет с прошением, в котором, между прочим, пишет: «На оных (местах. – **О. Г**.) выстроен был много прежде дом с деревянным верхним этажом, который уже по ветхости сломан, и вместо оного выстроил я имеющийся ныне каменный. Бумаги о сем, какие были, во время чумы затеряны, а как в подтверждение всего владею я оными местами и строением на них гораздо более десяти лет, то уже никакого стороннего претензии к оным быть не может».[8] В первичном строении с деревянным верхним этажом и располагался на первых порах благородный пансион. В 1806 году Кирьяков получал от Комитета солидную арендную плату – 500 рублей в полугодие.[9] Новый дом Кирьякова на углу Коблевской

(нечетной) и Дворянской (нечетной, № 17) сохранился до сих пор, это поистине живое пушкинское место.

Андрияш – фигура практически неизвестная. Но поскольку каким-то чудом сохранилось описание его могилы на разрушенном в середине 1930-х Первом городском кладбище, постольку я собрал о нем кое-какую информацию в ходе написания монографии об этом погосте.[10] *Константин Иванович Андрияш* (*Андреяш, Андриаш*), полковник, надворный советник (в 1799-1800 гг. – титулярный советник), служил в Одесской портовой таможне, одесский старожил, домовладелец и землевладелец (хутор в 25 десятин на Водяной балке, близ пудреной фабрики Пишона, с разнообразными строениями, загонами для скота, птичниками, сельскохозяйственными орудиями, посудой, колодцами, скотом, домашней птицей, топливом, лесоматериалами и прочим он приобрел 3 октября 1799 года и владел им, по крайней мере, в 1808-м), попечитель сооружаемой соборной церкви во имя Святого Николая, венгр по происхождению. Скончался 21 июля 1812 года. Супруга, наследница его, не позднее начала декабря 1814 года

Дом Кирьякова. Снимок Натальи Евстратовой, 2019 г.

вступила в брак с губернским секретарем Базыкиным. В 1806-1814 годах город арендовал принадлежавшие ему, а затем его наследникам дома на углу нынешней Соборной площади и Садовой улицы для размещения Благородного пансиона и Девичьего училища. В 1809-м в этом училище воспитывались Элиза (6-ти лет) и Севастьяна (9-ти лет) Пети-Андриаш. Синхронно с Кирьяковым Андрияш получал за аренду дома равнозначные суммы.[11]

* * *

Здесь мы понемногу переходим к основной теме данного раздела наших «ученых записок» – домам, занимаемым Девичьим училищем, а точнее – девичьим отделением Благородного пансиона. Если называть вещи по именам – первичным Одесским институтом благородных девиц. В котором из двух названных домов учились мальчики и юноши, а в каком девочки и девушки? Вероятно, девочки изначально обосновались в старом доме Кирьякова. Почему? 4 марта 1809 года в Строительном комитете слушали доклад директора гимназии Вольсея о намерении заведения девичьего пансиона в доме надворного советника Андрияша. Ришелье распорядился отпускать ежегодно в продолжение четырех лет по 1.500 рублей из городских доходов.[12] Следовательно, раньше он находился в другом наемном доме.

Девичье отделение возникло почти одновременно с мальчиковым, с санкции де Ришелье. Причем руководила им супруга де Вольсея. Как самостоятельное учебное заведение оно выкристаллизовалось на рубеже 1809-1810 годов. На исходе 1810-го де Вольсей и его супруга оставили Одессу, управление обоими институтами приняла на себя административная комиссия. «Управление женским институтом было поручено г-же Поцци, образованной русской даме, умевшей снискать себе в городе большое доверие; она же заведовала приходом и расходом сумм, давая отчет членам административной комиссии».[13]

Убедительные архивные первоисточники однозначно фиксируют пребывание автономного Девичьего института в доме Андрияша, но к этому мы еще вернемся. Сейчас нас будет интересовать семейство итальянского происхождения, Pozzi (Поцци). Анастасия Дмитриевна Ризо, воспитанница оного института

с 1810 года, представительница известного рода, в честь которого поименована улица Ризовская, вспоминала: «Учение прекратилось (в период эпидемии чумы. – **О. Г.**); осталась директриса Поцци с мужем и взрослою дочерью. Сам Поцци учил пению, добрый, славный учитель, а дочь смотрела за воспитанницами. Мадам Поцци, слабого здоровья, редко выходила к нам, а дочь ее была строгая: мы боялись ее. Мы больше сидели на втором этаже, сильно скучали за герцогом (де Ришелье. – **О. Г.**).[14]

Хотя дом Андрияша был двухэтажным, однако не удовлетворял запросам Девичьего благородного института. Натерпевшись, супруги Поцци обратились в Строительный комитет с деловым предложением: если Комитет выдаст им ссуду на строительство надлежащего здания со службами для института под соответствующие проценты, то пусть далее пользуется этим домом до той поры, пока владельцы не погасят свой долг в соответствии с ежегодными вычетами арендной платы. Другими словами: вместо того чтобы то и дело нанимать и постоянно приспосабливать разные приватные здания, выстроить именно то, что требуется. Несмотря на солидный расход, предложение это было целесообразно и выгодно в перспективе.

Вот тут-то и начинается собственно история «Семи ветров».

* * *

Искомое место отведено «24 июля 1811 года по незастроению майором Дахновым» в ответ на запрос от 26 июня.[15] «Образованная русская дама», госпожа Поцци едва ли была русской. Во всяком случае, 1 июля 1812 года «*иностранка Катерина Оставевна Поцци*» обращается в Строительный комитет (прошение подписано супругом Шарлем Поцци) с жалобой на соседа майора Дахнова, который мешает ей осуществить строительство напротив церкви Святого Николая. Строптивый вояка построился раньше по нынешней улице Коблевской – места отведены в 1802-м, в 1810-м его дом находился в залоге,[16] – однако не освоил все пять выделенных ему участков. На самом углу вместо дома находился лишь сарай, а потому по существовавшим правилам два не застроенных плановым домом места отобрали и передали в другие руки, но с тем чтобы новый владелец компенсировал прежнему хозяину затраты по каким-ли-

бо фактически существующим сооружениям. Комитет и постановил, чтобы Поцци компенсировали Дахнову 150 рублей за сарай, что они и сделали 22 июля 1812-го. Тяжба, однако, продолжалась до ноября 1816-го, ибо уже дежурный подполковник полтавского ополчения Дахнов несколько раз жаловался в Петербург.[17]

Время выдалось более чем суровое: Одесса стояла на пороге жуткой чумной эпидемии. Строительство приостановилось, многих воспитанниц Девичьего института разобрали родители, оставшиеся, включая Настю Ризо, оказались в заточении в доме Андрияша. Смерти вопреки в апреле 1813 года Катерина Поцци завершила строительство, и 21-го числа получила владельческие документы.[18] Предварительно постройки освидетельствовал городской архитектор Франческо Фраполли и нашел, что они отвечают утвержденному Комитетом плану.[19]

По ряду причин институт не сразу выехал из дома умершего к тому времени Андрияша. Супруги Поцци не успели должным образом оборудовать новое здание и службы. Катерина болела, а в 1814-м ушла из жизни. Но еще ранее, после ликвидации эпидемии, ее сменила на посту директрисы Эмилия де Майе (Mayeux).[20] Контракт с *Карлом* (*Шарлем*) *Поцци* был заключен 30 июля 1814 года, задним числом, институт перебрался в новое помещение еще 1 апреля. Дополнительные работы по дому осуществлялись под началом Фраполли: деньги Строительный комитет отпускал в счет аренды, то есть они вычитались из нее, что было вполне справедливо. Так, 24 августа 1814 года Фраполли получил под расписку 1.000 рублей, однако издержал вдвое. Помимо отдельных достроек, штукатурных и прочих работ, выкопали погреб объемом в 10 кубических саженей, облицованный шестивершковым камнем.[21]

Предусмотренные работы были завершены оперативно осенью, что не мешало функционированию Девичьего института на новом месте. Успевший полюбоваться этой симпатичной новостройкой и ее обитательницами, де Ришелье оставил Одессу, не предполагая, что больше не вернется. Временным градоначальником герцог назначил небезызвестного генерал-майора Ф.А. Кобле, военного коменданта, старожила, любимца одесситов, дочь которого, Клавдия, такая же, как отец, добрячка, училась в институте в то самое время. Оставленный институтом дом,

у которого Кобле выставил караул, дабы ничего не растащили, Фраполли должен был сдать по описи губернской секретарше Базыкиной, в первом браке жене Андрияша.[22] Ранее, в октябре 1813-го, «надворная советница Андреяшева» напоминала Комитету о том, что ей недоплатили 3.000 рублей за аренду.[23]

Что касается Поцци, им ничего не надо было принимать по описи: оставалось только ждать, пока долг рассосется. Каким образом? Карлу Поцци было выдано 42.177 руб. 33 коп. из суммы, пожертвованной бароном Штиглицем «на построение такового дома, в котором можно было поместить девичий пансион: ибо ни город не имел приличного строения, ни Комитет не был в возможности построить оный».[24] В соответствии с упомянутым контрактом арендная плата за четыре года, начиная с 1 апреля 1814-го, составляла 16.000 рублей, она-то и вычиталась из суммы общего долга.[25] За вычетом средств, потраченных Фраполли на доработки. И так далее, до полной компенсации.

В 1818 году Комитет заключил с наследниками Поцци следующий арендный контракт – на пять лет, но в силу роста цен уже из расчета 6.000 рублей ежегодно.[26] Карл Поцци к этому времени тоже умер. Наследники – дочь Мария и сын Александр (в архивных документах он дважды назван Александром и однажды Алексеем). О сыне я пока не нашел внятных сведений, а вот о Марии, впоследствии единоличной наследнице, кое-что известно. Если помните, Анастасия Ризо говорит о взрослой дочери директрисы, строгой надзирательнице. В перечне воспитанниц Девичьего пансиона от 22 декабря 1809 года значится «Мария Поцци (9 лет)».[27] Сама Ризо родилась 17 апреля 1801 года,[28] то есть максимальная разница в их возрасте может составлять год с небольшим. Казалось бы, напрашивается вывод о наличии старшей сестры Поцци, но это не факт. Ризо отдали в институт маленькой дикаркой. Явившиеся с периферии дети молдавских и валашских бояр, а равно благородных греческих семейств вообще робели в окружении отпрысков российских аристократов и просвещенных иностранцев. А потому дочь директрисы вполне могла восприниматься как старшая. 12 апреля 1815 г. Мария Поцци перешла из лютеранской веры в православную, причем восприемницей значится Надежда Россет.[29]

* * *

Иван Карлович Арнольди

В архивных документах Мария фигурирует как основная наследница Поцци. В 1818-м, когда ей было 18 лет, она уже значится супругой капитана Арнольди.[30] О нем тоже есть что сказать.

Общеизвестно, что *Иван Карлович Арнольди* – генерал от артиллерии, весьма заслуженный воин и в то же время довольно безнравственный господин, был вторым мужем (1815) Надежды Ивановны Россет, урожденной Лорер, матери знаменитой пушкинской «черноокой Россет». Не стану излагать скабрезные подробности постыдных приставаний отчима к красавице малышке – об этом пишут все кому не лень. Меня больше занимает та генеалогическая путаница, каковую посеяли два брака Надежды Лорер и три женитьбы Ивана Арнольди. Специалисты до сих пор не могут разобраться, какие дети (и сколько) от кого произошли. Так, их совместных сыновей нередко называют не единоутробными, а сводными братьями Александры Осиповны Смирновой-Россет, предполагая, что они родились в первом браке Арнольди. Карты путает и третья его женитьба, после кончины Надежды Ивановны (1825).

Все это, безусловно, занимательно, но для нас важно знать другое: каково родственное отношение этого Арнольди к супругу Марии Карловны Поцци? Разобраться не столь уж трудно, ибо фамилия Арнольди не так часто встречается в России начала XIX столетия. Это один из младших братьев Ивана Карловича – Петр, Осип (Иосиф) или Павел; все трое боевые офицеры. Младший

А.О. Смирнова-Россет

отпадает сразу, ибо начал службу юнкером в декабре 1813 года, в 1814-м был произведен в прапорщики и не мог в мирное время дослужиться до капитана в четыре года. Судьба Осипа после наполеоновских войн пока не прослеживается. Остается Петр Карлович. Действительно, военную службу он начал в 1801 году юнкером, в 1808-м был подпоручиком, а далее получал боевые ордена и производства в ходе военных кампаний. Был еще, правда, старший брат Александр, но в 1800-1801 годах он числится уже штабс-капитаном, а затем следы его совершенно теряются.[31]

Занятное совпадение. Иван Карлович Арнольди, отчаянный вояка, корыстолюбец, хам и волокита, в сражении под Лейпцигом был ранен в левую ногу, остался в строю, получил второе ранение в ту же ногу (ядром) и сделался инвалидом. Ходил он на деревяшке, стук которой позже так пугал маленькую Сашеньку Россет, однако продолжил службу, причем превосходно ездил верхом. Его брат Петр Карлович дважды ранен в правую ногу – в 1807-м и в 1813-м, но, к счастью, избежал ампутации. А еще говорят, что пуля дважды в одно и то же место не попадает… Иван и Петр, как и Павел – награждены орденами Святого Георгия, многими другими, золотым оружием.

При каких обстоятельствах могли познакомиться Иван Карлович Арнольди и Надежда Ивановна Россет, урожденная Лорер? Вероятно, через Поцци, ибо Надежда, конечно, посещала упомянутые выше учебные заведения, в которых воспитывались ее младший брат Дмитрий Лорер[32] и двоюродная сестра Любовь Лорер, соученица и ровесница Марии Поцци.[33] Между прочим, это тот самый Дмитрий Иванович Лорер, супруг княжны Варвары Григорьевны Волконской, который впоследствии был предводи-

телем дворянства Херсонской губернии, сердечно опекал своего брата-декабриста Николая Ивановича Лорера и даже завещал ему родовое имение.[34] Тут вся хронология сходится: брак Н.И. Россет с И.К. Арнольди, знакомство и брак М.К. Поцци и П.К. Арнольди по окончании военных кампаний. Марии на тот момент было около 18-ти, а Петру около 30-ти, вполне в традициях эпохи.

Наши расчеты убедительно подтверждаются воспоминаниями Сашеньки Смирновой-Россет, которая рассказывает, как на их приморский хутор прибыл капитан Петр Карлович Арнольди с сообщением о женитьбе своего брата на вдове Россет.[35] В цитируемом мемуаристкой дневнике матери упоминается «юнкер Поцци», то есть брат жены П.К. Арнольди, какового Надежда Ивановна направляла с поручением к госпоже Поджио, супруге Витторио Поджио, делового партнера Осипа Россета.[36]

* * *

Однако мы далеко ушли от дома на семи ветрах, тогда как следующий этап его истории чрезвычайно интересен. Начало 1820-х годов ознаменовалось активизацией работ по городскому благоустройству и оформлению границ порто-франко. Строительный комитет заключил ряд серьезных подрядов по шоссированию, мощению, озеленению, дренированию и проч. Нарастала интенсивность гражданского и портового строительства, стали возводить первые каменные мосты, маяк на мысе Большой Фонтан. Обустраивался Приморский бульвар, ботанический сад, мостили важнейшие транспортные артерии – Херсонский, Карантинный, Ланжероновский спуски, осуществлялись гидрогеологические изыскания. В Одессе сконцентрировались военные инженеры, а с назначением графа М.С. Воронцова новороссийским генерал-губернатором и полномочным бессарабским наместником усилился приток более или менее высокопоставленных чиновников. Накатила новая волна дефицита приличных помещений для их размещения.

Еще граф А.Ф. Ланжерон на исходе своей «каденции», в марте 1822 года, постановил: дом наследников умершего иностранца Поцци, состоящий в Комитете в залоге, передать для помещения штаб- и обер-офицеров, платить за оный Комитету по 6.000 руб.

в год. Это здание следовало сдать в ведомство Думы, а для Девичьего пансиона нанять дом надворной советницы Акацатовой. Коллежский советник Кирьяков – опекун над имением Акацатовой – по соглашению с прочими опекунами объявил цену: 5.000 руб. в год. Условия были приняты, контракт заключен на три года, и при этом предусматривались перестройки, в частности, «нужное место» (то есть прозаический нужник). Согласно смете, составленной архитектором Ф.К. Боффо, предстояло издержать 1.661 руб. 50 коп. на переоборудование этого дома и служб.[37] 18 апреля 1822 года директриса Одесского благородного девичьего института Любовь Шедевер (чрезмерно строгая, чтобы не сказать злобная, Эмилия Майе была все же уволена, на ее место 12 марта 1817-го назначили престарелую графиню Генриетту де Фонтене, которую сменила Шедевер) доложила Комитету о том, что институт переместился из дома Поцци в дом Акацатовой 11 апреля.[38]

Где он находился, и какое отношение имеет к нему Кирьяков? Дом и службы занимали два места на углу улиц Дворянской (№ 11) и Садовой (№ 14), в тылу упоминавшегося дома Кирьякова, где, как уже отмечалось, институт размещался в середине 1800-х. Участки эти отведены помещику Ольвиопольского уезда надворному советнику (что соответствовало чину подполковника, в каковом качестве он также упоминается) Акацатову еще в 1804 году.[39] После его смерти часть недвижимости отошла вдове Аграфене Васильевне (этот сюжет нам тут без надобности), а другая – именно интересующие нас строения – дочери, коллежской советнице *Марии Николаевне Кирьяковой, урожденной Акацатовой*.[40] Теперь понятно, почему Кирьяков значится главным опекуном над ее имением. Весной 1824 года оценочная стоимость этого дома составляла 82.000 рублей, а дохода он давал уже не пять, а шесть тысяч рублей, то есть контракт о найме был пересмотрен и увеличен.[41] Тогда же «дом профессора Поцци» оценен в 35.000 рублей при той же доходности.[42] То есть недвижимость Акацатовой в ту пору была очень солидной.

Во время пребывания Пушкина в Одессе дом на семи ветрах продолжал находиться в ведении Строительного комитета, и в нем квартировали чиновники. Арнольди с супругой в Одессе

давно не жили, а лишь периодически переоформляли контракт о найме в счет погашения взятой покойным Карлом Поцци ссуды. 5 мая 1823 года за ними оставалась еще задолженность 6.369 руб. 84 коп. Прибывшему в город «майору Арнольди» предложили на выбор: либо продлить контракт с Комитетом еще на 2,5 года на прежних условиях, либо немедленно вернуть упомянутую сумму.[43] Судя по всему, меморандум этот уже не застал майора в Одессе, ибо он не отозвался. А в комитетском журнале от 18 августа 1823 года сказано: «Между тем в сем доме квартируют чиновники канцелярии господина градоначальника и Комитета. Они имеют кухни, и потому непременно нужен за ними присмотр во охранение от пожара…». Кроме того, они «имеют лошадей, и для них заготовляют сено в немалой пропорции…». Над домом витает опасность возгорания. Необходимо запретить чиновникам хранить пожароопасные запасы, решительно требовать бдения полиции, сторожей, трубочистов.[44]

К сожалению, мне пока не удалось проследить последний этап принадлежности «нашего дома» семейству Арнольди во всех деталях, однако это обстоятельство нисколько не путает карты. Из архивных оценочных ведомостей видно, что в 1824 году он остается за ними, используется по тому же назначению и на тех же условиях, то есть по умолчанию они были приняты домовладельцами. Следовательно, уже на 1 апреля 1824-го долг по ссуде составлял только 369 руб. 84 коп., и вскоре Арнольди стали получать живые деньги. Срок контракта на 2,5 года должен был истечь 1 октября 1825 года. Согласно купчей, оформленной в Одесском коммерческом суде 12 ноября 1826-го, этот дом и место Поцци (Арнольди) перешли в собственность коммерции советника *Жана* (*Ивана Петровича*) *Рено*.[45] Далее строения и места отошли протоиерею *Нестору Святенкову*,[46] а затем его вдове,[47] которая тоже отдавала его внаем по частям вкупе с различными служебными строениями.[48] Не позднее 1828 года Святенков «состоял на священнической вакансии при Одесском соборе», был выдающимся проповедником, очень много сделал для организации Дома призрения нищих при Старом кладбище.[49] Недвижимость священнослужителей и их вдов, согласно существовавшим правилам, освобождалась от уплаты налогов.

Дом на семи ветрах оставался во владении «протоиерейши Святенковой» довольно долго, до начала 1870-х,[50] а затем перешел к хорошо известному в исторических анналах семейству Вейнберг.[51] Любопытно, что тогда же Городское девичье училище располагалось напротив, на углу Соборной площади и Гулевой,[52] где ныне 121-я общеобразовательная школа. Но это учебное заведение было рангом ниже, нежели обособленный Одесский институт благородных девиц. Впоследствии «наш дом» перешел к небезызвестному семейству Базили.[53]

* * *

Подведем итоги. Первые престижные учебные заведения Одессы находились в пределах одного и того же квартала (кварталом тогда называлась вся территория, ограниченная четырьмя улицами, в данном случае Садовой, Дворянской, Коблевской и Соборной площадью), лишь меняя дислокацию – переходя из угла в угол, а то и занимая два угла синхронно. Дом на семи ветрах отмечен уникальным «мемориальным наполнением», в особенности на ранних этапах своего существования. Как благородный пансион он посещался всей элитой, включая не только городскую и краевую администрацию, но и, скажем, императора Александра Павловича (1818 г.). В нем воспитывались представительницы многочисленных благородных фамилий города и региона.

Как служебные квартиры генералитета и чиновников, а затем офис Одесского строительного комитета он сконцентрировал практически весь цвет юной Одессы, все пушкинское окружение. Невозможно предположить, что посещавший Собор и соседний дом Кирьяковых Пушкин мог миновать «Семь ветров», тем более что там обитала масса знакомцев. Вот лишь краткий перечень историческим персонажам, посещавшим его, служившим, квартировавшим, воспитывавшимся здесь. Ришелье, Рошешуар, Сен-При, Растиньяк, Кобле, Ланжерон, Трегубов, Гурьев, Инзов, Воронцов, Казначеев, Рибопьер, Сабанеев, аббат Николь, братья Фраполли, Ферстер, Потье, Боффо, Дигби, Круг, Шааль, Гаюи, Лехнер, Торичелли, Морозов, Рено, де Рибасы, Шостаки, Ризничи, Лучичи, Давыдовы, Орловы, Волконские, фон Том, Аркудинские, Кирьяковы, Андрияш, Акацатовы, Россеты, Лореры, Арнольди,

Сикары, Бларамберги, Дембровские, Андросовы, Протасовы, Авчинниковы, Новиковы, Крамаревы, Амвросио, Инглези, Маразли, Фундуклей, Ралли, Кумбари, Коронелли, Кирико, Левенсоны, Скаржинские, Потоцкие, Нарышкины, Ржевуские, Сабанские, Лопухины, Римский-Корсаков и так далее и так далее. Девичий институт, несомненно, посещали не только император Александр I, но и другие венценосные особы.

Офис Строительного комитета не могли обойти вниманием все, кто, по крайней мере в первой половине 1820-х годов, строил дома или промышленные заведения, обустраивал хутора, обращался за утраченными владельческими документами, участвовал в аукционных торгах по заключению подрядов, реализации недвижимости, просто-напросто платил налог с недвижимости и проч. То есть здесь побывала, что называется, *вся Одесса пушкинских времен*. Этот дом находился меж Собором и домом Кирьяковых, то есть на достоверном и регулярном пушкинском маршруте. Вполне вероятно, что Поэт навещал здесь кого-либо из чиновников или военных.

Полагаю, никакие ветра не могут окончательно истребить памяти, если не нашей конкретно, то интегральной, общечеловеческой. Даже на сильно продуваемом месте. И с этим утешительным тезисом – вперед по жизни!

Продолжение следует

Примечания

[1] ОГИКМ, инвентарный № К-600.

[2] Одесса: 1794-1894. – Одесса, 1895, с. 621.

[3] ГАОО, ф. 44, оп. 1, д. 15. – 71 л.

[4] Одесса: 1794-1894. – Одесса, 1895, с. 622.

[5] ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 16; К.Н. Смольянинов. История Одессы. – Одесса, 1853, с. 151.

[6] Л.А. Черейский. Пушкин и его окружение. – Ленинград: Наука, 1989, с. 193; А.И. Третьяк. Отец и сын Кирьяковы. – Третя Міжнародна науково-практична

конференція, присвячена 50-річчю з дня відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею. 27-29 квітня 2006.

[7] ОГИКМ, инвентарный № К-602.

[8] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 96, л. 362.

[9] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 258, л. 188.

[10] Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 52, 153, 210, 273, 301.

[11] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 258, л. 191.

[12] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 259, л. 139.

[13] Одесса: 1794-1894. – Одесса, 1895, с. 625.

[14] Из прошлого Одессы. – Одесса, 1894, с. 305.

[15] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 96, л. 473-496.

[16] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 262, л. 147.

[17] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 264, л. 136, 208 об. – 209; Там же, ф. 59, оп. 1, д. 65, л. 441-442, 578-579; Там же, д. 96, л. 473-496.

[18] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 75, л. 57-60; Там же, д. 96, л. 473-496.

[19] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 265, л. 157.

[20] Одесса: 1794-1894. – Одесса, 1895, с. 625; Из прошлого Одессы. – Одесса, 1894, с. 306; Е.В. Полевщикова. Французы в учебных заведениях Одессы. 1803-1822 гг. Французский ежегодник. – М.: ИВИ РАН, 2011, с. 110-126.

[21] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 267, л. 126, 431.

[22] Там же, л. 444.

[23] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 266, л. 223.

[24] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 274, л. 550-551.

[25] Там же, л. 532.

[26] Там же, л. 531.

[27] Одесса: 1794-1894. – Одесса, 1895, с. 703.

[28] Из прошлого Одессы. – Одесса, 1894, с. 299.

[29] ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 179, л. 6 об.

[30] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 274, л. 531.

[31] Ю.Н. Гуляев. Братья Арнольди в войне 1812-1814 гг. – Музей-панорама «Бородинская битва»: Материалы II-й научной конференции. – Москва, 29 апреля 1999.

[32] ГАОО, ф. 44, оп. 1, д. 15, л. 36 об.

[33] Одесса: 1794-1894. – Одесса, 1895, с. 703.

[34] ГАОО, ф. 1, оп. 171, д. 22.

[35] А.О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. – М.: Наука, 1989.

[36] Там же.

[37] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 281, л. 271-272.

[38] Там же, л. 278-279.

[39] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 4, л. 161-162; Там же, д. 164, л. 976.

[40] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 164, л. 975, 977-979.

[41] Там же, ф. 4, оп. 1А, д. 215, 3-я часть, № 117.

[42] Там же, № 91.

[43] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 283, л. 535-537.

[44] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 284, л. 281-282.

[45] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 663, л. 167; Одесский вестник. – 1831, 6 мая, № 36.

[46] ГАОО, ф. 4, оп. 8, д. 942, л. 21 об., № 231.

[47] Список домам и прочим строениям, состоящим в I-IV-й части города Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке. – Б. м., б. г., с. 35.

[48] Одесский вестник. – 1844, 24 июня, № 51.

[49] Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 219, 220. 221, 222, 296.

[50] ГАОО, ф. 274, оп. 1, д. 2, л. 35-36.

[51] К. Висковский. Путеводитель по городу Одессе. – Одесса, 1875, с. 59, 60; Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 440, 576.

[52] К. Висковский, там же, с. 59.

[53] В.И. Фельдберг. Вся Одесса. – Одесса, 1899, с. 33; Вся Одесса на 1911 год. Ч. 4, ст. 100.

Андрей Добролюбский

«Я попал в какой-то другой мир…»*

«…Но лошадь, как известно, не овца» (из песни Александра Галича). «Скота у них такое огромное количество, какого, по нашему мнению, нет и в целом мире», – писал Плано Карпини. В этом нет ничего удивительного. Специалистами подсчитано, что существование одного рядового, «условного» кочевника (а на него требуется около 2500 ккал в день) из расчета его семьи в пять душ (на каждую душу требуется по столько же) возможно при наличии 13 голов крупного рогатого скота, 90 овец, 3 верблюдов, 14 лошадей. Одна «условная» овца при живом весе в 50 кг может прокормить пять человек в течение 3-4 дней, а при условии параллельного использования молочных продуктов – 6-7 дней. На одного человека требуется 20-40 условных овец в год. А одна овца съедает около 10 кг травы в сутки.

Подсчитано также, что с территории площадью в 1 га можно получить 1000-1400 кг травы. Одна «условная» лошадь в сутки на выпасе съедает около 50 кг травы – получается, что на 1 га в сутки может выпасаться 20-28 лошадей. А овец, стало быть, в пять раз больше.

Поскольку в лесостепи более устойчивый и влажный климат, здесь куда больше корма для скота – фитомассы, чем к югу, в степях. И здесь на той же по размерам территории, что и в степях, может кормиться в пять раз больше скота. А чем больше фитомассы и чем меньше она подвержена сокращению за счет засухи – тем больше корма для скота. Здесь до осени сохраняется кормовая ценность, доступность и количество кормовых трав.

---

* Окончание. Начало в кн. 82.

В степях же в течение сезона меняется кормовая ценность, доступность и количество кормовых трав. Если привес скота, получаемый на пастбище в мае, принять за 100%, то в июне он составит 88%, в июле 78%, августе – 65, сентябре – 58, а в октябре – только 35%.

Значит, кочевать в лесостепях намного выгоднее, чем в степях. Здесь «нет перерыва в вегетации растений и жизнедеятельности животных, вызванного засухой, поэтому экосистема функционирует дольше, чем в сухих степях. За счет этого общая масса растительности достигает 3,2-4,2 т/га, а животных – 0,4 т/га, что в 5 раз больше, чем в других типах степей». Значит, здесь пастбища не являются ограничителями роста поголовья скота и, стало быть, роста населения.

Но это только летом, а не зимой. Потому что зимой сохранение поголовья скота зависит более всего от плотности снежного покрова.

В лесостепной зоне толщина снегового покрова зимой слишком часто и надолго превышает 30-35 см, а это делает невозможной тебеневку (от киргизск. *тебень* – зимнее пастбище) коней. Ведь скот, круглый год выпасаемый на подножном корме, зимой вынужден добывать траву, разгребая снег. Для этого необходимо достаточно большое количество лошадей, способных своими твердыми копытами разбивать снег и делать доступной для коров, коз и овец лежащую под снегом траву. Если лошадей нет или очень мало, все стадо гибнет – коровы, овцы и козы не в силах сами тебеневать и при еще меньших количествах снега.

При тебеневке строго соблюдается следующий порядок: впереди идет рогатый скот, который срывает более высокие травы, скусывая их верхушки; затем следуют лошади, срывающие травы ближе к корню, и, наконец, овцы, которые выбивают своими острыми копытами все пастбище. Зимняя тебеневка очень изнурительна – это почти всегда сплошное голодание, причем все время скот находится под открытым небом. Особенно много гибнет скота от буранов и/или гололедицы (джут), и любой богатый человек едва ли не в одночасье превращается в нищего.

Похоже, что эти обстоятельства стали причинами забот Плано Карпини перед его путешествием: «…если мы поведем в Татарию тех лошадей, которые у нас были, то они все могут умереть, так

как лежали глубокие снега, и они не умели добывать копытами траву под снегом, подобно лошадям татар, а найти им для еды что-нибудь другое нельзя, потому что у татар нет ни соломы, ни сена, ни корму».

Такие условия существования при невозможности зимних дальних откочевок на юг на 250-300 км (где снежный покров куда менее мощный) вынуждали черных клобуков к оседанию на землю. Потому что в лесостепи скот нельзя держать зимой только на подножном корме, необходимо время от времени подкармливать животных сеном, заранее заготовленным и хранящимся в специальных загонах. Поэтому перекочевки здесь были возможными лишь на относительно небольшие расстояния, часто лишь на несколько десятков километров, с длительными остановками. Это создавало условия для появления постоянных селений, развития земледелия и ремесел. По всей видимости, именно так и возникали их упомянутые «столицы» (Канев, Торческ и др.) – они одновременно становились и ставками наместников-ябу, которые перемещались в бассейне р. Рось и его окрестностях.

После монгольского завоевания причерноморских степей перемещение летней ставки наместника-ябу в Торговицу открывало, таким образом, возможности для регулярных перекочевок к морю, где снежный покров куда менее мощный, чем в лесостепи, а значит, тебеневка куда более эффективна и позволяет сохранить большую часть стада в зимнее время на подножном корме.

Археологические остатки такой зимней ставки, зимнего ябу-городка, обнаруженные нами на одесском побережье, датируются тем самым временем, когда наместником являлся Хаджибей. А он, как «всякий начальник (capitaneus) знает, – писал де Рубрук, – смотря по тому, имеет ли он под своею властью большее или меньшее количество людей, границы своих пастбищ, а также где он должен пасти свои стада зимою, летом, весною и осенью».

Властный ранг Хаджибея. Матей Стрыйковский, величая Хаджибея «султаном» или «царьком», назвал его также и Кереем. Значит, он происходил из кереитов – дружественного монголам (киятам) племени, которое в свое время помогло Темуджину (Чингисхану) победить их злейших врагов – меркитов. Сами

Чингизиды были родом из племени киятов и вполне могли испытывать «историческую благодарность» к кереитам, что в немалой степени определяло их статус – ближайших советников и старших военачальников. Тем более что при Узбек-хане правители улусов – Джучиды – были подвергнуты репрессиям и лишены своих улусов. На места улусбеков были назначены аристократы родоплеменной знати. Хаджибей был именно таковым. В сущности, это почти все, что мы о нем знаем.

Впрочем, то обстоятельство, что Хаджибей наряду с двумя другими эмирами, Кутлубугой и Дмитрием, назван «отчичем и дедичем Подольской земли», может означать, что его право владения улусом было наследственным на протяжении как минимум трех поколений.

Как бы то ни было, несомненно, что Хаджибей был одним из «всяких начальников», владельцем улуса в ранге эмира, по сути, «царьком» (выражение Матея Стрыйковского). Он же являлся крупным тарханом (монг.: *свободный от податей*. – **А. Д.**) и как владелец безусловного держания был освобожден практически от всех налогов и повинностей в пользу хана. Материальные ресурсы таких персон в Золотой Орде были просто колоссальными. Его доход составлял 100-200 тысяч золотых динаров. Это позволяет содержать войско в пять тысяч хорошо вооруженных всадников. И даже более.

Владения, доставшиеся Хаджибею (междуречье Днепра и Днестра), после правлений темников Куремсы (Курумуши), Бурундая и беклярибека (главного бека) Ногая достались в конечном счете второму сыну хана Токты Ильбасару. Мы о нем ничего не знаем, разве что он, по мнению некоего шейха Эюирзами, был человеком, «красивее которого никто не видел… и предполагал, когда сделается царем (этой) страны, не оставить на царстве своем никакой другой религии, кроме мусульманской». Но ему не было дано это совершить – он скончался в 1310 г., ранее своего отца. Это все, что о нем известно. Кто управлял краем во времена хана Узбека (1312-1341 гг.) – толком не ясно. Преемник Узбека, хан Джанибек (1342-1357 гг.), отдал эти территории своему зятю (гургену. – **А. Д.**) Атламишу. Но в начале 1345 года Атламиш погиб в битве с венграми.

За неимением иных сведений остается полагать, что Хаджибей наряду со своими «братьями» Кутлубугой и Дмитрием является преемником и, возможно, сыном или каким-то иным младшим родственником Атламиша. Они и поделили между собой территорию между Крымом и Дунаем, и как наследники стали «отчичами и дедичами» этих земель. Стало быть, Хаджибей мог быть достаточно близким родственником самого хана Джанибека – сыном его зятя. Значит, ему по рангу полагалась соответствующая ставка.

Во времена Джанибека, когда Хаджибей стал править своим улусом, Золотая Орда была разделена на четыре крупных улуса во главе с улусбеками – старшими эмирами. Между тем «в имущественных делах народа, – по мнению ал-Омари, – эмирам большей частью они (дела) знакомы лишь настолько, насколько их знают наместники их». Такими наместниками были другие эмиры, темники – «начальники десяти тысяч, всего 70 эмиров». Каждый темник имел свое ленное владение и являлся его наместником – вся территория Золотой Орды в XIV в. разделялась по числу темников на 70 «областей».

Сановитость Хаджибея отражена в самом его имени, содержавшем ранговое указание на титул «бей», на властный статус, а не на конкретную должность и место во властвующей иерархии. Это слово, в сущности, равнозначно титулу «эмир», который в Золотой Орде носили аристократы, не связанные узами кровного родства с Чингизидами. На латынь термины «бей» и «бег» переводились как «baron» или «princeps».

По мнению историков, улусбеку Хаджибею было подчинено три тумена по десять тысяч человек, всего 30 тысяч, которые сезонно кочевали вдоль Буга и Днестра. Впрочем, реальные тумены зачастую оказывались куда менее численными. Но, видимо, в благоприятные времена все население улуса Хаджибея могло составлять около 150 тысяч человек. Все они в совокупности и образовывали его орду. Или тьму.

«...Я попал в какой-то другой мир». Впечатления и описания едва ли не всех путешественников в Орду XIII-XV вв. об устройстве и передвижении разных ставок ханов и крупных ордынских аристократов очень сходны и совпадают порой даже в деталях.

Благодаря этому не столь уж трудно себе представить орду или ставку улусбека Хаджибея в ее сезонном перемещении от Торговицы до черноморского побережья.

Ибн-Баттута

Для европейцев это было неведомое, диковинное и впечатляющее зрелище. Они этого не скрывали. «У меня не хватает соответствующих слов, которые я должен был бы написать вашему столь славному величеству (Людовику IX Святому. – **А. Д.**), – писал в 1253 г. Вильгельм де Рубрук. – …Когда я вступил в их среду, мне совершенно представилось, будто я попал в какой-то другой мир».

«Когда я увидел двор Бату, – продолжает он, – я оробел, потому что собственно дома его казались как бы каким-то большим городом, протянувшимся в длину и отовсюду окруженным народами на расстоянии трех или четырех лье» (1 лье = 4,44 км. – **А. Д.**).

Несколькими десятилетиями позднее, в 1330-х гг., берберский путешественник и странствующий купец Ибн-Баттута точно так же описал ханскую ставку как «большой город, двигавшийся со своими жителями, в котором мечети и рынки, и где печной дым поднимался в воздух – это потому что турки готовят блюда и во время путешествия. Телеги, которые тянут лошади, перевозят этих людей, и они, прибыв на место табора, снимают палатки с телег и устанавливают их на почве, так как они очень легкие. Их даже используют для мечетей и магазинов».

Орда-базар

«…Они знают, – уточняет де Рубрук, – с какого бока двора должны они размещаться, когда они снимают свои дома [с повозок]. Отсюда двор на их языке называется ордой, что значит середина, так как он всегда находится посередине их людей, за исключением того, что прямо к югу не помещается никто, так как с этой стороны отворяются ворота двора. Но справа и слева они располагаются, как хотят, насколько позволяет местность, лишь бы только не попасть прямо пред двором или напротив двора».

Естественно, что «некоторые ставки велики, а некоторые небольшие, сообразно достоинству и скудости людей…» – отмечал Плано Карпини. И вряд ли орда Хаджибея была столь же величественна, как орда самого хана. Но и она могла производить сильное впечатление. Пожалуй, ее уместно сравнить с ордой другого родственника Бату, некоего Скатая, которого посетил де Рубрук: «…утром мы встретили повозки Скатая, нагруженные домами, и мне казалось, что навстречу мне движется большой город. Я также изумился количеству стад быков и лошадей и отар овец. Я видел, однако, не многих людей, которые ими управляли. В силу этого я спросил, сколько человек имеет Скатай в своей власти, и мне было сказано, что не более 500, мимо половины которых мы проехали ранее при другой остановке».

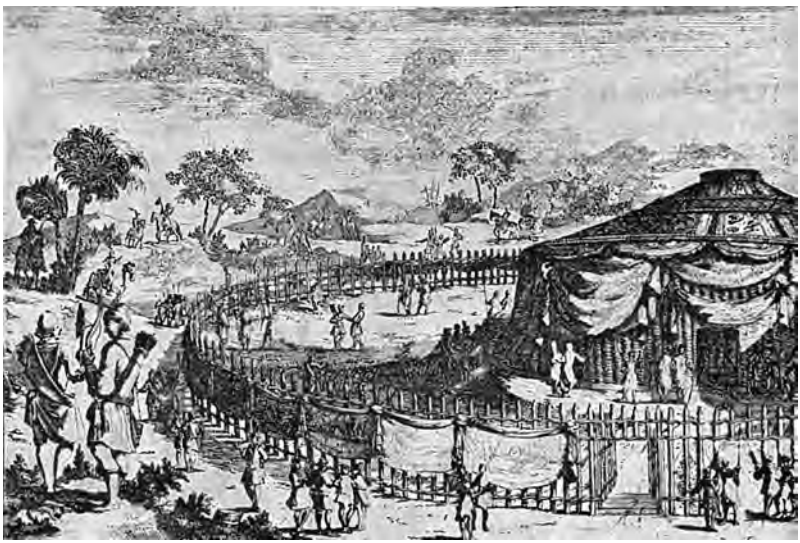
Сам же «дом, в котором они спят, – пишет де Рубрук, – они ставят на колесах из плетеных прутьев; бревнами его служат прутья, сходящиеся кверху в виде маленького колеса, из которого поднимается ввысь шейка, наподобие печной трубы; ее они покрывают белым войлоком, чаще же пропитывают также войлок известкой, белой землей и порошком из костей, чтобы он сверкал ярче; а иногда также берут они черный войлок. Этот войлок около верхней шейки они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно они сшивают цветной войлок или другой, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей. И они делают подобные жилища настолько большими, что те имеют иногда тридцать футов в ширину. Именно я вымерил однажды ширину между следами колес одной повозки в 20 футов, а когда дом был на повозке, он выдавался за колеса по крайней мере на пять футов с того и другого бока. Я насчитал у одной повоз-

ки 22 быка, тянущих дом, 11 в один ряд вдоль ширины повозки и еще 11 перед ними. Ось повозки была величиной с мачту корабля, и человек стоял на повозке при входе в дом, погоняя быков. Кроме того, они делают четырехугольные ящики из расколотых маленьких прутьев, величиной с большой сундук, а после того с одного краю до другого устраивают навес из подобных прутьев и на переднем краю делают небольшой вход; после этого покрывают этот ящик, или домик, черным войлоком, пропитанным салом или овечьим молоком, чтобы нельзя было проникнуть дождю, и такой ящик равным образом украшают они пестроткаными или пуховыми материями. В такие сундуки они кладут всю свою утварь и сокровища, а потом крепко привязывают их к высоким повозкам, которые тянут верблюды, чтобы можно было таким образом перевозить эти ящики и через реки. Такие сундуки никогда не снимаются с повозок. Когда они снимают свои дома для остановки, они всегда поворачивают ворота к югу и последовательно размещают повозки с сундуками с той и другой стороны вблизи дома, на расстоянии половины полета камня, так что дом стоит между двумя рядами повозок, как бы между двумя стенами. Женщины устраивают себе очень красивые повозки, которые я не могу вам описать иначе, как живописью; мало того, я все нарисовал бы вам, если бы умел рисовать. Один богатый моал (монгол. – **А. Д.**), или татарин, имеет таких повозок с сундуками непременно 100 или 200; у Бату 26 жен, у каждой из которых имеется по большому дому, не считая других, маленьких, которые они ставят сзади большого; они служат как бы комнатами, в которых живут девушки, и к каждому из этих домов примыкают по 200 повозок. И когда они останавливаются где-нибудь, то первая жена ставит свой двор на западной стороне, а затем размещаются другие по порядку, так что последняя жена будет на восточной стороне, и расстояние между двором одной госпожи и другой будет равняться полету камня. Таким образом, один двор богатого моала будет иметь вид как бы большого города, только в нем будет очень немного мужчин. Самая слабая из женщин (muliercula) может править 20 или 30 повозками, ибо земля их очень ровна. Они привязывают повозки с быками или верблюдами одну за другой, и бабенка будет сидеть на передней, понукая быка, а все другие

повозки следуют за ней ровным шагом. Если им случится дойти до какого-нибудь плохого перехода, то они развязывают повозки и перевозят их по одной. Ибо они едут так медленно, как ходит ягненок или бык».

«Некоторые из таких домов, – уточняет Плано Карпини, – быстро разбираются и чинятся и переносятся на вьючных животных, другие не могут разбираться, но перевозятся на повозках. Для меньших при перевезении на повозке достаточно одного быка, для больших – три, четыре или даже больше, сообразно с величиной повозки, и, куда бы они ни шли, на войну ли, или в другое место, они всегда перевозят их с собой… Вьючного скота у них такое огромное количество, какого, по нашему мнению, нет и в целом мире».

Если родственник хана Скатай имел «двор» числом «около двухсот повозок», то и улусбеку Хаджибею по рангу полагалось никак не менее. Видимо, так оно и было. Вильгельму де Рубруку, посетившему также ставку сына Батыя Сартака, его «двор… по-

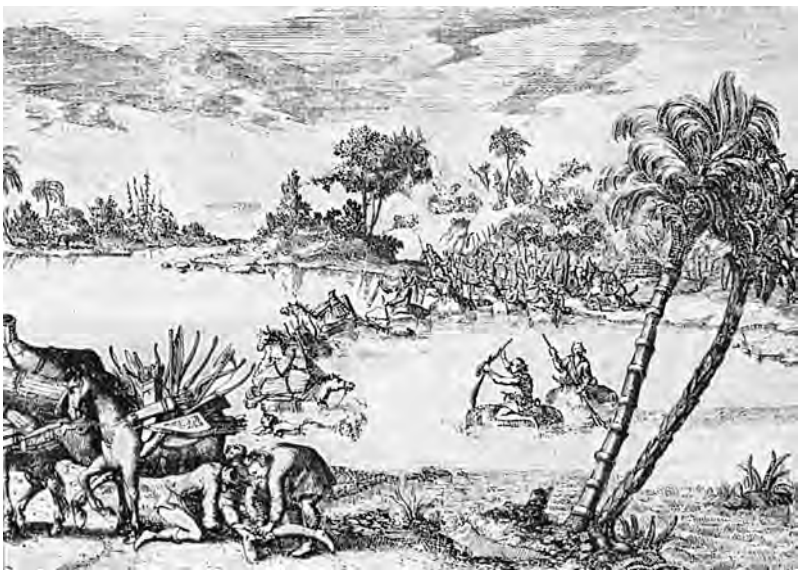


Ставка хана или наместника

казался очень большим, так как у него самого шесть жен, да его первородный сын имеет возле него их две или три, и у всякой есть большой дом…».

«Мы… к вечеру просто устали смотреть». Когда подобная ставка (а вслед за ней и вся тьма) некоего монгольского аристократа – эмира или темника – подкочевала к итальянской фактории Пидеа, расположенной на побережье Черного моря между Днепром и Крымом, то некий испанский наблюдатель первой половины XIV в. принял ее за большой город, который назвал «столицей королевства», впрочем, вассального от хана Узбека. Несомненно, что сходное впечатление должна была производить тьма Хаджибея во время своих прикочевок к Джинестре и Флорделису на нынешнем одесской побережье.

Подобное же зрелище описал в своем «Путешествии в Тану» «гражданин Венеции» Иосафат Барбаро: «…сторожевые отряды… подходили… раньше, чем пришло все войско, двигались впереди



Способы переправы у татар

него по восьми разным направлениям, чтобы со всех сторон разузнавать о возможной опасности, находясь в отдалении от него на много дней пути и действуя соответственно его нуждам». Вслед за ними, пишет он, «начал подходить народ со стадами. Сначала шли табуны лошадей по шестьдесят, сто, двести и более голов в табуне; потом появились верблюды и волы, а позади них стада мелкого скота. Это длилось в течение шести дней, когда в продолжение целого дня – насколько мог видеть глаз – со всех сторон степь была полна людьми и животными: одни проходили мимо, другие прибывали. И это были только головные отряды; отсюда легко представить себе, насколько значительна была численность [людей и животных] в середине [войска]... и к вечеру просто уставали смотреть». Поперечник равнины, занятой массами этих людей и скота, равнялся 120 милям.

«Лишь только правитель остановился, они сразу же раскидывают базары, оставляя широкие дороги. Если это происходит

Типы татар

зимой, то от множества ног животных образуется величайшая грязь; если же летом, то величайшая пыль. Тут же немедленно после того как поставлены базары, они устраивают свои очаги, жарят и варят мясо и приготовляют свои кушанья из молока, масла, сыра. У них всегда бывает дичь. …В их войске есть ремесленники – ткачи, кузнецы, оружейники и другие, и вообще есть все необходимые ремесла… при нем всегда находятся купцы; одни различными путями привозят сюда товары, другие же лишь проходят через орду с намерением идти в иные страны».

Сказанное означает, что орда, или ставка правителя, всегда становилась местом базара, поскольку войско было основным платежеспособным потребителем. А также – продавцом захваченных у соседей ценностей, зерна, ремесленных изделий и рабов. Поэтому такой военно-походный лагерь получил название орду-базар, то есть военный, походный базар (ordu + bazar).

Кажется очевидным, что в районе Джинестры и Флорделиса кочевников Хаджибейской тьмы, или здешнего орду-базара, помимо прочих нужд, интересовали залежи соли в причерноморских лиманах. «…Лишь бы была у них соль, – пишет Иосафат Барбаро. – Если они не имеют соли, то рот их покрывается нарывами и гноится; от этого заболевания некоторые даже умирают; случается у них и понос». И общаться с ними из-за этого, замечает де Рубрук, «было тягостно выше меры», потому что «если у них появлялось желание опорожнить желудок, они не удалялись от нас и настолько, насколько можно бросить зерно боба; мало того, они производили свои нечистоты рядом с нами во взаимной беседе, делали они и много другого…».

Именно в таком виде Хаджибеева тьма каждую осень медленно, «как ходит ягненок или бык» (выражение де Рубрука), ежегодно буднично и монотонно прикочевывала на зимовку к Джинестре. И точно так же каждой весной отправлялась на север, в район Торговицы. Судя по ее археологическому облику, такая перекочевка была достаточно регулярной на протяжении всего наместничества Хаджибея до битвы при Синих Водах осенью 1362 г. Значит, это была серия благоприятных лет для его улуса, которые повторялись с неизменной регулярностью. Годы первой чумной пандемии, 1346-49, по известным нам материалам никак

не прослеживаются. Напротив, создается впечатление, что Торговица если не благоденствовала, то вполне нормально функционировала как летнее стойбище, равно как и зимнее стойбище у Джинестры. Значит, в эти и в последующие, 1350-е гг., облик и уклад ябу-городка вполне соответствовали приведенным описаниям ставки наместника и его тьмы.

Во всяком случае, по мнению Иосафата Барбаро, «за исключением того, что их станы не окружены стенами, – они представляются [нам] огромнейшими и красивейшими городами». Наверное, так оно и было – ведь даже руины Торговицы произвели на Михалона Литвина спустя почти два столетия после ее гибели сильнейшее впечатление. А в зимнее время кочевья Хаджибеевой тьмы были рассеяны по всему черноморскому побережью между Днепром и Днестром, сохранив после себя для нас лишь скромные археологические следы «какого-то другого мира» (выражение де Рубрука).

А с конца 1350-х гг. наступили очередные смутные времена. От них до наших дней сохранилась красно-желто-ленточная керамика бедности и нищеты. Но это уже другая история.

Макс Нужный

Человек инициативы

Памяти Николая Александровича Тарасова посвящается

Подвижный, веселый и пытливый юноша, Коля Тарасов в конце позапрошлого века окончил коммерческое училище.

Энергия клокотала в нем, искала выхода. Несмотря на раннюю молодость, у него уже было критическое отношение к себе, людям и к делу. Он не хотел идти трафаретными путями.

Услышав, что в фальц-фейновской Аскании-Нове открылись курсы для практического изучения сельскохозяйственных наук, молодой человек поступает туда и позже получает должность помощника управляющего имением. Это не помешало ему заняться научной работой, результатом которой были сочинения по овцеводству. Однако полученная должность не удовлетворяла. Николай Александрович становится на некоторое время представителем фирмы сельскохозяйственных машин на юге России, затем ищет счастья в Русском обществе пароходства и торговли и вскоре заинтересовывается устройством и оборудованием 2-й Одесской городской больницы.

За короткий срок перепробовал свои силы в разных областях, казался непоседой, но зато в каждое дело внес что-то свое, оригинальное.

Одесский филантроп граф Михаил Михайлович Толстой-младший искал себе секретаря. Он умел ценить хотя и не знатных, но способных людей. Николай Александрович Тарасов становится сотрудником графа, но судьба судила ему стать не секретарем, а ближайшим помощником в организации нового, еще очень мало знакомого в России дела – одесской станции скорой медицинской помощи.

Напрасно мы стали бы искать в начале XX века «Скорую помощь» даже в Петербурге или Москве. Первые опыты в этой области проведены были по примеру немногочисленных заграничных станций на Юге и, в частности, в нашей Одессе.

Казалось бы, ведь и прежде были трагические случаи увечий, самоубийств, отравлений, травм от поножовщины, однако только в наше время додумались до такой необходимой организации, как «Скорая помощь».

Раньше пострадавшие истекали кровью и погибали – или же при счастливых условиях находили частную платную врачебную помощь, которая была далеко не всем доступна.

Граф М.М. Толстой-младший, бывая за границей, знал о «Скорой помощи» в Вене и мог заинтересоваться первыми опытами в Варшаве. Со свойственной ему разумной отзывчивостью он почти немедленно решает основать подобную станцию в Одессе.

Но нужен был человек, который так же загорелся бы этой идеей, который отдал бы всего себя делу, почти забыв о своей личной жизни, обладал бы неистощимой инициативой. Именно таким человеком оказался Николай Александрович Тарасов.

АЗАРЕТЪ

АНЦІЯ

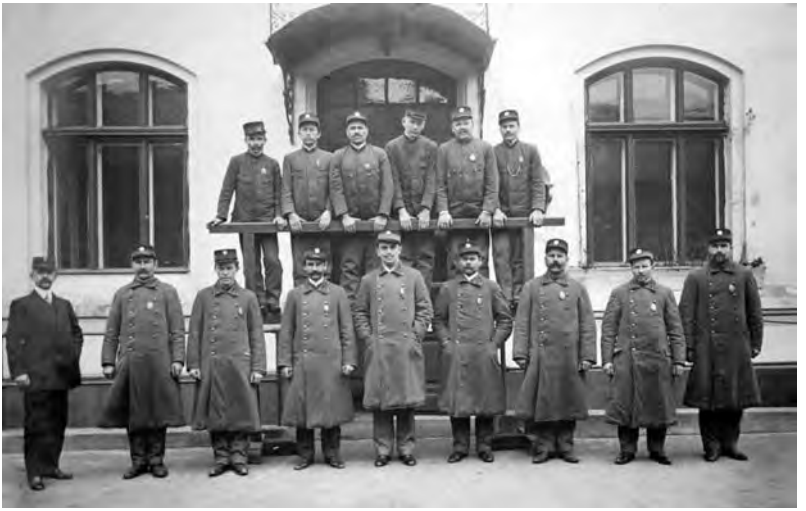
Без преувеличения можно сказать, что большинство документов, находившихся ранее на Одесской станции скорой помощи, свидетельствует о редкой инициативе Николая Александровича. Кропотливо изо дня в день и теоретически, и практически он знакомится с условиями работы, перерабатывает заграничный опыт, продумывает ряд нововведений, деталей, создает инструкции для всего персонала станции и лично принимает участие в выездах.

Заботливо и тщательно обдумывавший каждый шаг

работы «Скорой помощи», в моменты неотложные он преображался. Лаконично, строго, категорично отдавал приказания, которым подчинялись все. Не будучи врачом, но отлично зная практическую медицинскую деятельность благодаря неустанному самообразованию, он отправляется на место происшествия и без колебания подает личный пример бесстрашия и находчивости.

Так, например, однажды произошел взрыв парохода в порту. Разгорался пожар, угрожавший соседним судам. Часть команды осталась на борту: искалеченные, обожженные люди погибали. Николай Александрович Тарасов, получив по телефону уведомление, мчится в порт, по канату взбирается на пылающий пароход, оказывает со своими сотрудниками нужную помощь, извлекает больных, переваливает с крайней опасностью через раскалившийся борт и по канату спускается на землю.

Такие эпизоды, полные героической романтики, в его биографии были не единичны, но, скромный и даже застенчивый, он не любил себя афишировать.



После непоседливости и неудовлетворенности в ранней молодости наступило время прочной привязанности к такому делу, которое его вполне удовлетворяло.

Непрерывная работа с 1902 по 1941 год связала Николая Александровича со станцией неразрывными узами. Его преданная деятельность не могла остаться незамеченной.

В 1918 году граф Толстой, передавая станцию городскому самоуправлению и эмигрируя за границу, пишет своему неизменному помощнику трогательное письмо, где благодарит его за громадные труды.

Граф понимал, что его начинание без Н.А. Тарасова не приобрело бы такого размаха и того значения, какие уже тогда были отчетливо видны. Это подтверждали видные медицинские деятели того времени в своих отзывах.

Советский режим воспользовался станцией «Скорой помощи», оставил Н.А. Тарасова в качестве инспектора станции, пользовался его колоссальной работой, но платил ему мизерно – 69 руб. в месяц. И только в последние годы довел оплату труда до 300 руб. в месяц.

Николай Александрович по своей инициативе оборудовал при станции рентгеновский кабинет. Затем в годы войны 1914-1918 гг. устроил небольшой, но превосходный лазарет, еще позже перевел работу станции с конной тяги на автомобильную, при этом совершенно оригинально оборудовал автомобили, снабдив их буквально всем необходимым и добавляя все новые детали по мере развития медицинской техники, за которым он зорко следил.

А энергия, инициатива, жажда творческой деятельности не угасали в этом человеке, он искал все новые пути приложения своих сил. Одной из таких новых областей было создание музея при станции «Скорой помощи». Почти без посторонней помощи изо дня в день, из года в год Николай Александрович в свободные минуты собирает, классифицирует, аннотирует сложнейший обширный материал.

Когда музей был открыт, и специалисты, и не специалисты были поражены тем, что получилось из этой, казалось бы, скучной затеи. В большом зале были собран и систематизирован такой материал, что известный психиатр профессор Бехтерев,

осмотрев музей, воскликнул: «По концентрации, обилию и разнообразию материалов музей не имеет себе равного в европейском масштабе!».

И хотя большевики с недоверием смотрели на Н.А. Тарасова, ибо их коробила прежняя близость его к графу Толстому, тем не менее в 1928 году одесский музей был преобразован во Всеукраинский музей скорой помощи, и для изучения его ценнейших материалов из центров стали съезжаться виднейшие медицинские деятели, дававшие отличные письменные отзывы.

В последние годы своей жизни Николай Тарасов исполнял обязанности заведующего музеем и целиком посвятил себя этой научной работе. Обширные фонды музея охватывают и организационно-технические стороны работы «Скорой помощи», и социально-бытовые: причины несчастных случаев и коллекции патологоанатомических препаратов. Достаточно сказать, что в фондах музея собрано до 10.000 регистрационных карточек, всесторонне освещающих каждое самоубийство, попавшее в поле зрения станции «Скорой помощи»; кроме того, имелся материал, отражавший 500.000 несчастных случаев, на которые отозвалась одесская станция.

Этот музей в целом – удивительный и редкий пример того, как, в сущности, один человек на протяжении своей жизни мог проделать колоссальную созидательную работу. Он последовательно становился и химиком, и бактериологом, и «скорым» врачом, и рентгенологом, и социологом, и не было границ стремления к знанию у этой неутомимой натуры.

Однако бывали и у Николая Александровича минутки отдыха. Как он их использовал? Его привлекали серьезные опыты в области цветной фотографии. Однажды на чердаке он устроил превосходную голубятню по всем правилам птицеводства и в короткий срок добился того, что принимал участие во всероссийской выставке. Когда же выяснилось, что голуби – неудобные сожители «Скорой помощи», Николай Александрович, ликвидировав голубятню, с чердака перебрался в подвал, и там вскоре послышались писк и возня кроликов и морских свинок. Опыт не увенчался успехом, так как было обнаружено, что между этими животными идет самая лютая война, и свинки начали поедать кроликов.

Утомленный ежедневным непрерывным трудом, Николай Александрович иногда

развлекался, слушая музыку, а на его ночном столике всегда можно было найти литературную новинку. В самые последние годы Николай Александрович тяжело болел, пережил ампутацию ноги. Для него, подвижного и энергичного, это была трагедия, но, преодолев ее, он продолжал созидание музея.

Музей был открыт для широкой публики, надо было давать объяснения – и тут открылась новая грань таланта Николая Александровича Тарасова: он стал блестящим лектором, образно и увлекательно давая пояснения посетителям.

В дни осады Одессы в 1941 году Николай Александрович заболел тяжелой формой дизентерии и, не дождавшись освобождения города, умер в возрасте 73 лет, не имея, в сущности, равных себе преемников в том деле, которому посвятил почти сорок лет своей жизни.

Тамара Каганович

Одесские Кагановичи

Моего папу в Одессе все знают. Ну как все… Те, кто живет в Успенском переулке, точно знают. Этот тот переулок, куда своей не фасадной частью выходит Успенский собор. Раньше и наш дом был частью церковного двора, и тут жили батюшки. Их внуки – папины друзья детства. Да, такой у нас двор: половина жильцов – потомки православных священников, половина – потомки Моисея.

В послевоенное время один из соседских мальчишек, когда его кто-то обижал, грозил всем: «Вот приедет мой брат майор!». Звание «майор» после войны было аргументом весомым, обидчики отставали. Потом этот брат приехал. Оказался не майором, а Мэиром.

А у папы была сестра Софа, на двенадцать лет старше. Она таки считается настоящей одесситкой – родилась здесь в 33-м. Да и не здесь, а в доме напротив, где и было изначально наше пятикомнатное «дворянское гнездо». Прадед был управляющим на предприятии, занимавшемся лесом и деревообработкой, содержал на свое жалование жену, четырех детей и трех бедных родственниц из села. Квартира после его смерти досталась деду, а во время войны – румынам на разграбление. Ну а потом в нее вселились чужие люди, и дед с семьей, вернувшись в 1946-м из эвакуации, вынужден был купить себе одну комнату у попадьи из дома напротив. Так и живем! Эвакуация стоила нам квартиры и «царского» мебельного гарнитура красного дерева – о нем расскажу ниже. Но зато почти все остались живы. Спасибо, господи, что взял гарнитуром!

В нашей парадной до сих пор как остатки золотого века сохранились старые и почти убитые деревянные двери. И лестница

на второй этаж. Тоже деревянная. Гостей наших она всегда впечатляет. Сейчас по ней взбираются уже папины внуки.

А папа был уличным мальчишкой. Соседским культурным мальчикам не рекомендовали с ним дружить. Это с моим-то папой! Они просто не знали, что через пару десятков лет дружбой с папой нужно будет гордиться!

Если вы знаете папу, вы поймете, почему.

Мой дед и Мишка Япончик

Папу знают все в нашем районе. А его деда знали все даже на Молдаванке. Он пришел пешком из своей деревни в Одессу на заработки. Сперва был грузчиком, потом мелким служащим в конторе, занимавшейся лесом. Характером был крут, чем и заслужил прозвище Чеченец. Стал управляющим, привез из деревни невесту, которая его ждала. И был в своей общине и вообще в городе очень уважаемым человеком. Даже местная шпана боялась задирать его сыновей Евсея, Нюню и Моню. А о дочке Бете я вообще молчу!

Нюня, то есть Наум, – это папин отец. Когда он вырос, то решил стать врачом. А еще раньше он решил пойти добровольцем на фронт Первой мировой. И пошел! Но сперва из Сабанских казарм накануне отправки на фронт сбежал попрощаться с семьей. Потом вернулся. Потом пару месяцев воевал. Говорил, что на его совести ни одной смерти нет. Потому что зрение у него было плохое, очки не носил, на стрельбах и в окопах даже не пытался целиться. Потом его по зрению из армии отпустили, но зато по льготе как фронтовика допустили до экзаменов. И Наум целых два года исправно учился, а с третьего года ушел «делать революцию». Командовал полуполком студентов. Когда Мишка Япончик решил стать красным, и его бандитский полк с музыкой и под бархатным знаменем собрался-таки на фронт, никто особо не верил в успех предприятия. Красные командиры из Одессы знали, кто там у Мишки встал под ружье. И Мишкин полк решили немного разбавить студентами. Слава богу, деду Науму и здесь повезло: в список «разбавителей» он не попал. И Вознесенск не стал его последней станцией. Он довольно быстро ушел из революции в мирную ра-

Родители папы – Тамара и Наум

боту, занялся лесом, как и его отец, женился на своей сотруднице Тамаре, которая – на минуточку! – была в 1913 году, как сейчас бы сказали, «мини-мисс Еврейской общины Херсона» и от лица общины вручала цветы представителю царской фамилии во время празднования трехсотлетия Дома Романовых. Вот на этой девочке, только уже выросшей, дед Наум и женился, и родил двоих детей – Соню и Мишу. Как вы понимаете, Миша – это мой папа.

Родственник того самого?!

Сегодня папа – старейшина нашего одесского клана. Я всем говорю, что одесситка в третьем поколении, но (только тсссс!) это не совсем так. По принципу «быстро поднятое не считается упавшим» папу, родившегося в эвакуации в Сызрани и приехавшего в Одессу в возрасте нескольких месяцев, мы тоже считаем коренным

одесситом. Если не слишком внимательно вглядываться в паспорт, а как раз смотреть на гордый папин профиль и слушать приколы, то сомнений в папином одесском происхождении у вас не будет.

На том и остановимся!

Сейчас этим никого не удивишь. Но в детстве моего папы, то есть в 50-х XX века, фамилия Каганович была козырной. Папа учился в школе, которая до революции была знаменитой гимназией Иглицкого. Ее окончили раньше и отец, и дяди. И вот была в первом классе такая история: мальчики только пришли в школу, перезнакомиться не успели толком. Папа Миша сидит за партой один. На уроке вдруг какой-то малыш тянет руку и на папу показывает: «Можно я… к этому… к Микояну пересяду?». Перепутать Кагановича с Микояном – как вам это нравится! Ну да, оба – члены правительства, оба сталинские любимцы… Главный вопрос, который всех интересует: а не родственники ли мы того самого? Ну как вам сказать… Документов нет. Хотя родом и тот Каганович, и мой прадед примерно из одной местности. Но поиски общих корней – это вопрос будущего. Как говорил герой одного фильма, «Будем искать!». Самой интересно!

Гарнитур для императора

Папу в Одессе знают все. Особенно в Одессе театральной. Его папу знали все в революционной Одессе, а папу его папы и знали, и уважали в дореволюционной Одессе торговой.

Мой прадед Григорий, чей могильный камень удалось перенести с разрушенного на действующее кладбище (и поэтому я знаю годы его жизни), был очень талантливым человеком. Он родился в 1870-м, тогда же, когда и Ленин, который Ульянов. Который дедушка и вождь – ну вы в курсе! Надо, конечно, уточнить у моего астролога, но, полагаю, в этот год звезды сошлись так, что все новорожденные младенцы запрограммированы были на бурную деятельность и имели с пеленок целеустремленный характер борца. Прадед Григорий, вернее, Цви бен Цви Каганович начинал с простого грузчика, дорос до управляющего большого (как я думаю) предприятия. А почему я так думаю? Потому

что именно этому предприятию был заказан мебельный гарнитур для кабинета самого его императорского величества. Сама история полулегендарная. Я давно в ней пытаюсь разобраться. Но гарнитур действительно был. Из красного дерева, с особыми выпуклыми стеклами в дверцах шкафов. Его хорошо помнила папина двоюродная сестра Валя, родившаяся в 1932-м. Спрашивается, как она могла его помнить, если гарнитур был в царском дворце (если был)? В том и соль!

Легенда гласит, что прадед был человеком ответственным. Он не мог подсунуть царю лишь бы что. Когда поступил заказ, Григорий Григорьевич сперва велел сделать по чертежам такой же гарнитур для себя, а уж потом, убедившись, что получилось отменно, – для царя.

И гарнитур был сделан в двух экземплярах, и стоял в нашей большой квартире на Успенской, 101. Долго стоял, аж до самой оккупации. А прадед умер в 1927-м, не подозревая, какая участь ждет его семью и его имущество. Когда в 1941-м умные и дальновидные дед с бабушкой и моей восьмилетней тетей уезжали в эвакуацию, гарнитур был на месте. И толстый персидский ковер, и люстра, и заботливо упрятанная в диван посуда. Все было…

Когда в 1946-м дед с семьей, где, между прочим, уже двое детей, вернулся в Одессу из эвакуации, здесь его никто не ждал. Старший брат и сестра погибли, квартира занята. А в ней ничего уже не было, кроме люстры. Видимо, румынам не с руки было люстру снимать. Так она и висела, радуя новых жильцов. Дед попасть в эту квартиру уже не смог.

История эта похожа на сказку. Но ведь был гарнитур! Тетя Валя его помнила, и не верить ей повода у меня нет.

Я стала потихоньку раскапывать этот толстый легендарный слой. Сперва нужно было выяснить, а была ли, в принципе, такая мебель у царя. Да, была. Примерно под описание подходит парадный кабинет Николая в Александровском дворце. Вот что о нем известно сейчас:

«Фактически совершенно нетронутым остался парадный (новый) кабинет императора Николая II. Здесь в период его царствования проходили заседания Совета министров, представления депутаций и комиссий. За этим столом государь играл в бильярд,

на котором с началом Первой мировой войны раскладывали карты Генштаба. Отделка и мебель для кабинета были созданы в 1903-1906 годах по проекту придворного архитектора Р.Ф. Мельцера. До наших дней от первоначального убранства сохранились панели, камины, антресоль с колоннами, обшивка потолка из красного дерева, а также портреты, фотографии, фарфоровые изделия и книги».

По воспоминаниям тети, мебель в кабинете деда была из красного дерева, а годы 1903-1906 вполне соответствуют нашей легенде. Именно в эти годы прадед был главным управляющим и мог позволить себе такой вот царский кабинет. Не весь, конечно. Но шкафы и стол вполне. Теперь предстояло выяснить, в какой же это конторе мой предок так плодотворно трудился. Задача не из легких, скажу я вам. Но, как всегда, помогли добрые люди и знатоки одесской истории, краеведы Олег Губарь и Анатолий Дроздовский. Моя благодарность этим людям безмерна, поскольку они окончательно помогли семейной легенде обрести одесскую почву под ногами. А образ прадеда Цви бен Цви перестал смахивать на былинный, хоть и еврейского, богатыря (кстати, был он ростом велик и статен, светловолос и голубоглаз), и получил вполне человеческое обличие.

Эти одесские Кагановичи занимались, правда, не производством и торговлей мебелью, а торговлей лесом, то есть древесиной. В 1910-х Григорий служил в лесоторговой фирме А.Л. Мирельзона, по ул. Прохоровской, 30 (по другим сведениям – 31). Сам проживал по Кузнечной, 39 (а не на Успенской, 101, что тоже требует уточнения). Кстати, на Кузнечной, 39, была до революции еврейская школа, и вроде бы в этом же доме жила Вера Инбер.

Но вернемся к нашим Кагановичам. Точнее, к Григорию Григорьевичу, который, как вы помните, вообще-то, Цви бен Цви.

Прадед явно занимал солидное положение, поскольку состоял в комиссии по раздаче пособий топливом и мацой бедным евреям. Другой Каганович, очевидно, близкий родственник, по имени Вульф (Вольф), вел собственный лесоторговый бизнес по Тираспольской, 17. Может быть, они поставили какому-то солидному мебельщику (например, Мельцеру) элитарную древесину, из которой и был выполнен тот самый гарнитур.

Теперь у меня другая головная боль: найти связь одесской лесоторговой фирмы Мирельзона с петербургской мебельной фабрикой Мельцер. На минуточку! Но вы ж понимаете, что я найду!

Как мой папа не стал скрипачом

Мой дед был сыном бывшего портового грузчика, ставшего управляющим. Прадеда Григория по прозвищу Чеченец в городе уважали. Он из босяка стал не последней персоной на лесном рынке дореволюционной Одессы.

На свою зарплату он содержал большую семью и трех неимущих родственниц из села.

Короче, карьера прадеда была прекрасным примером для подражания. Но дед этим не воспользовался. Нет, он, конечно, поступил в медицинский. Как вы понимаете, для еврея в дореволюционной Одессе это было ой как непросто. Но дед перед этим успел повоевать на фронтах Первой мировой, и ему как ветерану дали какие-то льготы. И дед, будучи студентом, даже подавал надежды. Но ровно до того момента, когда грянула революция. И без пяти минут светило одесской медицины ушло делать эту самую революцию. Слава богу, закончилось все для деда относительно хорошо: его не убили, не ранили и не посадили. И в пред-, и в послевоенное время он работал, как и его отец, по части леса. Конечно, карьера так себе! Все его однокурсники, пережившие революцию и войну, в 50-е годы были известными врачами. Все его революционные товарищи, пережившие войну и чистки, были чекистами с персональными пенсиями. И только дед был скромным служащим в какой-то конторе на 5-й Фонтана. Но дружил дед Наум с правильными людьми. Например с Михаилом Водяным. И с профессором Лео Давыдовичем Лембергским. Да, тем самым, что учил будущего драматурга Гарика Голубенко и еще десятки действительно состоявшихся скрипачей!

Так вот… Когда папе моему было лет пять, дед решил, что пора исправлять ошибки молодости. Возможно, ему во сне явился покойный отец, управляющий, и строго сказал: «Нюня! Где твоя совесть! Тебе уже за пятьдесят, а твой единственный сын –

настоящий уличный мальчишка! Все его детство – это беготня по переулку, футбол и прочие глупости. А ты подумал, как он будет кормить семью лет через пятнадцать, когда ты совсем сляжешь от своих болячек? Дай ребенку в руки профессию, пока уличная шпана не дала ему в эти самые руки нож или кастет!». Думаю, покойный прадед мог сказать во сне деду что-то такое или еще серьезнее. Точно сказать не могу. Но дед проникся и повел пятилетнего папу в школу «имени мине» Столярского. Профессор Лео Давидович ждал. Он посмотрел на мальчика и велел прохлопать какой-то ритм. Папа прохлопал. Наверное, без особого удовольствия. Когда профессор нажал на рояле клавишу и попросил повторить ноту, папа отказался наотрез.

Как мог знать пятилетний папа, что от музыки ему убежать не суждено!

Да, он стал не скрипачом, а даже наоборот – виноделом, мастером на судоремонтном заводе, бухгалтером, инженером. Но последние пятьдесят лет музыка из его жизни не уходит: сперва в оперном театре, потом в музкомедии. И если вам ради интереса захочется спросить, кто в Одессе сегодня лучший театральный художник по свету, так я вам скажу – мой папа! Такая вот неплохая карьера.

Папа, бокс и подъем с переворотом

Да, скрипачом папа не стал… А ведь мог, как тысячи хороших мальчиков из еврейских семей! «И чего это евреи так любят скрипку? – спросите вы. – Почему не арфу, например?»

А ведь все просто, если разобраться.

Вот вы живете в местечке, никого не трогаете, играете на скрипочке на похоронах и свадьбах, имеете с этого свой маленький кусочек хлеба, иногда даже с маслом. И вдруг погром или еще какая беда! Что делать? Бросать все и бежать! И вы убегаете, и находите новое тихое место, где евреев пока не бьют. Ваша скрипочка с вами, она вас прокормит. А попробуй проделать то же самое с арфой!

Вот почему еврейских мальчиков не зря учили играть на скрипках. А драться и защищать себя они учились сами.

Дед Нюня в молодые годы состоял в еврейской самообороне и защищал свой район от погромщиков. Тогда времена были такие. А папа?

Папиным тренером по боксу был молодой Давид Бакман, сын того самого легендарного Бакмана Аркадия, который в 1939 году на первенстве СССР по второй группе городов занял первое место в весе 51 кг, и кому первому из одесских боксеров присвоили звание «Мастер спорта СССР по боксу».

Бакмана в Одессе знали все. Несмотря на железный занавес, знали его и в США. Ведь это был тот самый боксер из Одессы, который в своем последнем, 175-м бою одолел чемпиона Нью-Йорка Боба Цимбу.

Чтобы понять, как Одесса относилась к своему герою, стоит вспомнить рассказ его сына о похоронах отца:

«На похороны приехали его ученики со всех концов страны. Тогда вышел жесточайший приказ: никаких похоронных процессий по городу, сразу в автобус – и на кладбище. Выносят ученики гроб с телом моего отца из спортивного зала «Буревестник», где проходило прощание, минуют катафалк. Председатель облспорткомитета кричит им: «Ставьте в автобус!». И тогда один из ребят – Илюша Фридман – сказал: «Вот когда ты откинешь копыта, тебя в автобус мы поставим. А Аркадия Давидовича будем нести».

Идем за гробом. Чувствуем напряжение. Милиция суетится – полковники, подполковники… Скандал! «Несут гроб с Аркадием Бакманом! Уже к Дерибасовской подходят!» Подбегают, чтобы остановить процессию. Илюша Фридман что-то им скажет, и они оставляют нас в покое. Кто-то еще подскакивает. Тоже отпрыгивает.

Недавно я поинтересовался у Илюши, как он тогда договаривался с милицией. Он говорит: «Что ты знаешь? Я тому давал пятерку, тому – десятку, тому – четвертак. И они сами собой отваливали. Все покупается: и тогда, и сейчас».

Сын легенды одесского бокса сегодня живет в США, но его спортивная и журналистская биография неразрывно связана с Украиной. Вот что рассказал он о себе в одном из интервью («Бульвар Гордона», 2007):

«Я начинал как боксер. Мой отец Аркадий Бакман был капитаном первой (подчеркиваю – первой) сборной Украины по боксу, которая в 1933 году на первом официальном чемпионате Советского Союза завоевала бронзу…

Он хотел, чтобы я тоже пошел по его стопам. Я становился чемпионом Кишинева по боксу, будучи студентом техникума физкультуры… Здесь, возмущенный судейской нечестностью, написал в местную газету «Вечерний Кишинев» и в «Советский спорт». Это были мои первые публикации».

В 65-м Бакмана-младшего пригласили в Киев – в республиканскую газету «Комсомольское знамя» (бывшее «Сталинское племя»). Взяли сначала внештатным работником, а потом поручили отдел спорта. Так начиналась карьера спортивного журналиста и писателя.

Но в начале 60-х Давид Аркадьевич Бакман тренировал мальчишек в зале «Спартак» на улице Жуковского. И среди них был мой папа.

Бокс для интеллигентного еврейского мальчика – хороший вид спорта. Либо привыкнешь получать, как говорит папа, по морде, либо научишься уворачиваться и отбиваться. И то, и другое в жизни пригодится.

Надо сказать, что родители папы были на тот момент уверены, что их сын посещает гимнастическую секцию. Папа, сколько мог, поддерживал в них эту веру, пока не наступил Песах.

Мои дед с бабушкой были людьми не религиозными. Они не ходили в синагогу, не учили своих детей молитвам, что было вполне нормально для того советского времени. Но в быту они, сами того не подозревая, соблюдали традиции предков, генетическую память о которых никакой советской властью не вытравишь. Поэтому, например, маленького папу не стригли до трехлетия. Обряд первой стрижки у еврейских мальчиков называется «опшерниш», во время него подстригают волосы коротко, оставляя только пейсы, надевают ребенку кипу и талит. Описанный в Торе обычай гласит: как нельзя первые три года снимать с деревьев плоды, так и волос мальчика первые три года его жизни не должен касаться металл ножниц. После опшерниша мальчик начинает учебу в хедере – начальной еврейской школе.

Конечно, в хедер никто советского ребенка не думал отправлять, но постригли «по правилам». А до того папа помнит, как его сестра Софа и кузина Валя играли с ним, как с куклой, заплетая в косички длинные локоны.

Папа, бабушка Тамара, кузина Валя и сестра Софа (стоит)

На еврейскую Пасху бабушка всегда готовила настоящую ГЕФИЛТЕ ФИШ. Да, именно вот так – большими буквами – нужно описывать этот шедевр! Начиналось все с того, что дедов брат Моня, работавший в Главмясорыбторге товароведом, помогал к празднику «достать» рыбу.

Бабушка колдовала над ней на кухне, а к обеду, когда собирались гости, во всю четырехметровую длину комнаты раздвигался стол и во всю длину стола выкладывалась на трех блюдах *рыба*. Гости оказывались в культурном шоке, а бабушка стойко хранила тайну того самого «рыбного» места, где она «поймала» такую красавицу.

И вот однажды, когда вся семья сидела за пасхальным столом, дядя Моня (тот самый, из Главмясорыбторга), смеясь, рассказал, как он шел по улице и увидел в окне спортзала боксирующего племянника. Наум Григорьевич и виду не подал, что новость его удивила. Но одного его взгляда было достаточно, чтобы спортивная карьера сына сделала резкий прыжок от бокса в сторону гимнастики.

О, юноши-гимнасты! Как вы красивы и грациозны, сильны и прекрасны! О, юные античные боги! Что вы делали в Одессе начала 60-х? Ясное дело что! Летом в перерывах между адскими,

выматывающими тренировками, учебой и работой вы отсыпались на пляже, купались в море и вызывали восторг у одесских девушек своими спортивными подвигами.

Обычно это происходило так.

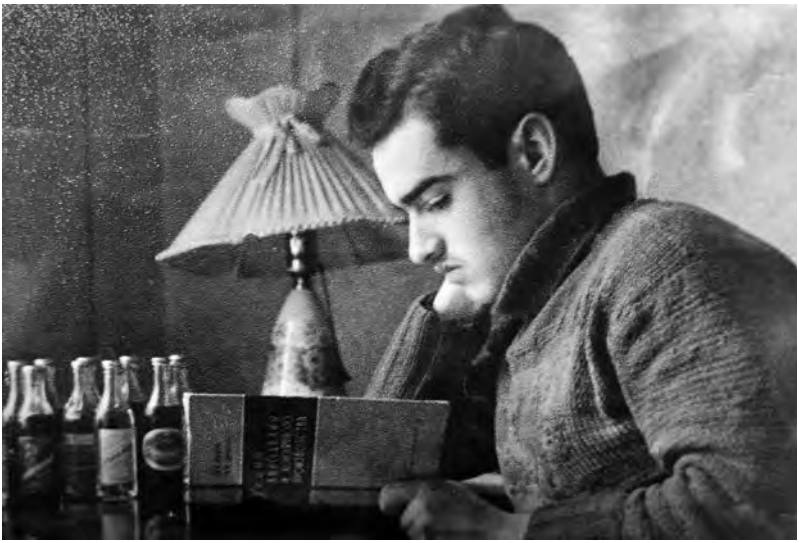
Папа и его товарищ по секции Вовка Кумец работали, что называется, на контрасте. Вовка был ниже ростом, но с фактурной мускулатурой – эдакий Геракл одесского разлива. А папа – чуть выше, но худенький, и на фоне Вовки не особо спортивный. Любимым развлечением этой парочки было разводить наивных качков, занимавшихся на пляжных турниках. Вовка как настоящий импресарио предлагал им поучаствовать в соревновании: кто больше подтянется на перекладине – они или этот худосочный пацан, то есть папа. Качки соглашались, не зная, что у папы к тому моменту был уже второй взрослый разряд по гимнастике. Папа давал им возможность показать себя первыми. Как правило, это были недавно дембельнувшиеся солдатики, сдавшие армейский норматив. Их рекорд – максимум десять раз – папа бил легко и с улыбкой. Что там те подтягивания, когда подъем с переворотом и даже солнышко он делал на раз плюнуть!

Разумеется, судьба приза была решена, и пара французских булок, кило колбасы или печенья доставались папе и его импресарио. Все это честно заработанное богатство запивалось водой из питьевого пляжного фонтанчика, после чего жизнь казалась сказкой. А может быть, не казалась, а была…

Папа, ликер, водка и Общество трезвости

Папа очень любит молоко. Я помню эти советские литровые бутылки с крышечками из серебряной и золотой фольги. Золотая – для топленого, серебряная – для обычного. Еще были поллитровые с розовыми крышками – ряженка, с зелеными – кефир, с полосатыми – ацидофилин. Все это папа любил и любит сейчас. И поэтому после восьмого класса пошел учиться в пищевой техникум. На винодельческий факультет.

Да, я понимаю, что логика не прослеживается. Даже если вспомнить, что в кефире где-то там ученые нашли два-три мил-



Папа – студент винодельческого факультета

лилитра спирта на ведро сырья. Не… все равно не прослеживается. А на самом деле все просто. Тетенька в приемной комиссии пристыдила пятнадцатилетнего папу: разве это мужское дело – на мясомолочном учиться! Там одни девчонки! Не об учебе думать будешь! Да и вообще, разве может мальчик из хорошей еврейской семьи, пусть и не религиозной, даже близко подходить к *мясо-* и одновременно – *молочному* факультету! Абсурд!

И папа поступил на винодельческий.

Самыми светлыми воспоминаниями о периоде учебы остались, конечно, экзамены по дегустации. В эти благословенные дни в стенах техникума по непонятным, но очень уважительным причинам собирался весь педсостав. Привозилось хорошее вино, студенты во главе с экзаменатором садились за большой стол, все получали свои порции алкоголя, достаточного для анализа, и начиналось священное «омывание рецепторов». Медленно и со знанием дела педагог и экзаменуемые счастливчики оценивали цвет, густоту, вкус и послевкусие, букет и аромат

предлагаемых напитков. Вдруг открывалась дверь и какой-нибудь доцент с другой кафедры, который по документам в этот день наверняка числился в отпуске, делал в дверях фальшиво виноватое лицо: «Ой! У вас тут экзамен!.. Я не знааал!». Но уходить не спешил. Конечно же, его тут же приглашали принять участие в экзамене. А через пять минут сценка повторялась, но с участием уже другого доцента.

После окончания сего благословенного учебного заведения папа устроился работать на одесский ликероводочный завод в цех разлива на участке экспортной продукции. Да, в те годы для своих и для иностранных любителей выпить продукцию производили разную. Даже крышечки на бутылках экспортной водки были не привычными нам «бескозырками», а завинчивающимися. На разливе стояла принципиальная шведка Алка – умный автомат, который, в отличие от нашей подобной машины, не наливал в битую посуду. И если в бутылке уже что-то было налито, то Алка всегда доливала четко до нормы.

В обеденный перерыв сотрудникам разрешалось принять умеренное количество производимой продукции. А если б и не разрешалось – вы думаете, это кого-нибудь остановило бы?

С грузчиками, носившими ящики с тарой, принято было рассчитываться майонезной баночкой. Наполнялась она до краев.

И папа в силу ряда причин в своем цеху исполнял роль виночерпия. Ибо руки у опытных работяг профессионально тряслись, а папа был непьющим.

Коллеги шушукались за спиной: «Он дурак или прикидывается?». Но папа не прикидывался. Он просто любил молоко. Но долгое время коллекционировал стограммовые бутылочки с алкоголем. Потом их потихонечку выпил муж сестры.

Пройдут годы, и грянет перестройка. А с ней – антиалкогольная кампания. Многие помнят эти свадьбы с водой «Буратино» вместо шампанского и коньяк в самоварах под видом чая. А на производствах было велено организовывать общества трезвости. Не миновала сия чаша и одесскую музкомедию. Папа как непьющий и ответственный человек был единогласно избран его

председателем. Оставалась малость: набрать остальных членов. И вот тут задачка оказалась со звездочкой. Не то чтобы работники театра все поголовно дружили с зеленым змием, но… Уважительную причину каждый находил себе свою. Новое веяние в театре не пользовалось популярностью от слова «совсем». И вот однажды случилось чудо! Утром на вахте папе сообщили, что его ищет один из сотрудников.

– Наумыч! Тут это… Такое дело! Принимай меня в свое общество! Надо мне очень.

Оказалось, что без справки из Общества трезвости потенциальному охотнику не дают разрешение на регистрацию ружья.

Так что до самого упразднения в Обществе трезвости одесской музкомедии числилось два человека. Остальные как-то не подтянулись. А главный художник театра Михаил Ивницкий так прямо при каждой встрече и заявлял: «Миша! Я выпить люблю! На меня не рассчитывай!».

Папа и не рассчитывал. А Общество трезвости в театре не прижилось.

Папа и шесть портретов Адъютанта

Папа вырос в семье зрителей. Никто до него из родни к искусству отношения не имел. Ходили в театр, как все, – не часто, но регулярно. Однажды контрамарки деду, который после войны работал в конторе, продававшей пиломатериалы (пошел по стопам Цви бен Цви), подарил сам Водяной. Видимо, за помощь в строительстве дачи.

А папу судьба привела в театр в 1970-м. Юноша двадцати шести лет, у которого за плечами пищевой техникум, ликероводочный завод, судоремонтный завод и армия, попадает на работу в Одесский театр оперы и балета на должность радиста.

Как сейчас безапелляционно заявляет папа, он пришел в театр, чтобы найти жену. Но тогда он, конечно, об этом не догадывался. Первый рабочий день у папы был 26 мая. После смены он вышел в фойе полюбоваться сусально-мраморно-бархатным убранством

и заметил толпу юных красавиц, осаждавших неприступного билетера. «Пустите! – умоляли девушки. – Мы только на *него* посмотрим одну секундочку!..» Папа поинтересовался, на кого они собираются посмотреть.

– На Соломина!

– А кто это?

– Адъютант его превосходительства!

Ага! Вот оно что! В одесском оперном с 25 мая гастролировал знаменитый Малый театр! А на сцене блистал тот, в кого буквально накануне влюбились все девушки страны от пятнадцати до семидесяти восьми лет – Юрий Мефодиевич Соломин. Многосерийный фильм с его участием только вышел и сделал актера невероятно знаменитым.

Папа поспешил в зал смотреть на Адъютанта. Через пару дней на столе у театрального фотографа он увидел карточки: Юрий Соломин на фоне чугунной ограды в Пале-Рояле. Конечно, не воспользоваться таким случаем было глупо. Папа выпросил у фотографа две штуки и отправился в гримерку Соломина за автографами – для себя и старшей сестры Софы. Софа работала в холодильном институте. На следующий день там был скандал: ее лучшие четы-

ре подруги тоже хотели автограф Адъютанта. Конечно же, через несколько дней они его получили.

Да, были времена, когда в Одессу не на день-два, а на несколько недель приезжали знаменитые коллективы. Малый, МХАТ, театр имени Маяковского, театр «Ромэн» привозили своих звезд и лучшие постановки. Так наша коллекция пополнилась автографами Михаила Жарова, Игоря Ильинского, Евгения Леонова, Евгения Евстигнеева, Олега Стриженова, Вячеслава Невинного, Александра Калягина. Со всеми этими людьми папе посчастливилось общаться и работать. МХАТ под руководством Олега Ефремова однажды даже привез «полуфабрикат» постановки «Протокол одного заседания»: спектакль репетировали на одесской сцене и здесь же показали премьеру. А перед этим на сдачу пригласили работников одесских заводов, чтобы проверить на искушенной публике точность образов. А в легендарной постановке «41-й», которая шла на одесской сцене четырежды, Олег Стриженов в роли белого офицера Говорухи-Отрока читал стихи своей Марютке минут по пятнадцать, и каждый раз это были другие стихи. Получался моноспектакль внутри основного действия. Кто сейчас на такое способен?

Папе посчастливилось попасть в театральный мир Одессы тогда, когда этот мир переживал свой золотой век. Гастроли знаменитых трупп сменялись не менее громкими премьерами местных театров. Какие звезды блистали на одесских сценах! В опере – Н. Огренич, И. Пономаренко, Т. Мороз, А. Арье, А. Капустин, А. Рихтер, Р. Сергиенко, Е. Иванов, Н. Ткаченко, А. Джамагорцян, А. Дуда, В. Олейникова! В балете – Н. Барышева, С. Антипова, М. Петухов, В. Новицкий! Позже, уже в театре музкомедии, папе посчастливилось работать с М. Водяным, М. Деминой, Е. Дембской, И. Ивановой, Л. Сатосовой, С. Крупником и тогда только начинавшими свой творческий путь Г. Жадушкиной, В. Бардой-Скляренко, В. Фроловым, В. Фроловой, В. Валовым. Особую роль в творческой судьбе папы сыграл незабвенный Михаил Борисович Ивницкий – главный художник театра музкомедии.

Обо всем этом папа вспоминает, просматривая в который раз ту самую коллекцию автографов. О ней, конечно, можно и нужно писать отдельную книгу. Что я однажды и сделаю. Обещаю.

Как папа встретил маму

Папа жениться не любит. Программу-минимум, конечно, он выполнил: сходил в ЗАГС один раз, но больше ни-ни. Так и живет с мамой сорок четыре года. Правда, если считать еще пять лет «конфетно-букетно-театрального» периода, то получается уже сорок девять. Мама – Светлана Каганович – пришла в оперный театр в 1971 году. И проработала в нем более тридцати лет инженером-осветителем. Сейчас здесь она возглавляет цех художественного света. Как лайт-дизайнер мама объездила с гастролями полмира, работала с Плисецкой, Национальным балетом Кубы, Moscow City Ballet, Марселем Марсо, Георгом Отсом, Марисом Лиепой, Австралийским балетом, десятками знаменитых режиссеров, художников и балетмейстеров. А папу еще в начале 80-х судьба привела из оперного театра в одесскую музкомедию, где он и по сей день трудится в должности начальника службы художественного света.

Удивительное явление – свет. Выхватит луч прожектора из толпы человека – и он у всех на виду, все готовы слушать, равняться на него. Сделает человек неверный шаг, отступит в тень – и все забыли о нем, ищут нового кумира в новом луче. Не все актеры понимают, как важен свет в их профессии. Но это понимают папа и мама. Они – профи, они любят театр так, как, наверное, никогда не сможем любить его мы. И я уверенно могу сказать: в сиянии многих звезд одесской и мировой сцены есть частицы света моих родителей.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Проза

76 **Елена Андрейчикова**
Рыба на дереве

84 **Яков Шехтер**
Черный ластик

94 **Анна Михалевская**
Хлеб Соломии

110 **Александр Бирштейн**
Сказки

125 **Алексей Овчинников**
Рассказы на этикетках

132 **Ирина Фингерова**
Рассказы не о любви

Елена Андрейчикова

Рыба на дереве

Что только мужчина ни сделает, ради того чтобы увидеть одобрение в женских глазах! Однажды и я на это попался.

Не поверил своему полтиннику, когда их увидел. Эти глаза. Шагнул влево и уставился. По съемочной площадке порхала она. Волосы другие, длинные, ноль косметики, балахон, но я все равно узнал. Восемь лет прошло.

Полтинник – это пятидесятимиллиметровый объектив.

В один миг воссоздал по памяти нашу последнюю встречу. Хорошо, крайнюю встречу, как сказали бы мои суеверные коллеги. Лежу дома третью неделю, поднимаюсь, только когда мама выходит в магазин, – чтобы покурить на балконе. Курю быстро, каждый раз две подряд. С агрессивной тоской, будто отсаженный в отдельный вольер самец в зоопарке, наблюдаю, как девушки оголяются все больше: ключицы, декольте, ноги, а вот вообще – обнаженная спина в белом льняном сарафане. Тонкая, ровная, наглая, загорелая. Смотрел бы и смотрел. Но лучше прикоснуться.

Прикоснуться мне не светит. По крайней мере до конца июня. Перевел взгляд с бронзовой уютной спинки на свою белесую руку. Загорать и тягать гантели мне тоже не светит, пришлось вернуться из Одессы домой к маме. В общежитии за мной никто бы так не смотрел.

Докурил, лег, начал играть с собою в игру: кто придет на мои похороны. По примеру Эрдмана*, на фильм о нем случайно наткнулся. Грустный одинокий фильм о любви – мне в самый раз. О любви – так создатели его позиционировали, а по мне – так он исключительно о нелюбви, это ж надо было столько лет стра-

* Николай Робертович Эрдман (1900-1970) – советский драматург, поэт.

дать друг по другу, вынимать друг другу мозг и сердце регулярными пронзительными письмами, но не быть вместе… Друг другу, понимаете? Не один страдает, а второму и в голову не приходит, что первый страдает, и никогда не придет, потому что тот первый сам не скажет, и никто его не сдаст.

Так кто придет на мои похороны? Длинный список у меня получился. Если бы в тот день под окном училища откинулся, возможно, весь курс бы и пришел. Преподаватели. Декан. Она. Хороший был бы день, насыщенный эмоциями, я не против за этим понаблюдать через дискретную оптику. С высоты или откуда там мне было бы положено.

После составил список тех, кто придет, если бы я умер сегодня. В июне, не в Одессе, забитые электрички, духота, мухи, осы, а вода в море плюс двадцать, не меньше. Как у Эрдмана, который после составил второй список – тех, кто придет на его похороны в дождливый день, список у меня получился намного короче. Первым пунктом в списке мама, вторым – бабушка.

– Здравствуйте, проходите! Проходите в комнату!

Приподнялся на подушках, вытянув подбородок. И нос, как будто именно им мне случилось бы унюхать, кто к нам пришел. Потому как ушами слышал вибрации ее голоса, но не верил.

– Здравствуй, Андрей.

Переступила порог и застыла. Никогда не видел ее такой испуганной. На экзамене наверняка она была испугана не меньше, но я, когда из окна прыгнул, не мог же видеть ее глаз. А сейчас смотрел и любовался. Темные точки, неспокойные, суетливые, окруженные ресницами и реальностью. Элис, то есть Алиса Александровна. На электричке? Или привезли? Белая рубашка, голубые джинсы, синие лодочки. Привезли.

– Ничего себе! Чем обязан? – растянул по слогам скепсис. Страх, сострадание, жалость? Удивите меня другой причиной ее прихода.

– Как себя чувствуешь? – она положила на стол возле постели пакет с апельсинами.

Я скривился. У меня аллергия на цитрусовые.

– Отменно! А вы? – на втором предложении я обмяк, спесь и скепсис улетучились. Она присела на край кровати, начала

что-то рассказывать о нашей группе, мы смеялись, она иногда касалась моего плеча, я рассматривал ее тонкую бледную шею, две мелких родинки у левого уха. Совсем короткая стрижка, рваная челка. Она болтала, а я представлял, что если дотронуться до волос, можно уколоться. До крови. Говорила тихо, глаза успокоились, смотрели прямо, уверенно, легкая улыбка убаюкивала меня, и я забыл про беспорядок в комнате, про то, что не принимал душ уже два дня, про то, что лежать мне до конца месяца в этой детской, которую, я надеялся, давно перерос, забыл про коллекцию машин, которую все собирался отдать кому-то, но так и не отдал. А вот про Эрдмана не забыл.

– Я тут в игру играю.

– Какую?

– Кто придет на мои похороны. Вот если бы в тот день, после экзамена, умер, вы бы пришли? Скорее всего, пришли бы. В Одессе. А вот если сегодня? И здесь же хоронили бы, пришли?

Я улыбался, а ее улыбка сползла. И глаза стали холодными, прозрачными, разочарованными. Ресницы аплодировали моей глупости.

Даже ругалась она трогательно и совсем не обидно.

– Бестолочь.

Резко вскочила с кровати и ушла. Не попрощалась и не оглянулась. Я вышел на балкон и следил за ней взглядом, пока не исчезла худенькая, хрупкая, белая рубашка.

Пролежал в постели до середины июля. Только потом разрешили ходить, помимо массажей прописали специальные тренировки, и я наконец попал на море.

Спина часто ноет и сейчас, хочешь не хочешь, вспомнишь, как все было. Но уже мимоходом, одним большим воспоминанием, ощущением. А в то лето у меня было достаточно времени, чтобы вспоминать каждую минуту, как же меня угораздило так бездарно отбить себе спину. Меня, человека, который собирался всю жизнь таскать в руках камеру, другой судьбы себе не представляющего, с детства мечтающего о больших проектах, полных метрах, крутых режах и тонких во всех смыслах актрисах.

А на втором курсе – актерское мастерство. И экзамен в конце года. Без которого никак не перейти на третий Грековки. Теперь

у этого художественно-театрального училища совсем другое название, как по мне, неприятное, режущее слух, не имеющее ничего общего с таинством и волшебством. Как хорошо, что я уже не имею к нему отношения: Коммунальное учреждение «Одесский художественный колледж имени М.Б. Грекова».

Но для меня оно останется родной Грековкой, как, собственно, и наш факультет кинофотовидеодела, который студенты между собой называли «кинофотовеломото».

Это самое актерское мастерство проходило раз в неделю по пятницам. Первая пара. На заре – прекрасная Элис, но бездарный я. То есть необходимость вставать в шесть утра и нестись через весь город (а я жил на улице Левитана, далеко от центра) для меня отсутствовала. Даже то, что занятия вела прекрасная Элис, не могло меня поднять. Зачем оператору театральный гротеск Мейерхольда? Увольте.

Но экзамен приближался. Жизнь моя была ветреной, легкой и воздушной, студент же, поэтому до последнего дня и не думал о том, как буду сдавать именно этот экзамен. И к таким предметам у меня подход был один, спасибо Эйнштейну: «Если вы будете судить рыбу по тому, как она лазает по деревьям…». Я ж оператор будущий, а не актриса.

А вот преподаватель мой, Алиса Александровна, лютая последовательница Станиславского, любимица Одесского украинского театра, думала и обо мне, и о том, как бы меня не завалить, но все-таки принудить к работе, а заодно и отомстить мне за все пятницы, когда я дольше положенного спал, а она, красавица и умница, нет.

– К экзамену подготовишься сам. Выбери любой монолог. Только наизусть выучи, пожалуйста. Вон, Татарчук попроси, она поможет тебе подготовиться. Ты же понимаешь, больше тройки тебе не светит. Но выучи обязательно. Чтобы мне перед остальными экзаменаторами не краснеть.

Поймала она меня за рукав в коридоре. Я еще утром долго перед зеркалом выбирал – футболка или рубашка. Поймала – не отвертишься.

Месяц на то, чтобы морально и технически подготовиться к позору. Забыть о том, что сейчас апрель, мне восемнадцать,

я влюбился, впереди экзамен еще и по основному предмету, и наша коллективная короткометражка вот-вот будет готова. Мне следует обо всем этом забыть и лезть в непроглядную тьму под названием «актерское мастерство». Даже на любимых предметах я руку не поднимаю. Ненавижу на публике говорить. Нужно будет выйти на сцену, расправить крылья, это уж вряд ли, расправить хотя бы плечи, произнести монолог и убедить профессиональную актрису и педагогов со стажем, что я могу. На тройку. О большем и не мечтать.

Хотя почему сразу на тройку? Если я уже за что-то берусь, то иногда получается. Нельзя судить о рыбе по тому, как она лазает по деревьям! Она же будет считать себя дурой. Своим советом Алиса Александровна заставила меня позариться на самую верхушку. Чувствовать себя полным дураком, но захотеть залезть.

Монологи Гамлета, Чацкого-тацкого я отмел. Не проникся. Я искал что-нибудь эдакое, что удивит Элис (так мы звали ее за глаза) и заставит верить даже Станиславского.

Поиски монолога заставили меня перечитать уйму пьес, с которыми уже был знаком, и парочку новых. Был найден монолог убийцы, не помню автора. Конечно, чем еще я мог взбодрить себя? Суть была в том, что маньяк-насильник, убивший сестру своей матери, расчленивший свою невесту и всех гостей на свадьбе, пишет трагическую записку, перед тем как прыгнуть в окно. Как раз по мне. Эту записку я и должен был прочесть на экзамене.

Я никогда никого не убивал в распространенном смысле этого слова. Так что вам ничего не грозит. Разве что несколько минут внимания. Где-то с трех лет ко мне во снах стал являться ужасный дьявол. Он поведал мне, что приходится мне отцом. В разговоре я понял, что наделен возможностью похищать души.

Помню только эти строчки. Когда перед Татарчук читал, она несколько раз повторила: «Не бубни, громче, еще громче».

Репетировал, зубрил, а слова улетучивались. Чтобы накрутить себя, войти в состояние, читал много про суицидников. И пьеса Эрдмана «Самоубийца» попалась кстати. Так я потом им и увлекся: фильмы и пьесы в записи пересмотрел, любовную их перепис-

ку со Степановой прочитал. Однажды всерьез обдумывал, что это хороший запасной исход на все случаи жизни. Когда третий час не мог один абзац запомнить. К вечеру отлегло.

Элис ловила меня еще два раза в коридоре. Спросила, что буду читать.

– Секрет.

– Давай так, чтобы твой секрет был раскрыт достойно. Верю в тебя.

– Рановато. И вы знаете, не стоит судить рыбу по тому, как она…

– Прогуливает лазанье по деревьям, – перебила она меня. – Знаю.

Оделся соответственно моим представлениям о человеке, который устал жить: черные брюки, черные лаковые ботинки, белая рубашка, две верхних пуговицы расстегнуты, волосы растрепаны, черные тени на глаза, спасибо Татарчук. И под глаза.

Помню каждый шаг, который сделал от дома до училища. Как уехала перед носом маршрутка. Как водитель следующей, в которую мне удалось втиснуться, не услышал меня, когда я просил остановить на углу Некрасова. Как больно прищемил себе колесиком зажигалки палец, когда прикуривал, подходя к училищу. Как заботливая на грани назойливости Татарчук в синем шелковом платье сказала мне «ни пуха ни пера», а я не ответил. Только когда вышел на сцену и увидел, что поцарапал где-то свою правую туфлю, до меня дошло, что я не сказал ей «к черту».

– Прошу вас, Андрей. Начинайте.

Опустил голову, постоял так с минуту, пока не выветрилось все постороннее. И начал. Медленно, тихо, чтобы они прислушивались к каждому моему слову. Чтобы перестали кто шелестеть, кто улыбаться, кто шептаться, кто натягивать сочувственно на три мои прогулы.

Казалось, что сквозь слова слышно сердце. Которое сейчас из меня выпрыгнет. Не мое. Сердце убийцы. И как следствие – самоубийцы.

Посмотрел в глаза Элис, мне хотелось заплакать, нет, не мне настоящему, а вот тому несчастному, который писал прощальное письмо. Хотел бы я, чтобы и она заплакала. Чтобы поняла, что

чувствует этот человек. Я ощутил, верил себе, стал раскаявшимся убийцей, в меня вселились актерские бесы, не спешил, делал долгие паузы, не боялся тишины, я ею управлял. Стал всемогущей амбициозной рыбой, которая во имя дела, не совсем понятно какого, перфекционизма или весеннего всплеска гормонов, то ли покоренная чужой волей, то ли наоборот, в попытке ей противостоять – рыба, которая поджала хвост, подняла к небу прозрачные плавники и пытается зацепиться за кору дерева. Не зная, доберется ли до верхушки, надежды мало. Но хоть немного оторвется тельцем от земли. Пусть никому это, кроме меня, не нужно. И после только сессия, каникулы и забвение рыбьего подвига. Если ж не сдам – то могут и выгнать.

Почему-то я решил, что мне это гениальное прочтение предсмертной записки никак не поможет дотянуться до намеченной четверки. Ни истерзанные жабры, ни напряженные колени задних плавников в лаковых туфлях. Решил прыгать.

Актовый зал был на первом этаже, ветер теплый, окно открыто, я проверял несколько дней до экзамена, заглядывая в зал, когда никого не было. Не был до конца уверен, буду ли прыгать, но держал план в уме. А вот проверить, что творится снаружи под окном, ума не хватило.

А снаружи был цокольный этаж, а там вход в подвал и приоткрытая дверь. Не предусмотрел. На последних словах «Мне пора, дамы и господа. Время вышло. Спасибо за внимание» я выбежал из окна со скоростью падающей с дерева рыбы.

Пытался сгруппироваться. Мои позвонки тоже.

– Черт! Фак! Боже мой! – слышал я вдогонку. Элис вскрикнула. Как бы мне хотелось, чтобы она так вскрикнула не только из-за ответственности за мою жизнь.

Комиссия поставила тройку. С устным объяснением, которое мне на следующий день передала Татарчук: за угрозу собственной жизни, за возможную уголовную ответственность преподавателя в случае несчастного случая.

К костоправу ходил все лето. Продолжаю ходить два раза в год. Вспоминаю. Каждый рабочий день. Из-за спины.

И вот сегодня обычное световое пятно в объективе внезапно персонализировалось и превратилось в Элис.

– Э-э-э-э… Алиса Александровна! Вы меня помните?

– Помню, рыба, помню.

Тонкая и хрупкая, только с длинными до плеч русыми волосами. Упругими и жесткими. Кончики кажутся острыми, будто могут уколоть тебе палец, если дотронешься. До крови.

Яков Шехтер

Черный ластик

На улицах Будапешта царила весна. Сквозной ветерок шевелил молодую листву платанов вдоль проспекта Андраши. Свет и счастье бродили по площадям и паркам венгерской столицы. Но в квартире меламеда Берче Фогеля царила полутьма. Плотные шторы уже несколько месяцев прикрывали окна. Никто не должен был знать, что происходит в доме.

Ребе Аарон Рокеах из Белз чудесным, необъяснимым образом сумел перебраться в Будапешт из Перемышлянского гетто. Он поселился у Берче-меламеда и восемь месяцев практически не выходил из дома. Но гестапо все-таки прознало, что Белзский цадик скрывается в Будапеште. Венгерское правительство получило категорическое требование из Берлина выдать ребе.

Режим Хорти трещал по швам, однако адмирал отчаянно пытался изображать независимость. Благодаря этому хасидам удалось за огромные деньги купить для ребе Аарона и его двоюродного брата Мордехая визу в Швейцарию.

Поезд отходил ночью, а утром ребе попросил Берче собрать всю его семью в одной комнате.

– Я хочу благословить твоих детей, жену и родителей и поблагодарить за гостеприимство, – сказал ребе Аарон.

Они выстроились у стены, престарелые отец и мать, Берче с женой и шестеро детей. Цадик мерил шагами комнату и молчал. То и дело он останавливался, оглядывал семейство Фогель, отворачивался и снова принимался ходить от окна к двери. Невысокий, щуплый, порывистый в движениях, больше похожий на юношу, почти мальчика. Лишь седая борода и изборожденное

морщинами лицо свидетельствовали о преклонном возрасте и перенесенных страданиях.

Сердце Берче замерло. Большая беда надвигалась на евреев Венгрии. Она висела в воздухе, как туман, не давая спать по ночам, расстраивая дневные мысли. Но выхода не существовало, любая возможность спастись была давно перекрыта. Благословение ребе-чудотворца могло оказаться последней ниточкой, связывающей их с жизнью. И вот ребе молчал, а это значило, что впереди только тьма.

Ребе Аарон опустил голову, набычился, словно преодолевая препятствие. Затем отодвинул штору и выглянул на улицу. Цветущий каштан перед домом выбросил желтые свечи; бабочки, похожие на ожившие цветы, порхали среди листвы. Цадик тяжело вздохнул и задвинул штору. Вместе с ним вздохнул и Берче-меламед.

Ребе подошел к семейству Фогель, еще раз тяжело вздохнул и вдруг произнес:

– Благословляю вас всех, да, всех до одного, на скорое восхождение на Святую землю. Пусть Эрец Исраэль принесет вам радость и умиротворение.

В комнате воцарилась тишина. Слова ребе казались оторванными от реальности, лишенными малейшей практической основы. Но если цадик говорит, он знает, что говорит.

– Вот еще что, Берче, – добавил ребе Аарон. – Мои хасиды изрядно перепачкали твою мебель, обтерли стены, разбили немало посуды. Я хочу возместить убыток.

Берче от изумления даже руками замахал:

– Что вы, ребе?! Какой еще убыток?! Мы были счастливы жить вместе с вами под одной крышей. Это стоит любых денег.

Ребе Аарон не ответил. Он замер, будто прислушиваясь, а потом сказал:

– Ладно, тогда я останусь твоим должником. Вернемся к этому разговору на Святой земле.

Прошло несколько недель. Проходя по улице мимо приземистого здания центрального юденрата, Берче заметил очередь. В ней стояли хорошо одетые люди, многие с сумками или с небольшими чемоданами в руках. Узнав в очереди знакомого дантиста, Берче подошел к нему.

– Что происходит?

– Чудо, – негромко произнес дантист. – Просто чудо и больше ничего. Кастнер, член правления юденрата, договорился с гестапо о выдаче виз в Швейцарию, а оттуда в Турцию и Палестину. Две с половиной тысячи долларов за визу. Платишь – и уезжаешь.

– А чемоданы для чего? – спросил Берче.

– Для денег, – ответил дантист. – Кто может, расплачивается золотом или драгоценностями. Кто не может – долларами или фунтами. Но только ими, венгерские пенге не принимают.

– Плохи, видно, дела у гестапо, если они нуждаются в еврейских долларах, – заметил Берче.

– Какая мне разница, – устало бросил дантист. – Лишь бы вырваться из этого ужаса.

Берче отошел в сторону. Месячное жалованье меламеда не достигало десятой части стоимости одной визы. А двадцать пять тысяч долларов за десять были просто астрономической суммой.

И тут он вспомнил о благословении ребе Аарона. Может быть, вот так и сбудутся его слова о скором восхождении на Святую землю? В конце концов, почему не попробовать, чем он рискует?

Берче занял очередь. Она продвигалась медленно, но ведь всему на свете приходит конец, и хорошему, и плохому, надо только набраться терпения. В гулком вестибюле с полом из шахматно уложенных черных и белых плит очередь распадалась на три рукава, в три коридора. Берче стал в ближайший рукав и принялся потихоньку продвигаться к высокой двери, за которую один за другим ныряли смятые тревогой евреи, а выходили спокойные люди, обладатели права на спасение.

Вдруг прямо напротив него с другой стороны коридора открылась запертая дверь, и возникшая на пороге чиновница сказала:

– Кто за визами, можете сюда.

Берче сделал всего три шага и оказался рядом.

– Проходите, – чиновница, повернулась и пошла внутрь комнаты, а Берчи, осторожно прикрыв дверь, последовал за ней.

Усевшись за стол, на котором двумя аккуратными стопками были сложены картонные папки, чиновница холодно произнесла:

– Предъявите документы.

В то лихое время выйти на улицу без документов означало пропасть при первой же облаве или проверке, поэтому Берче немедленно вытащил удостоверение личности и положил на стол перед чиновницей. Пока та внимательно изучала документ, Берчи успел хорошенько ее рассмотреть.

Было ей лет тридцать. Миловидное лицо, осыпанное мелкими веснушками, рыжие волосы, еще по-девичьи припухлые свежие губы, короткая деловая стрижка и строгий костюм, более подобающий учительнице, чем секретарше.

– Итак, господин Фогель, вы просите о выездной визе для себя?

– Да, – ответил Берче. И замер.

Следующим должен был последовать вопрос о деньгах, но чиновница вместо этого спросила:

– Ваша семья останется в Будапеште?

– Нет, она поедет со мной.

– Заполните бланк, – она протянула ему лист бумаги. – Укажите точно имена и фамилии тех, для кого вы просите визу. Постарайтесь не ошибиться, в случае несовпадения данных визы и удостоверения личности виза будет аннулирована при посадке в поезд.

Берче взял бланк, обмакнул перо в чернильницу и стал писать.

«Зачем, зачем ты все это делаешь? – стучала в висок назойливая мысль. – Сейчас она увидит список из десяти имен и попросит заплатить 25 тысяч долларов. И что ты ей скажешь? Что забыл деньги дома?»

Закончив писать, Берчи взял стоявшее на столе массивное пресс-папье, тщательно промокнул чернила и передал бланк чиновнице. Та, не выказав ни малейших признаков удивления, достала из папки пустые визы и принялась заполнять. Одну за другой, одну за другой.

Берчи сидел ни жив ни мертв. На его глазах совершалось чудо, настоящее, невообразимое чудо, а он все никак не мог поверить, все ждал, когда, выписав визы, чиновница потребует деньги.

А та писала и писала, от усердия по-детски чуть высунув из уголка рта розовый кончик языка. Закончив работу, чиновница сложила визы стопкой и протянула Берчи.

– О времени отправления эшелона будет объявлено особо. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе. Как вы понимаете, в случае опоздания на поезд визы аннулируются.

Последнее слово она произнесла со вкусом, сочно выделив два «н». Берчи тут же вспомнил о первом ее предупреждении и, взяв визы, стал сверять имена. Все было точно, кроме имени его матери, чиновница пропустила букву.

– Ошибка!

– Не может быть! – чиновница залилась алым румянцем, удивительно подходящим ее рыжим волосам. – Ой, точно!

Она подняла на Берчи глаза, и он невольно сжался от страха. Два колодца, наполненных черной водой, два манящих омута, две бездны. Он потряс головой, сбрасывая наваждение, и когда снова поглядел на чиновницу, увидел только слегка растерянный взгляд.

– Это ерунда, – сказала чиновница. – Никто не заметит.

– Но вы же сами предупредили – визу могут аннулировать. Выпишите другую, пожалуйста.

– Говорю вам – ерунда. Я не стану портить из-за этого бланк. Они все пронумерованы и подсчитаны.

– Сделайте что-нибудь, – попросил Берчи. – Неужели из-за бланка мою мать высадят из поезда?

– Ладно, давайте я исправлю, – протянула руку чиновница. – Вытру имя, вы не против?

«Как можно вытереть надпись, сделанную чернилами?» – удивился про себя Берчи, но тут же согласился и подал визу матери.

– Конечно, конечно, не портить же бланк.

Чиновница вытащила откуда-то толстый черный ластик, жадно, словно перед едой, облизнула губы и несколькими движениями начисто стерла имя матери Берчи. Затем обмакнула перо в чернила, написала его заново, промокнула надпись пресс-папье и вернула визу Берчи.

– Вот, и волки сыты, и овцы почти все целы.

Берчи непонимающе посмотрел на чиновницу.

– Волков ведь тоже надо подкармливать, – объяснила она.

– Извините, я не понимаю. О каких волках идет речь? – недоуменно спросил Берчи.

– Неважно. Счастливого пути.

В день отправки эшелона с утра зарядил дождь. Пока загрузились в вагоны, основательно промокли и, пытаясь согреться, сидели на скамейках тесно прижавшись друг к другу. Берчи ждал подвоха до последней минуты, ему все казалось, что вот-вот в вагон ворвутся представители юденрата и вытащат обратно под холодный дождь всю его семью, обманом получившую визы. Но паровоз загудел, вагоны дернулись, и черный мокрый перрон за стеклом, исполосованным быстрыми струйками, медленно стал уплывать в сторону.

Спустя полгода мытарств и лишений семья Фогель прибыла в Тель-Авив и поселилась в маленькой квартирке на шумной улице Шенкин. На следующий день Берчи поехал в Бней-Брак, навестить ребе Аарона. Служка наотрез отказался пропустить к ребе незваного гостя.

– Цадик сегодня не принимает, – заученно повторял он, не глядя на Берчи. – Приезжайте в четверг после полудня.

– Передайте ребе Аарону, что его хочет видеть меламед Фогель из Будапешта.

– Цадик сегодня не принимает, – но тут дверь кабинета отворилась, и на пороге возник ребе Аарон собственной персоной.

– Берчи! – воскликнул он. – Когда вы приехали?

Разговор получился длинным. Ребе расспрашивал о Будапеште, о том, как Берчи удалось получить визы, о длинном пути через Швейцарию и Турцию и о том, чем собирается Берчи заняться на Святой земле.

– В Бней-Браке не хватает хороших меламедов для еврейских детей, – сказал ребе в конце беседы. – Я напишу записку директору школы, он возьмет тебя на работу.

– Ребе, – наконец решился Берчи, – чиновница в юденрате – это пророк Элияу или ангел, которого вы послали?

– Какая тебе разница? – устало ответил ребе Аарон. – Главное, что вам удалось вырваться из этого ужаса.

Он помолчал немного и добавил:

– Надеюсь, я больше не твой должник, Берчи?

– Конечно! – вскричал меламед. – Это я ваш должник, ребе! Я и мои родители, и моя жена, и мои дети. Все мы перед вами в неоплатном долгу до самого конца жизни.

– Не надо говорить об этом, – прервал его ребе протестующим движением руки. – Никто не знает, где он, этот конец, и когда может наступить.

Прошло около года. Мать Берче сильно заболела. Она и раньше не могла похвалиться отменным здоровьем, а события последних лет могли расшатать самый крепкий организм. Ее госпитализировали, но больничный уход не помог, матери становилось хуже с каждым днем. Берчи и его жена по очереди дежурили у постели больной.

В ту ночь была очередь Берчи. После приема лекарств мать заснула, а он еще долго читал псалмы, сидя в неудобном кресле, со спинкой и сиденьем, обитыми липким от старости кожзаменителем. Постепенно глаза начали слипаться, Берчи закрыл книжку и поплыл, мягко закружился на волне сновидения.

Очнулся он от стука. Цокая каблучками, в палату вошла женщина в белом халате со шприцем в руках и направилась к постели больной. Берчи обомлел: это была она, та самая чиновница из юденрата.

– Простите, – еле выдавил он, – но как вы попали в больницу? Разве вы врач?

– Теперь я сестра милосердия, – произнесла чиновница хорошо знакомым Берчи холодным тоном. – Сейчас я сделаю укол вашей матери, и ей сразу полегчает.

Она склонилась над больной, умело воткнула иглу, быстро выдавила содержимое в вену и, вытащив шприц, двинулась к выходу.

– Простите, но простите же! – вскричал Берчи. – Я хочу с вами поговорить.

– Завтра, – ответила чиновница. – Поговорим завтра.

Берчи хотел встать, но его одолела дремота, голова сама собой опустилась на грудь, и он мгновенно заснул.

Его разбудил шум. Две сестры закрывали постель матери белой ширмой. Из-за их спин он увидел безжизненно свисавшую руку с посиневшей кожей и все понял.

– Кто ночью ставил матери укол? – спросил он у старшей медсестры, когда тело, накрытое простыней, увезли на каталке.

– Никто. Ночью уколы делают только по особому предписанию. А такого не было.

– Но я сам видел медсестру! – возразил Берче. – Я даже с ней разговаривал. Рыжая такая, лет тридцати, с короткой стрижкой.

– У нас нет таких сотрудниц, – отрицательно покачала головой старшая медсестра. – Вы устали, заснули в кресле, вот и привиделось. Я очень вам сочувствую и понимаю ваше состояние. Давайте примем успокоительное.

Берчи наотрез отказался и вышел из отделения. Все формальности прошли на удивление просто, представитель «Хевра кадиша», похоронной конторы, сидел в кабинете на первом этаже больницы. Похороны назначили на вторую половину дня, ждать было некого – кроме Берчи и его семьи, все родственники матери остались в Венгрии.

На кладбище перед началом церемонии его пригласили опознать тело.

– Женщина из нашего похоронного братства провела процедуру очищения по всем законам, – объяснил похоронщик в черной шляпе и с белыми пятнами соли от высохшего пота на воротнике и лацканах черного пиджака. – Сегодня, к сожалению, мы хороним не только вашу мать, поэтому будет правильно, если вы лично убедитесь…

– Да-да, разумеется, – Берче направился к входу в барак, на который указал ему похоронщик. Там было сумрачно и прохладно, каталка с телом, закрытым белой тканью, стояла на бетонном полу возле стены. Берчи подошел, откинул ткань, увидел лицо матери с открытым ртом, забитым ватой, и с содроганием тут же опустил ткань.

Сзади послышался перестук каблучков, и знакомый голос произнес:

– Она?

Берчи резко обернулся. Чиновница будапештского юденрата, на сей раз одетая в черный халат, стояла перед ним.

– Кто ты? – хриплым шепотом спросил Берчи. – Кто ты?

– Какая тебе разница? – устало ответила чиновница. – Это твоя мать или нет?

– Моя.

Чиновница жадно облизнула губы, повернулась, быстро пересекла барак, распахнула дверь в подсобку и скрылась. Берчи рванулся следом, но тут в барак вошел похоронщик.

– Что-нибудь не так? – спросил он. – Это не ваша мать?

– Да нет, моя,

– Тогда начнем.

Похоронщик ухватился за деревянные, отполированные множеством прикосновений ручки и потащил каталку из барака. Берчи ничего не оставалось, как идти за ним.

Сразу после кадиша над свежей могилой он поспешил в барак, хотя знал, что чиновницу там не застанет. Вместо нее на звук открываемой двери из подсобки вышла полная, неряшливо одетая женщина с седыми волосами, выбивавшимися из-под криво повязанной косынки.

– А где ваша напарница? – спросил Берчи.

Женщина взглянула на него с плохо скрываемым испугом.

– Нет у меня напарницы. Я одна работаю.

– Ну как же нет? – настаивал Берчи. – Я вместе с ней всего полчаса назад проводил опознание тела моей матери. Рыженькая такая, с веснушками.

– Нет тут никакой рыженькой, – отрезала женщина и ушла в подсобку.

Берчи вышел из барака и сразу наткнулся на похоронщика.

– Странная история, – схватил его за рукав Берчи. – Объясните мне, что происходит.

Похоронщик внимательно выслушал и вздохнул.

– Значит, вы ее видели?

– Так вы знаете, кто она? – воскликнул Берчи. Наконец-то нашелся человек, который может рассеять туман, воцарившийся в его голове.

– Мы не знаем, – ответил похоронщик. – И никто не знает. Иногда эта рыжая дама идет у всех на виду перед похоронной процессией, иногда держится сзади. Иногда, как у вас, встречает родственников умерших во время опознания. Никому не удается ни прикоснуться к ней, ни заговорить.

– Но я разговаривал с ней уже в третий раз!

– В третий раз? – удивленно воскликнул похоронщик. – Ну вам очень, очень повезло. Мы спрашивали больших раввинов, кто это

может быть. Точного ответа не получили, но многие предполагают, что это ангел смерти.

Берчи стало тяжело дышать. Желтое безумное солнце Средиземноморья ударило в глаза. Он вспомнил, как чиновница попросила его согласия стереть имя матери, и как он легкомысленно передал ей визу, и с какой жадностью та облизала губы, прежде чем взяться за черный ластик. Берче охнул, и чтобы не упасть, привалился спиной к стене барака.

Израиль

Анна Михалевская

Хлеб Соломии

1.

Серп захватывает сухие стебли, срезает колоски. Соломия отбрасывает пучок пшеницы, берется за следующий. Саднят руки, ломит спина, перед глазами рябит – от золота колосьев, от палящего июльского солнца, от его бликов на серпе. Сорвавшийся теплый ветер не приносит облегчения – он бросает в лицо сухую землю, на зубах хрустят крупинки. Соломия тыльной стороной руки вытирает лоб, разгибается, с сожалением смотрит на волнующиеся под ветром колосья. Сейчас они кажутся живыми. Она оборачивается, встречается с тяжелым взглядом проверяющего, вздыхает и снова берется за серп.

Из центра шлют и шлют своих людей, так боятся, что их маленькое село разворует весь государственный хлеб. Теперь у них надзирателей больше, чем женщин в поле. А врагов народа больше, чем этого самого народа. Что ни день, ловят на поле да и ведут к сельской раде. Якобы на суд, но все знают, что это за суд. Односельчан садят на машины и увозят. В тюрьму, на целину, до чертов, бисов, дьяволов?

Впереди еще полдня колхозной работы, а завтра с рассветом – обрабатывать свою дилянку. С нее и кормятся. Только год этот худой, неурожайный: зима без снега, засуха весной и летом, погибла почти вся озимина – пшеница и рожь. Если разрешали, они выкапывали на полях мерзлую картошку, свеклу, к почти иссякнувшим запасам муки домешивали подсолнечную макуху, когда пекли хлеб. А то и варили кору деревьев, кожуру от картошки. Но Соломия не хочет больше думать о голоде, потерянном хлебе,

о сельраде и машинах. Чтобы не привлекать внимание партийных крыс, она еле слышно напевает:

Живо, женчики, живо,
Дожинайте ниву,
Будемо плести віночки
З золотої пшенички.*

Знакомые слова придают силу и все громче звучат внутри многоголосым хором, оживляя воспоминания.

Вот маленькую Соломийку берут на жатву. Первый сноп – для боженьки, его не косят, оставляют на поле, только колоски надламывают, выминают из них зерно, сеют между корнями и приговаривают: «Роди, Боже, на всякого долю – і на бідного, і на багатого!». Батько называет этот сноп Божьей бородой и говорит, что там живут птички, перепелочки. Соломийка смеется: птички в бороде! Осторожно прикасается к надломленным колоскам. Батько перевязывает сноп червонной стричкой, украшает гроздями калины, ромашками и васильками. Потом сноп все-таки срежут, оденут, как ляльку, и поставят в красном углу под образами… Соломийка смотрит на поле, и ей кажется, что у него нет хозяина. Колоски заботятся о них, кормят, но разве поле может кому-то принадлежать?

Перепілонька сіра,
Де ж ти будеш сиділа?
Вже немає пшениці,
Бо кінець косовиці.

Батькам, Прокопу и Докии, дают отруб – участок земли на опушке леса. В низине течет ручей. Рядом – пшеничное поле с васильками и маками. Хату строят быстро, всей семьей – дядьки Данила, Микита, Коля, титки Ирина и Варвара. Детям тоже находится что делать: Соломийка малюет квитки под окнами хаты. «Краще намалюєш, щасливіше життя буде!» – говорит мама Докия. И Соломийка старается. Руки мерзнут, в жовтне солнце

* Песня жнецов, которую начинала петь старшая жница перед сбором урожая.

быстро садится. Рядом крутится Павло, сын умершей в испанку титки Югены, теперь он будет жить с ними. Павло сметливый, рвется всем помогать. Вот и сейчас придумывает, из чего бы новую краску сделать, – все квитки в поле уже оборвал…

Скоро начнут готовиться к зиме, думает Соломийка. Утеплят хату – свяжут стебли кукурузы, обложат мазанку по кругу. Но до этого надо еще столько сделать – и матрасы набить, и феранки-занавески пошить, и палатары по стенам развесить!

А вообще Соломийка любит лето. Тогда у детей особая работа – можно пропадать в яру, хоть там и полно жаливы. В яру, в заполненных водой ямах-копанках, дети отмачивают стебли конопли, когда батьки заняты в поле. Потом коноплю отвезут на подводах домой, положат снопы на станок и будут молотить, пока стебли не станут мягкими, как нитки. Получится прядиво. Его намотают на куделю, деревянную палку, которую вставят в отверстие в лавке, и вьюжными зимними вечерами девушки возьмутся прясть. Потом ткать. Из конопли получаются красивые и прочные сорочки! Мать говорит, что каждая девушка должна соткать палатары из шерсти и вышить рушник – на приданое. Соломийка отмахивается, мол, далеко еще до приданого. Летом они с Павлом понесут сотканное полотно к ручью, разложат на траве и будут поливать его целый день. Ждать, пока высохнет, снова поливать. Солнце отбелит ткань, сорочки и рушники выйдут нарядными!..

Ми пшениченьку зжали,
В снопики пов’язали,
В кіпоньки поскладали,
Хороше заспівали.

В эту недилю Соломия надела тернову хустку – праздничный платок невесты. В резной сундук-шлябан с витыми ручками сложили ее приданое – и вышитый рушник с палатарами тоже. Она возилась все лето – толкла ягоды, варила кору дуба и бурак, настаивала цветы на краски; в настойках вымачивала шерстяную нитку, высушивала, и лишь потом ткала. Работа ей в радость. Соломии нравится, когда опрятно и красиво, из-под ее пальцев выходят дивные узоры, пивни и квитки на орнаментах как жи-

вые! Все потому, что ее сердце поет. Она думает о Леонтии, вспоминает, как он пришел ряженый на Ивана Купала в их дом, как подарил ей украшенную ягодами ветку и крынку меда. Его глаза – теплые, лукавые – подсвечивало солнце, и они тоже казались медовыми, сладкими.

А теперь Леонтий ее муж – высокий и статный, он так похож на батька… И ни один не хочет уступать другому. Соломия помнит перебранку их взглядов на весилли, но пока Докия рядом, мужчины не решаются на открытую вражду. Вот Павло – и тот батька не выдержал, давно из дома ушел, свою хату построил, женился.

От діждали літа
Та нажали жита,
Поставили в копки
І вдарили в гопки!*

На Соломии нарядная сорочка, из-под легкого жилета-летника видна вышивка на воротнике, такая же и на рукавах, внизу мыса – квиточка. Она собирает Леонтия в поле, заворачивает в тряпицу брынзу, дает краюху хлеба. Улыбается, пытаясь взбодрить хмурого мужа. Свара идет за сварой, с батьком все никак не поладят. «Ледачий твій Левонтий, та хоч бы ласкавий був, а не приголубить тебе, слова доброго не скаже», – твердит в усы Прокоп. Но Соломия верит, что все уладится, что красота сильнее злобы. И, когда улучает время, вышивает мужу рубахи, пусть они уберегут его… их…

Відчиняй, пане, ворота,
Бо йде твоя робота.
Несем тобі вінки
Із золотої нивки –
Житнії, пшеничнії,
Щоб були величнії!**

* Эти слова говорила самая красивая девушка, на которую после жатвы надевали венок, сплетенный из Божьей бороды.

** Песня жнецов, когда подходили к дому хозяина поля или головы колхоза.

Не уберегли. В люльке угукает дочурка Франя, Соломия угукает вместе с ней – плачет. Ушел ее Леонтий. Разбилась крынка, вытек весь мед. Зато батько Прокоп спокойный и довольный, видать, не обошлось без его способствования.

А ми насієм жита, жита,
Та поставим копи, копи,
Та ударим гопи, гопи,
Земля аж гуде,
Де громада йде!*

За работой горевать некогда. Подрастает Франя, ее квиточка, ее радость. У доньки такая же светлая тяжелая коса, как у Соломии, те же глаза – точно васильки в поле за хатой. К ним часто заходит Герасим, сосед, он тоже получил дилянку у леса, живет с матерью, титкой Грушей, и двумя младшими братьями. Но приходит Герасим не к Соломии, а к батьке Прокопу – когда колодец поможет выкопать, когда крышу перестелет, когда плуг починит. Соломия на него не смотрит, но Франя бежит к Герасиму, только завидит. Герасим подхватывает доньку, сажает на гергоши и спускается к ручью. Франя визжит от радости, Герасим смеется. Соломия впервые замечает, какой у него зычный голос. Сильный, надежный. В следующий раз Герасим приносит халву, угощает Франю, та с жадностью ест. Откуда он достал это лакомство, гадает Соломия, в селе дети сами «халву» к праздникам делают – толкут в макотре орехи и сахар.

Соломия приглядывается к Герасиму. Не такая стать, как была у Леонтия, не бросает он из-под соболиных бровей долгих взглядов, не любит много говорить. Но всегда рядом крутится и Прокопу по душе пришелся. А уж Франька как ему радуется – возьмет за руку и не отпустит, до чего дошло: тот у нее, малой, в кузню отпрашивается! Соломия смеется в хусточку и уводит непослушную доньку. Она нет-нет и улыбнется Герасиму. И тот топчется на пороге, не может уйти.

Сыграли скромную свадьбу и зажили душа в душу. Родилась вторая дочь, Любочка. А через три года грянула война. Прокопа

* Песня жнецов, когда хозяин принимал венок от девушки и приглашал в дом.

не взяли, но все молодые из семьи ушли: сыны титки Варвары, Нюсик, Степан и Тодосий, младший дядько Коля, ее ровесник, сын Микиты, Гаврюша, чоловик Ирины, дядько Сеня… Ушел и Леонтий, которого так не любил батько. А Герасим остался. Неправильно это было, но Соломии уже не до правды. Красивый рушник не спасет от голода, как ты его ни вышей, как ни выбели. У нее маленькая дочь и старые батьки, а Герасим мастеровой и добрый. Титка Ирина привозит двухлетнюю дочурку из Одессы, и Герасим играет с дивчатами – Аллочкой, Франей и Любой – поднимает повыше на руках к отяжелевшим от ягод вишневым веткам.

Зимой в Студеную приходят немцы. Женщин и детей не трогают – разместились по хатам, какие побогаче, да и собирают дань со дворов. Мужчины у них в прислужниках – то на подводе отвезти куда-то, то доставить припасы, то депешу, то убрать, то почистить. Сметливого Герасима замечают сразу. День он бегает по поручениям фрицев, а к вечеру приходит с пайком и теплой одеждой. Соломия щупает жакет – теплый, мягкий, из шерстяного сукна, у нее никогда такого не было. Она делит немецкую консерву на всех – и родня молча ест ужин. Соломия пытается себя уговорить – все хорошо, война закончится, у нее заботливый муж, подрастают дочери – кудрявые, голубоглазые. Батько Прокоп подобрел. Все хорошо да нехорошо. В лесу пережидают партизаны и не сегодня-завтра Герасима найдут. Да и станут ли немцы жалеть своих прислужников, когда снимутся с зимовки? Леонтий ушел, а Герасим остался… Она просыпается, думая об этом, и с этими же мыслями засыпает. Каждый раз, когда Герасим подолгу не возвращается, Соломия прощается с ним по-вдовьи, навсегда.

Страх живет с ней бок о бок до самого дня Победы. Они молча выслушивают новости от односельчан, и Герасим улыбается ей последний раз. Вымученно, словно прося прощения. Не сегодня-завтра, понимает Соломия, и на всякий случай отсылает девочек к титке Варваре. Красная армия наступает, и по селам прокатывается волна показательных казней предателей. Она хочет сказать Герасиму, что тот должен уйти, бежать, прятаться, но у нее будто нет рта – забыли нарисовать на сделанной наспех ляльке. Герасим все понимает сам. Но никуда не уйдет.

Вечером мужа долго нет. Соломия сидит под окном на лавке, пока не стемнеет. Ждет. Вместо Герасима приходит Прокоп. Первый раз она видит, как батько плачет.

– Не ходи туда, – говорит Прокоп и указывает на лес. – Повесился наш Герасим…

Соломия больше не боится. Только навязчивые слова вязнут на зубах: Леонтий ушел, а Герасим остался.

К концу лета односельчанин приносит весть о Леонтии. Под Берлином уже после войны они стояли в соседних лесках. Леонтий прознал, что свояки рядом, и отправился наведаться в часть через поле. Там его и нашла шальная пуля. Насмерть.

Соломия слушает и кивает. Не плачет – не может. Горькая у нее судьба. Другой не будет…

Песни мельчают, иссякают, воспоминания тоже. Два года прошло, что было – быльем поросло. Доньки подросли, Прокоп и Докия одряхлели. Немцы ушли, красноармейцы пришли. Война закончилась, но это не имеет никакого значения, ведь потерянного не вернешь.

Обжигающий зной отступает, Соломия вяжет снопы, затягивает перевесла. В руках снова появляется сила, солнце будто расплавилось и потекло по ее жилам, так бывало не раз, когда она думала, что все, сегодня поле не одолеть. Но это ее земля, на ней живут ее дети, ее батьки, в ней похоронены ее любимые! Это ее хлеб! «Не имеете вы права и на колосок!» – думает она, поглядывая из-под платка на своих надзирателей. Разморенные, те жмурятся, снимают кепки, вытирают вспотевшие лбы. Садятся среди снопов. Солнце держит их за чужаков, усмехается Соломия и прячет взгляд.

2.

От колхоза до хаты, если напрямик, через лесок, – всего ничего, но Соломия обходит село по кругу, выбирая дорогу подлиннее. Она перестала бояться лиха для себя, но по-прежнему боится за малых и старых. Не успеет Соломия подойти к тыну, дивчата побегут встречать, как в глаза смотреть? Не принесет она им халвы, как когда-то Герасим, и даже хлеба скоро не испечет. Амбар пустой, молотить нечего. Цеп вон сколько лежит без дела, соло-

мой присыпан. Была корова, молоко пили, так и ту забрали – мол, Соломия колхозную норму не отрабатывает. Одна с хаты в поле, вздыхает она. Батьки от вечери отказываются, внучкам отдают. И от этого Соломии становится еще горше.

Она идет к ручью – где так часто они гуляли с Герасимом, опускает руки в прохладную воду. «Підкажіть, – просит Соломия ручей, поросшие мхом камни, гай, вербы, – підкажить, що робити?» Но и ручей, и камни, и гай, и вербы молчат. Зато Соломия слышит, как за селом волнуется налитое золотом поле пшеницы – ее хлеб, не колхозный. В этом далеком шорохе ей чудится приглашение. И разрешение.

Переступая порог хаты, Соломия уже знает, как поступит. Она крепко обнимает дивчат и впервые за долгое время улыбается им. Докия и Прокоп читают молитву, стучат ложками по полупустым тарелкам с кашей на дне.

Соломия укладывает девочек, целует и долго смотрит на родные лица – золотистые завитки на висках, длинные светлые ресницы, румянец во всю щеку. Когда-то она верила, что красота пересилит злость, перетянет коромысло. Пусть у них все будет хорошо. Пусть их красота окажется сильнее. Она нехотя выходит из хаты, возится в сарайчике и погребе – наводит порядки. Но сколько ни переставляй кадки с кувшинами, это их не наполнит.

Ночь накрывает село мягким рядном, тихо шелестит яблоня, сладко пахнет розовый куст. В такую ночь сбежать бы в гай и любиться, слушать жаркий шепот, смотреть на зирки. Но Соломия забыла, как любить мужчин. Она сидит на лавке под хатой и ждет. На тонкий месяц набегают облака, он окрашивается кроваво-красным. И Соломия решает – пора. Она расправляет юбку и тихо, чтобы не скрипела, приоткрывает калитку. Оглядывается. Ей чудится – хотя в темени ничего и не разглядишь – что кто-то приподнимает феранку. Соломия замирает на месте. Но нет, в хате тишина.

До колхозного поля она доходит быстро. Слишком быстро. Оглядывается – надзирателей, если они и есть, не видно. Может, разморило после зноя, вот и пьют холодное молоко от ворованных коров в хате сельского головы. А может, и прячутся. Нет, пьют молоко, уговаривает себя Соломия и, пригибаясь, подходит

к полю. На убранном участке лежат колоски – их тоже запрещают подбирать. Лучше пусть сгниют или птицы склюют, так считают надзиратели из столицы. Но колоски она собирать не станет. Все равно покарают одинаково.

Стараясь не спугнуть воронье, Соломия пробирается к копнам. Она специально уложила снопы так, чтобы можно было легко вытащить один из копны и чтобы пропажа не бросалась в глаза. Соломия быстро находит копну, вытягивает сноп, прячет под широкую юбку, закрепляет на поясе. И так же, пригибаясь, бежит на дорогу. Сердце бьется, как застрявшая в колосках перепелочка из песни. Она почти доходит до дома. Оглядывается. Никого. Неужели получилось?!

Соломия спускается к ручью, гладит воду, благодарит. Ее земля – это ее земля. Никто у нее не отберет хлеб!

Сзади раздаются шаги. Соломия оборачивается не сразу. А когда поднимается, понимает, что бежать поздно.

К ней по тропке идет надзиратель. Красивый хлопец – Соломия отстраненно его рассматривает. Красивый, только глаза злые. Он смотрит на нее с ухмылкой, она не отводит глаз. Оба все поняли. Он знает, что она воровка. А она знает, что ее ждет наказание. Хорошо хоть – не донесла сноп до дома, тогда бы и хату не пожалели.

А надзиратель, продолжая ухмыляться, уже расстегивает ремень. Тяжелый, армейский, с большой бляхой.

Соломия качает головой. Ее мужья не для того с жизнью расстались, чтобы какая-то тварь насиловала их вдову. «Что тебе стоит? – говорит страх, тот, который не за себя, за других. – Согласись, авось отпустит». Но Соломия знает цену сделок с совестью. Леонтий ушел, а Герасим остался. Надзиратель ее не отпустит. Она бросает сноп в ручей и что есть мочи кричит.

Удивление на лице красноармейца сменяется гневом. Он оставляет ремень в покое и хватает Соломию за косу:

– Ах ты ж паскуда, – жарко шепчет ей в ухо, – ты ж мне полюбилась, отпустил бы. Что, мне снопа какого-то жалко? А теперь одна тебе дорога…

Соломия не верит ему, не верит себе. Она отчаянно вырывается, только как тут вырвешься?

Рассвет она встречает в сельраде. Ее осуждают на десять лет. Перед тем как посадить в пыльный грузовик, Соломию под конвоем ведут до хаты – собрать вещи, попрощаться. Ей больно смотреть в глаза Прокопу и Докии, ей стыдно перед доньками, но Соломия пересиливает себя и смотрит – когда они еще снова увидятся? Десять лет – это так долго…

Она сжимает подмышкой узел с вещами, смотрит на пыль, клубящуюся из-под колес грузовика, и гадает: вдруг надзиратель сказал правду? Немного потерпеть – ради детей, ради батькив. И ее бы отпустили. И им бы был хлеб. Если и так, решает Соломия, ничего не поделаешь. Горькая у нее судьба. Другой уже не будет.

3.

Я – хлеб. Я – жизнь. Меня взращивает земля – она хранит зерна до срока, пока твердое зерно не становится ростком и не начинает свой путь к солнцу. А люди срезают мои стебли, толкут, снимая всю шелуху и пытаясь добраться до сердцевины. Они хотят есть, но питает людей не мука в сдобных калачах и пресных лепешках, питает их земля и солнце, их священный союз, рождающий спелые колосья. Я – хлеб. Я – любовь.

Я очень стар, у меня много имен и лиц. Могу быть одним колосом, всем полем, я могу спрятаться в зерно и дотянуться до Бога. Кострубонько и Ярило, мое зерно – древний страдающий бог, брошенный в землю, погибший там и возродившийся густым колосом. Бог Спас, и жертва ему – Спасова борода, «сриблом-златом обвита, красным шовком обшита», пучок моего несжатого жита, оставленного на поле. Это жито и есть сиротская доля – людская доля. Мои колосья – приют для птиц и полевого духа, превратившегося в козу. Последний сноп моих колосьев – именинник, дидух, дид, его приносят в хату, одевают, как ляльку, и ставят под образами, сберегая целый год, чтобы потом заменить на нового. У меня много имен и лиц. Я – хлеб. Я – жизнь. Я – любовь. И я – смерть ради жизни.

Сейчас я – соломенная лялька, дидух. Вместо головы – колосья и сухоцвет, руки и туловище обмотаны пенькой, в юбку вплетена узором тонкая прочная соломинка. Это Соломиина работа, никто

в семье лучше не украсит квитками хату, не вышьет подол-питочку, не соткет палатары, не пошьет рубаху. У Франи и Любы все в руках спорится – и работают ладно, и живут дружно. Но у Соломии пивни на палатарах вот-вот закукарекают, квитки расцветут, у дивчат же – нитка к нитке, а узор выходит простым. Молчат пивни, застыли квитки. Не те руки, не те глаза, не видят они красоту, что открылась Соломии, не могут ее повторить.

Дидухов меняют каждый год, но я здесь задержался. Людям нынче не до обычаев и поверий, вот и живу под образами в красном углу хаты. Слушаю молитвы, обращенные не ко мне. Я ведь не бог, простая соломенная лялька. Чаще всего сюда прибегает десятилетняя Люба. «Боженька, поверни матусю! – говорит девочка, стоя на коленях. – И прости, що їла в пост ковбасу за грубкою. Я думала, ты не бачиш!» Дед Прокип с Докией совсем глухие стали, им не докричишься. Франя все больше о хлопцах говорит. Любе даже посоветоваться не с кем, вот она и приходит сюда, к своему придуманному богу. «А ще, – вспоминает Люба, – у нашій Чорнушки скоро телята будуть, та… я читати навчилася!» Люба рассказывает все, что приключилось с ней за день, все, что сказала бы маме, будь Соломия рядом.

Франя молится сдержанно. Бога почти ни о чем не просит, больше надеясь на свою смекалку. Только одно она изменить не может и смиренно опускает голову, прежде чем прошептать: «Господи, нехай мама повернеться до мого весілля…». Франя собрана и серьезна. Но стоит ей отойти от красного угла, как хата переворачивается вверх дном от ее бурлящей натуры и зычного голоса. Весь день из открытой двери в сенях несется Франин смех – никого без подковырки не отпустит.

Прокоп приходит редко, долго молчит. Говорит не с богом, с собой. «А що, якби…» – все чаще звучит в его мыслях. И он перебирает в голове события давних лет. Если бы Соломия осталась с Леонтием, если бы Леонтий выжил, если бы Герасим не пошел работать к немцам с его, Прокопа, молчаливого согласия, если бы они не дали уйти Герасиму одному в лес, если бы он остановил Соломию той ночью, он ведь знал, что дочь идет на колхозное поле, или, заслышав крики, отбил бы ее у надзирателя… Слишком много «якби», он путается в них и уходит ни с чем. Почему старость

не дает покоя его голове? Он хотел бы все забыть, сидеть на лавке и смотреть на своих дивчат. Он путает имена и часто зовет то одну, то другую Соломийкою.

Тяжелее всего с Докией. Она вроде бы приходит к образам, а на самом деле – ко мне. Читает краткие весточки от Соломии. Не плачет и не молит, но предлагает угоду. «Забери у мене, віддай їй», – требует Докия и смотрит прямиком в мое соломенное лицо. И Волос, и Ярило, Кострубонько, Илья и Спас, полевые божества всех времен оживают в моих высохших от времени сплетенных рукой Соломии колосках. Боги любят угоды, особенно с людьми. Особенно с теми, кто в отчаянии. И сквозь мое непрочное соломенное нутро рвется божье любопытство, чужие глаза, не мои нарисованные, рассматривают Докию, будто гадая о выкупе: что за нее можно взять? За окнами хаты жаркий полдень висит напряженной тишиной – ни жужжания шмеля, ни шелеста листьев в кронах, ни шагов. Боги качают косматыми головами, цокают языками – прицениваются, думают. И наконец хлопают мосластыми руками по коленям! «Добре, – говорят боги, и сухостой с колосьями, что у меня вместо головы, едва заметно подрагивают, – вернем тебе доньку. Только кто-то потом проживет за нее непрожитое! Сама выберешь, кто!»

Докия слышит их, хоть и не понимает этого. Она стоит, опустив голову, медлит.

Мне хочется крикнуть: «Нет! Не соглашайся, ни за что! Лучше уж сейчас отгоревать!». Я берегу этот дом и его людей не один год, я знаю, как деликатно стучится лихо, когда переступает порог хаты, я научился различать его шаги. До сих пор у меня получалось прогнать его. Докия, зачем ты попросила?! Зачем?!

– Добре, – еле слышно Докия повторяет вслед за богами.

Веточка полыни с моей головы падает в руку Докии – договор скреплен. Она уходит, а я остаюсь. В хате темнеет, она наполняется тяжелым духом. Никто этого не заметит, только я. И ничего не поделаешь. Остается только ждать…

Дни идут за днями, ко мне все так же приходят – молиться и просить – они не знают о том, что в хате живет темнота, и вместе с домашними забываю об этом и я.

На дворе играют свадьбу Франи – на столе пузатые бутыли с вином, тарелки с мясными пирогами, миски с борщом и холодцом.

Прокоп пригласил из Песчанки фотографа, и тот установил какой-то странный ящик на треноге и всех заставляет смотреть в него. Сосед Михайло наигрывает на аккордеоне, молодые пляшут. Шум, гам, одним словом – весилля. Франя смеется и не дает никому сидеть за столом, всех тянет в танец, а кто не может – тем подливает из пузатых бутылей в стаканы и заставляет пить до дна. Сегодня ей особенно горько, что мамы нет рядом, поэтому она должна веселиться в два раза больше, чтобы чем-то перекрыть эту горечь. И Франя хватает Ивана за руку, не ждет, пока жених сам поведет ее, и кружит в танце…

А через два года возвращается Соломия. Вместо десяти лет срока – в тюрьмах и на каторге всего лишь семь. Всего лишь? Соломия так не считает: в ней убили веру, а после этого – что три, что пять, что двадцать лет. Все одно. К прежней жизни ее ничто не вернет.

Когда Соломия снова видит свою хату, она роняет дорожную торбу и без сил опускается в траву. Все родное и одновременно чужое. Это потому что она стала сама себе чужой.

Дивчата бегут встречать ее, как в детстве, – красивые, уже взрослые, но для нее маленькие, какими она запомнила Франю и Любу перед своей семилетней отлучкой. Ее обнимают, целуют, а она невольно отстраняется. Соломии кажется, на ней налипла грязь, что вовек не отмоешь, она не хочет марать ею своих детей…

Столыпинский вагон для заключенных, каждое купе за решеткой. Обыски в тюрьме, стыд и отчаяние, когда шарят по голому телу, – что им там искать? От уборной вонь – и никуда от этого не деться. На окне козырек, вместо домика на опушке леса, бескрайнего поля и ручья – узкая полоска неба. В тесном прогулочном дворе не растет ни одной травинки. Все, к чему Соломия привыкла, пусть заработанное тяжелым трудом, исчезает, будто его и не было. Иногда она думает, что деревья, цветы, ее дочери, батьки, ее любимые привиделись, и она всю жизнь провела, опираясь на мокрый камень с запахом плесени. Она пишет письма, но их не берут. Все чаще Соломии снятся Леонтий и Герасим. Ее зовут! Соломия испытывает странное облегчение. Она ворует чулки у одной из своих сокамерниц, дожидается, пока надзиратель глянет в глазок, и цепляет за балку заранее

приготовленную петлю. Это не самогубство, она всего лишь закончит кем-то начатое. Но внезапно просыпаются жинки, начинают кричать, и охранники волокут ее в карцер – совершенно голую. Карцер – темный высокий чулан, под потолком горит тусклая лампа, все время мигая. Сколько Соломия проводит там времени, она не знает, все сливается в одну бесконечную промозглую ночь. Соломии кажется, что она утопленница и лежит на дне ручья не один век. Она хочет позвать кого-то, но все имена забыты. После карцера Соломия не пишет писем и не просит их отправить. Когда заключенных выводят в баню, открывают двери всех камер, Соломия не смотрит по сторонам. Она боится увидеть лицо и не узнать. Идет, прихрамывая на левую ногу, покашливает. В карцере застудилась.

После трех лет тюрьмы их отправляют на каторгу. В вагоне тесно и грязно, Соломия плачет – сегодня она снова видела небо, деревья, траву. Она не может прийти в себя до самой Колымы – просто дышит воздухом, смотрит по сторонам. Кто она? Что с ней будет? Соломия не знает. Прежняя она сгинула с первым неотправленным письмом, похоронена в карцере. Сейчас ее место занимает кто-то другой. И этот другой еще умеет чему-то радоваться… Не успев распределить заключенных по баракам, ее насилует охранник – не особо прячась, прямо за сарайчиком, под улюлюканье товарищей красноармейцев. Соломия не вырывается и не закрывает глаз. Смотрит в звездное небо и закусывает до крови губу. Горькая у нее судьба, другой уже не будет – приходят слова из чьей-то чужой жизни. Она вспоминает брошенный в ручей сноп и под тяжестью навалившегося мужского тела вдруг решает, что завтра снова напишет домой…

Соломия приходит в красный угол не помолиться, боги ее не слышат, так думает женщина. Она приходит сюда прятаться. Когда рядом люди, Соломия чувствует на себе их тяжелые взгляды. Они жалеют ее и еще – сторонятся, будто у нее испанка или круп. Даже доньки, кровиночки ее, нет-нет да и прячут глаза.

Меня ни о чем не спрашивают, и напрасно. Я бы предупредил, дал знак! С приездом Соломии чернота в хате веретеном крутится возле нее, густеет и застывает, как холодец из наваристого бульона. И все, к чему прикасается это веретено, дает трещины.

Хата чисто побелена и выметена, а паутина невидимых расколов в каждом углу. Докия, ты спасла три года жизни дочери, но понимаешь, что отдала взамен? Нет, не понимаешь, а я знаю – эти трещины пойдут ветвиться по всей семье, затронут близких и дальних, вплетутся в их жизни и расколют их на мелкие щепки. Много ли это за три года чьей-то жизни? Не мне судить, я всего лишь соломенный оберег, сплетенный Соломией, когда она еще умела любить.

Жизнь идет своим чередом. Невесты-яблони сбрасывают цвет, поднимаются тюльпаны на тонких ножках, следом нарядные нарциссы, благоухает сирень, распускаются лилово-желтым петушки, на полях яркие пятна красных маков, и белые – ромашки, вслед им расцветает чайная роза и жасмин. Синий клематис вьется по плетню, раскрывает разноцветные колокольчики мальва, сами всюду засеялись чернобрывцы. А за плетнем – золотые шары рудбекии. Вскинутся майоры, зацветет покрова. Стойкая сальвия и рябина – до самой зимы…

Весной Соломия решает строить свою хату – между домом батька Прокопа и лесом. Она часто болеет, ее донимает кашель, да и нога после карцера не слушается, старая застуда никак не отпускает. Но Соломия привыкла жить с хворью, а уж когда хлопочет возле будущей хаты, совсем про болезнь забывает. У детей свои заботы, батьки совсем старые, но Соломии помогают кто чем может. Сбивают каркас-клетку из тонких поленьев, а между стойками и ригелями мостят деревянные колья и жерди, оплетая их хворостом, соломой, камышом, как плетут корзинки – продевая то сверху, то снизу. Когда каркас готов, мужчины рядом ссыпают глину, навоз, солому, сечку, заливают водой и пускают лошадей месить раствор копытами. Сами помогают вилами. И все дружно набрасывают лопатами смесь на каркас – кто снаружи, кто изнутри. А уже только потом разглаживают руками. Соломия проходит все стеночки своей хаты и любовно гладит каждую – чтобы ровненько, без зазубрин. Чтобы красиво.

Стенки оставляют сохнуть на несколько дней, а ее, хозяйку, поднимают на руки и опускают в месиво глины и соломы. На счастье! Сколько того счастья осталось, думает Соломия, но улыбается вместе со всеми. Не часто ей теперь случается веселиться.

К концу травня у мазанки вырастает камышовая крыша, стены становятся белыми – белеными. Соломия берется за роспись, и расцветают на стенах хаты васильки и мальвы, жасмин и розы, сирень и петушки. Она выводит лепесток и плачет – знает, красота ничего не спасет в ее жизни, да и жизнь ее уже никому не нужна, но она рада, что хоть что-то смогла сохранить непоруганным, чистым – как ручей в яру, как лес, который видно из окна…

Соломия приходит ко мне – на сей раз не прятаться, прощаться. Кашель выворачивает ее наизнанку, к докторам она ехать отказывается. Ходит едва-едва, опираясь на палочку. Ни о чем не просит, знает – ее время пришло. Ей здесь больше нечего делать. Она не родит детей, не полюбит, не выйдет на поле, никого не накормит, не защитит, никому не поможет. Она построила хату, она так хотела. Но пусть в ней живет кто-то другой.

В окно бьется птица – говорят, это к беде. Но Соломия понимает – пришли за ней. Она ложится на лавку и ждет. Слышит голоса Леонтия и Герасима. Теперь это по-настоящему…

Девочки разъехались по другим селам, древние Прокоп и Докия живут на два дома. Бог им дает года, только нелегкие эти года. После смерти Соломии ко мне редко приходят. Забыли про образа, про дидуха. Оно и понятно. Сейчас посевами заправляют агрономы, а урожай собирают комбайны – к чему люду сухая солома и сухоцвет? Но я помню все и всех. Я наполнен их желаниями до краев, только кто теперь исполнит эти желания?

Невидимая паутина трещин никуда не исчезла, она отправилась вслед за Франей и Любой в новые дома в новые села, протянулась в город к титке Ирине, которая нянчила еще маленькую Соломию, осела на приемном ребенке Прокопа Павле, пробралась к титке Варваре и ее сыновьям. Семь сестер и братьев у Прокопа – всем досталось. Вот плата за три года человеческой жизни, Докия, жизни твоей дочери – это много или мало?..

Я – хлеб. Я – жизнь. Я – любовь. И я – смерть. Смерть ради чего? Спросите у древних богов, и, может, они вам ответят.

Александр Бирштейн

Сказки

Зонтик

Сегодня я забыл зонтик. Я вечно что-то забываю.

– Голову не забыл? – спрашивали в детстве.

– Забыл! – отвечал я, подумав. – Разве не видно?

Тогда приходилось задумываться тому, кто задал вопрос. Это помогало. Впрочем, не всегда.

Но я не об этом. А о том, что забыл зонтик. А если забываешь зонтик, что происходит?

Правильно! Идет дождь.

У меня был сослуживец, так вот он говорил, если хотел показать огромность чего бы то ни было:

– Сядой! Или сядая!

Так вот, этот дождь был сядая всех сядых!

А что я? Стоял под каким-то деревом и вспоминал все, что знаю о Ное и его компании. Небось сидят в каюте, пьют водку под названием «Заветная». А корабль, то есть ковчег, плывет. До самого Арарата.

И так мне захотелось поковчежиться! Попасть на борт и плыть под аккомпанемент урчания-рычания тех, кто каждой твари по паре. А также звона стаканов и тоста «За тех, кто в море!».

Хотя… С другой стороны, замечательный человек космонавт Георгий Гречко как-то рассказывал, что кто-то настучал им в общество уфологов, что на горе Арарат с турецкой стороны ясно виден с воздуха этот самый ковчег, прекрасно сохранившийся. И пустился Георгий Михайлович со товарищи в поход за ковчегом. В Турцию приехали, затуркали тех турок, получили разрешение, саперов с собой взяли, ибо окружают горку там сплошные

минные поля. Пробрались как-то. Обшарили всю гору. Нет ковчега. Надпись «Тут был Петя» есть, а ковчега не имеется. То ли обманули, то ли сплыл. Так что незачем мне на ковчег ладиться.

Думаете, что пока я так вот стоял, дождь кончился? Тот случай! Он еще пуще припустил.

Поэтому пришлось мне вспоминать, как в Булонском парке детишки купались под фонтанами. Штук тридцать фонтанных струй било из земли, а под ними орали, прыгали, радовались с полсотни детишек пяти-десяти лет. Жара же была. Им хорошо, а нам, взрослым, тоскующим в сторонке, завидно.

А еще какая-то идиотка мамаша кричала сыну:

– Не пойдешь! Мы полотенце дома забыли!

Они полотенце…

А я зонтик! Но тоже дома. Сколько раз за жизнь мы что-то именно дома забываем. И ведь не верят. «Дома забыл…» – дешевле отмазки и не найдешь. А ведь не вру. Иду себе под дождем и об этом самом доме думаю. Тепло там, сухо… Что-то вкусное на плите закипает. Собака у двери ждет…

Э, стоп! Так я думаю или придумываю? А не вру только в том смысле, что зонтик забыл. Зонтик у меня точно есть. Почти новый. А собаки нет. И в доме холодно. Но это не страшно. Приду домой, включу электричество, и за какой-то час…

Но я же не домой иду. А наоборот, из дома. Куда? Есть замечательное слово – просто. Просто захотел. Просто вышел. Просто иду…

Просто зонтик забыл.

В будке

Сержант Еременко называет себя ровесником октября. И все потому, что сам он родился в октябре. Что такое ровесник, сержант не знает. На самом деле он ровесник своей сестры Екатерины, потому что они близнецы.

Каждый Божий день Еременко сидит в своей будке и свято блюдет свои обязанности. Собственно, никаких обязанностей у Еременко нет. Едет машина – поднял шлагбаум, проехала – опустил. И все дела с девяти до шести. Обед с часа до двух. А еще

велели сидеть и наблюдать. А за кем и за чем, не сказали. Забыли, наверное. Или сержант забыл. Давно ведь дело было.

Просто так сидеть скучно. Вот и не поднимает шлагбаум сержант, когда машина чем-то груженная. А если порожняк, то шлагбаум поднимает, езжайте, мол, больно вы надобны. Груженые – другой дело. Подойти можно, спросить: «Что везем?».

Хороший, кстати, вопрос. За него обязательно что-то дают. Кто банку консервов, кто пачку, а то и блок сигарет, кто бутылку водки. Разные, ох разные водители попадаются.

День на день, вообще-то, не приходится. Иной раз машин много, беспокойства тоже, зато и подарков много. Унести, конечно, можно, но с трудом. Но надо. У бомжей нюх необыкновенный. Как пустая будка, даже не подходят. А как что-то оставил, то замок непременно свернут, будку откроют и украдут оставленное. Было уже, раза три, наверное, а может, и больше.

А бывают дни совсем почти пустые. Можно сидеть, бутерброд, что сестра Катерина на обед выделила, жевать потихоньку и мечтать. Да-да, мечтать! Что он, рыжий, что ли? Хотя немного есть. Рыжинки, в смысле. Раньше больше было. А сейчас седины, конечно, больше. За шестьдесят уже! И что хорошо, никто на пенсию не гонит. Хорошее у него начальство. Справедливое. Начальство, впрочем-то, он лет двадцать или поболее не видел. Зарплату тоже. И не надо! За такую службу-работу и сам бы приплачивал. А что? Сидишь на воздухе, подарки дают. Что еще надо? Подарки те сестра Катерина знакомым раздает. За деньги, конечно. Какие? А сержанту без разницы. Сыт, присмотрен, галифе постирано и поглажено, сапоги начищены, сигареты – фу, гадость с фильтром, но других нет – закуплены. Живи и радуйся. Он и радуется.

И мечтает. Я говорил уже. О чем? О разном. Например о том, что зарплату за двадцать или даже больше лет отдадут. Принесут… большой-большой чемодан, ну, как бензобак у ЗИЛа, с деньгами. Скажут: «На, сержант, владей!» – и еще за службу поблагодарят. Тогда он женится. На ком? Еще не знает. Сестра Катерина решит. Она все за него решает. И правильно. У него больше времени остается еще о чем-то помечтать. Хотя… При такой жизни и мечтать не надо. Все есть. Но мечтается… От мыслей не убежишь, не спрячешься в будку. И от вопросов.

Почему, например, ему подарки дают? Он же не просит. Они сами. А раньше не давали. Раньше вроде зарплата была. Денежное содержание называлось. Может, подарки положено вместо этого самого содержания давать? Но водителей много. Всех не предупредишь. А дарят…

Или… Почему новую форму не дают? Положено же: раз в… В три года или пять? Он уже не помнит. Когда-то давали… Форму, сапоги, даже портянки. А теперь? Он же видел, в чем нынче ходят эти, как их, полицаи? Полицейские? Куртки, штаны, ботинки исправные. А ему? Однажды он было собрался пойти к начальству и спросить. Но участка родного не нашел. Улица та же, номер дома соответствует, а участка нет. А вместо него ресторан. Как это может быть?

Но вопросы мелькают редко. А дни чаще. Ему все равно, как день называется. Главное – с девяти до шести, обед с часу до двух.

Дружище Вернер

На реке в полдень зноя нет. Тишина, покой, ветерок легкий, шепчущий. В одну сторону подует: – киссык, – потом в другую: – камысс…

Народу на реке не предвидится. Местным тут делать нечего. Не рыбалкой же заниматься, в самом деле. Там выше река Урал перегорожена сотни раз леской с петлями. Промысел… Впрочем, кому он нужен? Скорей привычка. Икра, осетрина-севрюга есть у всех, но уже под горло встали. А в столовке на компрессорной верблюжатина и каша-шрапнель. Впрочем, наше с Вернером меню с карасями и сазанами хоть и разнообразит стол, но не слишком.

– Эх, шашлычок бы! – мечтает дружище Вернер, развалясь на надувном матрасе. Из-за жары он все-таки снял пиджак, но с жилеткой и галстуком расстаться не пожелал. Галстук, правда, чуть приспущен. Ноги Вернера на матрасе, рассчитанном на человека среднего роста, не помещаются. Это Вернера не заботит, он вспоминает: – Я когда-то шашлык пробовал. Ну, еще в доисторическое время, когда мясо существовало. И картошка… Вы, наверное, тоже ели!

Вернер не кокетничает. Просто рацион его за прошедшие лет шестьдесят менялся редко и незначительно.

При слове «картошка» я вздрагиваю и обижаюсь.

– Дорогой дружище Вернер! – сказываю ему. – Не позволите ли послать вас – чисто в познавательных целях, разумеется! – на три буквы, прекрасно известные вам, мне и всем местным! – тут, в глухих краях Западного Казахстана, три буквы эти – в сборе, разумеется! – были крайне популярны среди населения, говорившего, думавшего, главное – жившего по-казахски. Но бранились местные люди исключительно по-русски, причем делали это виртуозно и без акцента.

А у Вернера имелся акцент. Вернее, выговор. Безупречный питерский выговор, невесть как сохранившийся. Ха, сохранившийся! Откуда? Вернер никогда в Питере не был. Из Питера были его родители, попавшие сюда незадолго до войны. Сами знаете, как это происходило. А Вернер родился и вырос поблизости, на Мангышлаке, в лагерях далеко не пионерских. Их там сотни.

– Не убили же! – все же одобряет тогдашние власти Вернер. Он огромен, голубоглаз, гладко выбрит, а рубашка его всегда застегнута на верхнюю пуговицу.

Многочисленные родственники Вернера давно отчалили из этих краев сперва в областные центры, а несколько лет назад и в Германию. Звали и Вернера. Но он почему-то остался.

– Уважаемый Александр! – ответствует он учтиво. – Не грубите плохими словами. Это неинтеллигентно.

Вернеру нравятся мои одессизмы.

Общаемся…

Мы на рыбалке. У меня есть машина – полевая лаборатория на базе УАЗ-452, у Вернера удочки и рачницы. Рыбалка тут специфическая. Непуганая рыба клюет бешено. И раки не отстают. Давно наловлено на завтрак, обед и ужин. Но уходить не хочется. Мы так отдыхаем.

Отдых же местного населения четко ассоциируется с «Самогоном карпатским», разлитым в литровые банки с неаккуратными этикетками. Продукт, частично попав в магазины, был раскуплен за считанные часы и не менее быстро выпит. Теперь хорошие люди требуют за самогон немыслимую нынче вещь – деньги. Но деньги есть далеко не у всех. Зарплату не платят уже месяцев восемь. Наивные предлагают за самогон черную икру. Литровую банку икры за банку самогона. Но над ними смеются явно и издевательски. Икра есть в каждом доме, домике и, наверное, соба-

чьей будке. Да-да! Местные псы уже давно отворачивают морды от белужьих стейков и по ночам, взвывая на луну, мечтают о косточке, скромной бараньей косточке с вот такусеньким шматиком мяса. Смешные. Об этом мечтают все.

Кроме Вернера, конечно. Чудак-человек. На вопрос, почему он не уехал со всеми прочими Вернерами, отвечает:

– Тут свобода!

Представляете?

На весь поселочек нас только двое не казахов. Вернер служит комендантом гостиницы и общаги. То есть свободен всегда. В эту глухомань командировочные не ездят. В свое время он долго и удивленно разглядывал меня со товарищи, пришедших поселяться. Думали, ненадолго, да вот застряли. Вернее, я застрял. Одна бригада отстрелялась и отбыла, жду другую. Встрою их в работу и тоже уеду. В Ургенч, например. Отсюда, из очень-очень далека, он кажется мне очагом мировой культуры. Об Одессе, где не был уже месяца два, стараюсь не вспоминать. Мне не идут «скупые мужские слезы».

Как вы уже заметили, мы с Вернером общаемся учтиво и уважительно. Никакого амикошонства и тем более тыканья. К «Самогону карпатскому» мы относимся одинаково брезгливо и под уху и раков употребляем водку, невесть каким чудом сохранившуюся в его закромах. Вот и сейчас сидим у него. Переместились отдыхать от рыбалки. Пьем из рюмок. Представляете? В мире граненых стаканов и пиалушек пить из рюмок! Да за такое и линчевать могут! Но мы рискуем.

Водку пьем без тостов, просто приподняв рюмку, уважительно киваем друг другу. С закуской пока туго: икра, осетрина, раки… Изредка, наскребя в столовой толику овощей, варим уху, на хлопковом – представляете! – масле жарим рыбу. Живы пока.

– А где-то, я точно знаю, – вспоминает Вернер, и его голос слегка дрожит, – на завтрак подают гречневую кашу! И сосиски! Представляете?

– Ошибаетесь, уважаемый, – оппонирую ему, – таких мест уже давно нет. Максимум, на что способна отечественная пищевая промышленность, – пельмени русские и макароны по-флотски!

– Бедные люди! – невнимательно жалеет человечество и себя заодно Вернер.

– Говорят, в Германии с питанием налажено! – заступаюсь за новую родину родственников Вернера.

– Там людей много! – роняет он. – С детства – люди, люди, люди… Скверные в основном.

– А тут?

– А тут река, еще квартира своя. Закрылся и… никого. А там… полная зависимость. Языка-то я не знаю…

– А выучить?

– В мои-то годы… Вряд ли… Да и не тянет меня туда.

– А в Питер? Родина все-таки.

– Чья? Родителей? Где-то здесь их могилы. Скорей всего, братские. А моя родина тут.

Я промолчал. Те несколько дней, что торчу в пустой гостинице, свели бы с ума, кабы не Вернер и надежда, что скоро-скоро… Как можно считать эту глушь родиной? Хотя…

Я вышел на улицу. Улицу… Смешно. Несколько двухэтажек, погрязших в желтой глине, несколько юрт вдалеке, компрессорная примерно в километре отсюда. И безжизненный, побеленный солью Устюрт сразу за жильем. Говорят, совсем недавно к поселку зимними вечерами сходились волки. Попеть, попугать. Но за убитых волков стали платить деньгами и водкой. Так что волков тут почти не стало. Ушли…

А люди живут. Вот Вернер… Я ехал в гостиницу и думал о том, что завтра-послезавтра вертолет отвезет меня на станцию, а дальше поезд – и люди, люди, люди, чей язык понятен.

И можно, можно радоваться жизни. Но Вернер, дружище Вернер…

Медработник

Тетя Блюма живет не в нашем дворе, а в соседнем. В каком? А не скажу. Кому положено – и так знают. А посторонним и незачем знать. Такой блат отдавать просто так – это же только мишигине на всю голову может. Кто такая тетя Блюма? О, она приемщица анализов в поликлинике. Сидит себе в окошке и баночки с коробочками принимает. Или не принимает.

– Не так оформлено! – говорит. И все. И несите свои анализы домой. Оформлять. А как? Об этом тетя Блюма не докладывает.

– Читайте инструкцию! – говорит. А где ту инструкцию взять?

Но у наших анализы берет безоговорочно. Даже у Межбижера, хоть он почти каждый день носит.

– Бережет здоровье! – говорит тетя Блюма. Одобряет, наверное.

А еще тетя Блюма междворовой дегустатор. Если скажет на что-то – дрек! – то и спорить бесполезно. Уж в чем-чем, а в этом она понимает. Столько лет при должности.

О, забыл. Еще тетя Блюма выдает бумажки с результатами. С двенадцати, когда прием анализов прекращает, и до трех. А потом идет домой. Рабочий день, начатый в семь утра, окончен. Что обидно некоторым, результаты анализов тетя Блюма никому не разглашает. Ссылается на врачебную тайну. Поэтому мадам Берсон и тетя Аня на нее в обиде, но тихонько. Мало ли…

Поликлиника, где служит тетя Блюма, на Приморском бульваре. Хорошее место. Удачное. И красиво вокруг, и домой недалеко. С работы она идет пешком. Не спеша и с толком. Осуждает Дюка, который, если правильно посмотреть, писает на прохожих.

– Вот возьму у тебя анализ, – угрожает, – покажу доктору Фрактман, и где ты такой пуриц будешь?

Дюк молчит, опасается, наверное. И правильно делает. С тетей Блюмой лучше не связываться. Это ему, наверное, Камасутренко подсказал. Погулял этот Камасутренко, как он говорит, по-человечески, а наутро понес анализы сдавать. Сдал на свою голову. За ним из вытрезвителя прямо домой приехали. И забрали. А куда он против тети Блюмы денется?

Дальше у нее в клиентах сам Пушкин Александр Сергеевич. Она регулярно пробует воду, текущую из пасти дельфина, и обычно одобряет ее.

– Не хватает, чтоб Пушкину плохую воду давали!

С пушкой у тети Блюмы отношения сложные.

– Ишь ты, попой повернулась! И кто тебя этому учил?

Пушка повернута спиной не только к тете Блюме, но и к горисполкому. И это неправильно.

– Пушку надо повернуть и стрельнуть по-человечески! – мечтает она. – Тогда они, может, подумают, как жить на эту зарплату!

Но пушка стоит себе и стоит. И пользы от нее, как и от материала для анализов. Где та война, на которой она стреляла?

И тетя Блюма идет дальше. По Пушкинской улице уже.

– Пушкин, пушка, Пушкинская… Ну прямо сбежались!

Тетя Блюма любит гулять. Ее мир, низведенный большую часть дня до маленького квадратного окошка, невиданно расширяется, становится огромным и обычно хорошо пахнет. Утром еще темно, ничего и никого не видно. Это не прогулка, а путь на работу.

Археологический музей тетя Блюма уважает. Поэтому ничего ему не говорит, а только здоровается.

Не доходя до прокуратуры, тетя Блюма переходит на другую сторону.

– Не хватало еще с этими погромщиками по одной стороне ходить!

Тетя Блюма злопамятная…

Но около бывшего дома Рафаловича – говорят, был приличный человек! – а ныне музея, она вновь переходит дорогу. На входе в музей две мраморные приступки удачного роста. Можно сесть и отдохнуть. Да и куда спешить?

Отдохнув, тетя Блюма продолжает путь. Она с удовольствием рассматривает прохожих.

– У людей есть, оказывается, не только руки и немного лица, а прическа, туловище, ноги…

У филармонии, на улице Розы Люксембург, короче, Полицейской, она сворачивает налево. С надеждой. С утра у гастронома стоят рыбаки и продают свой товар. Кто что словил. Поздно уже. Но вдруг повезет, и у гастронома хоть кто-то еще будет продавать тюльку. Тогда она возьмет целых полкило в газетном фунтике и сделает себе биточки. А кошке отдаст кишки и головы. Хотя вряд ли. Кошка с рассвета одна дома. Без жмени тюльки к ней не подходи. Отвернется, разговаривать не будет целый день.

А с кем еще поговорить? С кем?

Я до сих пор не летаю…

Интересно, как называется самый главный – ну просто главнее не бывает! – волшебник. Не Господь Бог, а именно волшебник. Ведь могут же они быть в этом мире, независимо друг от друга. Сосуществование, так сказать. Впрочем, я не об этом.

А о том, как называется самый главный – ну просто главнее не бывает! – волшебник? И это не зряшный интерес. Дело в том, что я его встретил. И мы даже разговорились. Не верите? Ваше дело. Хотя обидно. Я ведь не вру. Это все, кто меня знает, подтвердят.

А дело было так. Сидел я в кафешке на Дерибасовской и мечтал о чашке кофе по-восточному. В турке, в песочке приготовленному, густому-густому и с пенкой. Мечта, конечно, зряшная. Лучшее, что мне могли предложить, это чашечку эспрессо. Не то, конечно. Но что делать, что делать… Я ж не в Ереване, где кофе по-восточному делали всюду, а лучший – под аркой прямо напротив рынка.

Но…

– Хотите в Ереван? – спросил меня какой-то мужик, без спросу присаживаясь за мой столик.

Я хотел было нагрубить, но совсем неожиданно для себя ответил:

– Разве что на час, не больше.

– Что так? Вы ж давно не были. Город сильно изменился. Есть что посмотреть!

– У меня через час встреча.

– Причина уважительна. На час, так на час. На площади перед музеем устроит?

– Конечно!

Все это я отвечал вполне автоматически. Почему ж не пошутить на близкую мне сейчас тему? Но вот так шутя я оглянулся, и мне, говоря по-одесски, поплохело. Вот площадь, вот музей, а вот я. Ничего себе! Миллион вопросов в голове и все зряшные. Правда, и что-то умное в башку заскочило: «Ну, хоть нормальный кофе попью! – заскочило и тут же: – А на какие шиши? Деньги-то тут армянские! А у меня…»

Я пошарил по карманам. Сто гривен, двести гривен… Еще двадцать…

Может, у них обменник есть?

Обменника не было… Вернее, он был, но все надписи были по-армянски. Ну ничего не разобрать. Да я и не пытался. Обидно… Правда, я нашел подле обменника какую-то монетку, видимо, мелкую. На чашку кофе явно не хватит. Но сувенир. И я сунул монетку в карман. Столько возможностей дарил этот город: коньяк, кофе,

прогулку! Оставалась прогулка. И я пошел в сторону оперного театра. Мечеть… Да-да, в Ереване – мечеть! Церковь, оперный, церковь… И…

Нет, что это было? Я опять был за столом кафешки на Дерибасовской, а напротив сидел мой улыбающийся собеседник.

– Вы гипнотизер? – спросил я растерянно.

– Нет, я волшебник! – на полном серьезе ответил он. А потом добавил: – Главный!

– Что за дурацкие шуточки? – возбухнул я. – Так я и поверю, что час я гулял по Еревану, а потом вернулся в то же кафе, за тот же столик…

– А вы гляньте на часы!

Я глянул. Да-да, прошел именно час!

– Гипноз! – уже уверенно возвестил я.

– А вы поройтесь-ка в кармане.

Я засунул руку в карман. Платок, деньги, два камешка – пирит и тигровый глаз – и… что-то плоское и круглое. Монетка! С одной стороны была десятка и надпись под ней незнакомыми буквами, с другой странный двуглавый орел и надпись вокруг него. Да. Это была та монетка, которую я нашел подле обменника. Значит…

И я с испугом посмотрел на собеседника.

– А ведь вы еще и газету взяли… – обронил он.

Точно, у театра меня остановил какой-то юноша с пачкой глянцевых рекламных газет. У нас такие в почтовые ящики загружают, если на воротах нет кодового замка. Одну из них он сунул мне в руку. Где она? В карманах не было.

– А вы в заднем кармане гляньте!

Точно. Газета была там. И дата была сегодняшняя!

Ну монету еще как-то можно было объяснить. А газету? Лично я не мог! Сидел, шевелил губами, пытался что-то сказать…

– У вас назначена встреча! – напомнил мой собеседник. – Но я перенес ее еще на час. Сможем поговорить.

И тотчас у меня зазвонил телефон. И знаете, я даже не удивился, когда барышня, с которой я должен был встретиться, сказала, что освободится только через час. Барышня младше меня лет на тридцать. Могла себе это позволить. В отместку, надо же и себя показать, я молвил, что через час буду занят. И отключился. После чего гордо глянул на собеседника.

Мой визави откровенно веселился.

Ну ничего, сейчас я тоже что-то скажу!

– А ведь, наверное, очень тоскливо знать все наперед!

– Не совсем. Многое можно исправить…

– Тогда это не совсем настоящая жизнь…

– А где вы видели совсем настоящую? В кино? В театре? В книжке о ней прочли? И что это, наконец, такое – настоящая жизнь? Может, еще о любви поговорим? Например, до гроба? – он смеялся, но ему явно было невесело. – Да-да-да! О любви! А как же! – он почти выкрикивал.

– Давайте! – согласился я.

– Вот вы любите своих детей? У вас их двое…

– Люблю, конечно!

– А они вас?

И я вдруг понял, что мне не хочется отвечать. А ответить надо было. Надо…

– Не знаю… У них своя жизнь, свои дети…

– Ага! – кажется, он полностью успокоился. Зато мне стало не по себе. В самом деле, любят ли меня мои дети? Вдруг это стало очень важным. Вдруг?

– Не переживай! – вдруг перешел он на «ты». – Все правильно. У детей еще будет время тебя любить!

– Как это?

– Когда ты умрешь! Вот тогда… – он не договорил.

– Легче мне от этого! – обиделся непонятно на что я.

– Легче… Потому что у тебя еще есть пока время любить.

– Пока? Я скоро умру? – испугался я.

– Поживешь еще…

Помолчали.

– Хочешь стать волшебником? – вдруг спросил он.

– Нет!

– Нет… – неуверенно удивился он. – Все хотят, а ты нет?

– Конечно, нет!

– Но почему?

– А потому, что хочу отвечать только за свои поступки. И только перед собой! Я не хочу играть судьбами. Не хочу событиями… И верить не в кого-то, а в себя!

– Стандартный набор понятий маленького человека, – заметил он. – Ничего нового. Остыньте!

– Остынет! – произнес кто-то рядом. А потом громче: – Ваш кофе остынет!

– Кофе? – удивился я. – Я же не успел его заказать!

А потом я глянул на стол. А там стояла маленькая чашечка кофе по-восточному. И стакан воды.

Ветеран

Почитай всю войну я был… раненым. Так вышло. В сорок третьем призвали. Прибыли мы под Майкоп, стали из эшелона выгружаться, а тут мессеры. Паника сразу. Кинулись кто куда. И я было кинулся. Но что-то как даст по ноге! Потом только выяснилось – осколок. Лежу, ору. Больно же. Собственно, все орут. Кто от боли, кто от страха…

Улетели мессеры. Народ из щелей выползать стал. Кто уцелел, конечно. Санитары появились. Меня на носилки и… Вроде в госпиталь. Хотя… Какой госпиталь? Палатка, а в ней доктора орудуют. Да и какие доктора? На год-другой меня старше. А мне только-только восемнадцать. Двое их было. Один полный притырок, второй вроде ничего. Сцепились из-за меня. Притырок орет, что ногу надо ампутировать, что осколок в кости, и не вытащить. А второй, что хоть и анестезии нет, спасать ногу надо. Слава Богу, по второму и вышло. Кромсать начали. А я и вырубился. От боли, наверное. Очнулся в эшелоне уже. Санитарном. И началось. Один госпиталь, другой… Операции… Потом тиф. А как же… Ну и воспаление легких перед финишем. Больше двух лет провалялся. Одна нога не гнется и короче другой сантиметров на десять. Словом, выпустили из госпиталя в начале сорок пятого. Костыль, рюкзачок тощий за спиной, документов-выписок пачка. Казахстан, минус тридцать…

Кое-как до вокзала добрался. Там двое суток прождал, а потом ребята, что на фронт ехали, в эшелон пустили. Аж до Запорожья довезли. Самые счастливые за всю войну пять дней были. Тепло, жрать дают… Лафа!

До Одессы почти месяц добирался. Хромаю себе по улицам, не узнаю город.

Добрался до двора своего. А там радость со слезами. Радость оттого, что комнату нашу соседи нетронутой сберегли. А слезы оттого, что родителей и бабушку румыны убили.

Горюю я, а все думаю: «А как дальше?».

Жилье, допустим, есть. Но это все. Еды нет, работы, чтоб на еду заработать, тоже. Да и какая работа для калеки отыщется? Сунулся было в военкомат, а там нарядный старлей сидит и сообщает, что таких, как я, у них полная жопа. И что свалились мы на его голову. Короче, послал куда подальше. Карточки, правда, выдал. А на что их отоваривать?

Выжил как-то. Соседи помогли. Дело нашлось. Ходил я по ночам зажиточным людям очередь за хлебом занимать. За деньги, конечно. Так и жил пока. А потом в институт пошел. Заканчивать. Там стипендия!

И работа нашлась. В артели. Им – они ж артель инвалидов! – позарез инвалиды-фронтовики надобны были. Зарабатывал неплохо. Женился вскорости. Потом и дочка родилась. Короче, пошла жизнь.

Артель, правда, через пару лет разогнали.

– Твое счастье, что инвалид-фронтовик, – следователь внушал, – иначе сидел бы, и долго. А так свидетелем пойдешь. Я ведь тоже с войны целым не пришел, – говорил и левой рукой протокол заполнял. А от правой у него только рукав в кармане пиджака.

Я и пошел… Свидетелем…

А потом в другую артель пристроился.

Так и жили. Соседка, что соседнюю комнату занимала, померла. Ну и стали мы хлопотать, чтоб нам жилплощадь отдали. Жена особо козыряла, что фронтовик я, инвалид группы первой… Я сперва отбивался. Мол, какой фронтовик, если на фронте и не был? А она:

– Кровь проливал? Калекой остался?

Ох, не люблю я это слово – калека!

– Рана есть, аж страшно! Ходишь, как семь сорок!

Прямо не рана у меня, а пропуск какой. В лучшую жизнь, что ли?

Дали нам комнату! И закуток под кухоньку дополнительно. Отделились мы от остальных соседей, зажили самостоятельно.

А тут вообще фронтовики в почет вошли. На всякие мероприятия звать стали. Я сперва не ходил, стеснялся. Там люди

с боевыми наградами, а я? Одна медаль «За победу над Германией» – и все. Так такие медали почти у всех мужиков. А потом пересилил себя и ходить стал. Пайки, опять же. А что? Я ведь тоже что-то заслужил.

А в шестьдесят пятом еще одну медаль навесили. И льгот, льгот!

И магазины для нас ветеранские пооткрывали. С дефицитом всяким. Что себе возьмешь, что родственникам да знакомым. А что и на продажу можно. Прибавка, так сказать.

Так и жили.

Только с каждым годом все меньше нас, ветеранов.

Раньше в ЖЭКе на торжественное собрание человек пятьдесят нашего брата приходило. А сейчас… Вот на днях было девять человек!

Ну и молодых несколько. Один молодой – спонсор вроде – и просит:

– А расскажите-ка, отцы, кто где воевал.

«Хана, – думаю, – позорище! У людей иконостасы да заслуги, а я?»

А как пошли рассказы – страшно мне стало. Двое – вохры с Колымы, еще один следователь НКВД… Четвертый, восьмой… Все из органов наших внутренних.

И я, фронтовик, твою мать!

Встал, сделал вид, что худо стало, вышел да домой похромал. Иду, и горько мне так…

Алексей Овчинников

Рассказы на этикетках

Ркацители

«Ркацители» относится к группе технических сортов винограда бассейна Черного моря. С грузинского переводится как «красная лоза». Родиной этого винограда считается с. Цинандали, а основной территорией распространения – Кахетия.

«Ркацители» выращивают и в Украине, но он дает меньшую сахаристость. Популярность этот сорт завоевал благодаря особенному аромату, в котором основной тон полевых трав и цветов сочетается с легкими цитрусовыми нотами цедры грейпфрута.

«Раком к цели» – таково было народное название этого вина. Собственно, цели никакой не было. Просто на маевку 1982 года пацаны решили поехать на Каролино-Бугаз, а в ближайшем к вокзалу гастрономе из сухого ящик нашелся только «Ркацители». И тринадцать рублей не жалко – степуху как раз перед праздниками получили.

Прямо в углу внутри гастронома загрузили бутылки в большой рюкзак Юрчика, а все вещи переложили в Санину сумку. Поспешили на вокзал, на место сбора всей компании.

Спешка оказалась лишней. На углу вокзала у телефонной будки никто их не ждал. Прошло полчаса, единственная двушка была потрачена. Санина подруга рассыпалась в извинениях, родители увезли ее на дачу. Ревниво спрашивала: кто пришел? Прошло еще минут двадцать, стало ясно, что никто. Саня был расстроен, уж в своей девушке он был уверен… Если она не смогла, то что говорить об остальных… Первокурсники – не совсем взрослые люди, слишком зависят от родителей…

– На хрена мы столько вина купили? – риторически сотрясал креазотный воздух вокзала Саня.

– Может, по домам? – сомневался Юрчик. Но вопрос, куда девать вино, его тоже мучил. – Может, вино Олежке завезем? Заодно узнаем, чего не пришел…

Глупо, глупо отпроситься у родителей на два дня и вернуться к ним в обед. Не-со-лидно.

– В общем, палатка у нас есть, вино есть. Если уехать электричкой в 14:10, вполне успеем. Давай, едем. Переночуем, вина выпьем, а завтра домой, – сказал Саня и брякнул рюкзаком.

Сказано – сделано.

«А пока по стаканчикам вино –
И дорога на Бугаз недалеко…»

Спел Саня, взрезая ножом пробку на бутылке. Юрчик держал телескопический пластмассовый стакан с каким-то нелепым слоником на крышке и вдавленной надписью «Пятигорск».

– За пятигорских слонов!

Юрчик выпил из стакана, Саня из горлышка. Они откинулись на солнечные сиденья дневной электрички.

Дневные электрички прекрасны. Нет лопат, корзин и ведер, которыми лупят по коленям окружающих вьючные дачники. Нет и перегарного запаха мочи, источаемого спящими алкашами. Алкаши уже все выспавшиеся, частью умытые. Дачников-трудяг сменили дачники-лентяи, груженные вместо садового инвентаря

кастрюлями замаринованного мяса и кошелками овощей с Привоза… Все в радостном предвкушении… Чтоб не текли слюни, можно откусить полевой помидор и заесть перышком чеснока.

«А пока по стаканчикам вино –
И дорога на Бугаз недалеко…»

С первой бутылкой справились легко. Казалось, рюкзак стал значительно легче.

– А где нам выходить? – поинтересовался Юрчик, который на Бугазе был лишь однажды.

– Я на «Лиманской» последний раз был – можно там…

Только у электрички были свои планы. Пра-ха-ха-хе, хе-прохухе – бормотал динамик, и «Лиманская» промелькнула за пыльным окном. Саня занервничал.

– Пошли в тамбур!

Электричка проехала еще станцию и остановилась.

– На станции «Дружба» надо за дружбу и выпить…

– Давай сначала на берег выйдем, и закуска какая-то нужна…

– А вон магазин!

Магазином назывался параллелепипед из ржавого кровельного железа, полузасыпанный песком. На параллелепипеде висел мощный замок, больше никаких признаков присутствия человека не было. Поскрипывала треснувшая буква «Б» в названии станции, жарило майское солнце. Они уселись в тени параллелепипеда и решили ждать продавщицу, распивая вторую бутылку.

– Трудно будет сутки без еды протянуть…

Юрчик что-то вспомнил и стал рыться в рюкзаке.

– Мама мне что-то положила…

Он извлек банку бычков в томате, Саня оживился.

– Вот и ужин. А хлеб она тебе случаем не положила?

– Что-то есть…

Юрчик порылся еще немного и вытащил банку с наклейкой «Гогошары».

– Что за «Гогошары»?

– Гогошары – это такой овощ, типа перца румынского. А хлеба нет…

Юрчик считался в их компании знатоком странных слов. При этом слов простых, дворовых, он не знал, так как окончил школу в Польше и сразу попал на первый курс института. Польского происхождения были все богатства Юрчика: и рюкзак, и спальный мешок, и даже четырехместная палатка, жуткий дефицит по тем временам.

– Повезло тебе с этими загадочными гогошарами: я перец не ем, так что все тебе достанутся…

Они допивали вино, жарило не по-майски, а к магазину приблизился мужик, сильно потрепанный ветрами и попойками. Он так мощно дернул дверь, что прислонившихся друзей качнуло.

– Вот дрянь эта Зинка, теперь только десятого откроет, – мужик сплюнул и поковылял по шпалам к мосту, видимо, в Затоку, где была надежда на местную Галку или Райку.

– Что нам сидеть до десятого мая? Пошли к морю – там ветерок, прохладнее! И вдруг там какой-нибудь киоск есть? Печенье можно купить.

На берегу, конечно, никаких торговых точек не было, зато было довольно много загорающих дачников. В общем, палатку не поставишь. Юрчик стоял в растерянности. Саня, изображавший знатока Бугаза, показал рукой налево.

– Пойдем туда: чем ближе к Ильичевску, тем народу меньше. Давай рюкзак понесу. Потом, после перекура, поменяемся.

И они бодро затопали по песку в сторону Ильичевска. В рюкзаке за спиной у Сани позвякивали восемь бутылок «Ркацители».

Ходить с грузом по песку – одна из самых неприятных прогулок на свете. Килограмм десять вина с тарой и банка гогошар неизбежно топили Санины кеды в песке. Пробовали идти по мокрой и твердой кромке моря, но волны тут же, черт, намочили правую кроссовку. Так и чапали – правая нога мокрая, левая утопающая. После километра хода Саня запросил остановки. Закурили, благо запас сигарет был большой.

– Еще одну? – Саня полез в рюкзак.

– Может, сначала палатку поставим? – возражал слегка охмелевший Юрчик.

Но Саня уже резал ножом пластмассовую пробку.

– Лучше нести его в животе, чем за спиной. Быстрее идти будем. А палатку вон там поставим, там людей меньше, – Саня опять махнул в сторону Санжейки и Ильичевска.

Юрчик вздохнул, взвалил на плечи рюкзак с оставшимися семью бутылками и обреченно пошел по водорослям вдаль. Саня докурил, схватил сумку и двинул следом…

Добрели до обрывов под «Студенческой» в сумерках. Дюны – как на картинах немецких художников-романтиков. Название соответствующее – «Закат. Одиночество», ну или «В ожидании счастья». Немецкие художественные музеи полны такими работами…

Стояли редкие палатки, так что прошли еще немного до полного безлюдья. Ставить палатку в темноте – то еще удовольствие, приходит с опытом. Устали, пытались выпить еще бутылку, чтоб крепче спать, – уснули раньше половины.

Проснуться от первых лучей солнца на безлюдном берегу – одно из самых больших удовольствий в жизни. Сразу представляешь себя первым человеком на Земле. Адамом или безымянным кроманьонцем. От беспричинной радости бежишь в море, но тут же выскакиваешь – зябко. Бегаешь, орешь на весь пустынный берег, а потом – стоп. Стоишь в прибое – греешься, щуришься и балдеешь.

После такого купания молодой организм чувствует, что неплохо бы добыть еды, зажарить здоровенный кусок мамонта… Но мы помним, что в палатке только бычки, гогошары и початая бутылка. Что ж, и это отличный завтрак на песке.

Хотели несколько бычков оставить на обед – не смогли. Решили так: до обеда загораем, пьем. А после собираемся – и домой. По дороге можно попробовать добыть еду в студенческом лагере наверху – вдруг кто-то есть в столовой. А нет, так и до города дотерпим.

Запивать голод кислым вином только вначале весело – потом устаешь. Солнце в зените трудно переносится, и кроманьонец начинает думать, как бы голову не напекло. В конце концов сложили вещи, уморились. Небольшая тень за большой дюной.

– Поваляемся до электрички полчаса, – и уснули часа на три.

Уже не пекло. Саня начал искать свои джинсы – их нигде не было. Пошел за дюну, вдруг порыв ветра, – нету.

– И мой нож исчез! – раздался голос Юрчика. – И спальник.

Они оглядывали берег, кручи, море… Даже воровские следы замело песком – исчезли.

– А почему палатку не взяли? Вот же она, уже сложена в баул… – немного обиженно подытожил Юрчик.

– Они просто не поняли, что это, – Саня был задумчив. – И как я теперь домой?

В XXI веке легко себе представить человека в плавках, садящегося в городской транспорт (ну, слегка шизанутый, подумаешь…), а тогда это было бы путешествие до первого мента. Саня совсем не хотел, чтоб маму вызвали звонком в РОВД. Берег ее нервы.

– Может, мне в палатку завернуться…

Юрчику мысль не показалась здравой.

– Все равно заберут.

– Тебе хорошо, у тебя одежда на месте…

И тут Юрчик проявил решительность.

– Значит так: я еду домой. Размеры у нас примерно совпадают, беру тебе штаны – и назад. К ночи буду. Ты один остаться не боишься?

– Нет. Только палатку оставь и еды привези. А еще – маме не звони! Нечего ей нервничать зря.

– Ладно, не буду. Ну что, – Юрчик посмотрел на часы, – вроде полчаса до электрички… Часов в десять назад приеду…

– Давай топай, а то опоздаешь!

Юрчика мама, конечно, не отпустила назад, пока не накормила до отвала и не снабдила деньгами и фонариком. В общем, пока приехал, пока в темноте искал тропу вниз, была уже глубокая ночь. Он вышел в дюны и услышал голоса в темноте. Голоса Сани среди них не было. Он подошел поближе, выключив фонарик. Нашел увесистый дрын и подобрался к палатке… В его голове проносились мысли: «Воры вернулись… А где Саня? Убили… Или нет? Ничего не боятся – Саню убили и в моей палатке ночуют…». Он покрепче взял дрын двумя руками…

– А ну, выходи по одному!

Из палатки вылезла пара испуганных молодых людей, и раздался голос Сани:

– Юрчик! Я думал, ты до утра не приедешь. Знакомьтесь…

Высунулась сонная голова Сани.

– Это – Студент, это – Маша. А это Юра, мой лучший друг, про которого я рассказывал.

Почему-то в каждой молодежной кампании был свой Студент. Почему Студент был именно он – понять невозможно. Возможно, он первый поступил в вуз, кто знает? Наш Студент решил на майские поехать в лагерь института с однокурсницей, добыл в профкоме путевки, поселился в домике (где на беду оказались соседи – тоже недовольные приездом другой парочки). Вышли они с Машей вечером на берег моря, захватив с собой казенное одеяло, шли к самому морю – оно так романтично вечером, пока…

Пока голос из-под земли его не окликнул. Сначала несмело:

– Студент…

Потом, когда он, оглядевшись, подумал, что ему послышалось, голос стал громче и требовательнее:

– Студент! Студент! Или сюда!

И тут он заметил, что ему кто-то машет рукой из-под земли, а на самом деле из-за дюны.

Саня предложил парочке много сухого вина и просил остаться с ним ночевать. Допив запасы «Ркацители», парочка улеглась с Саней в палатку. Мечты об интиме Студент на время отложил, хоть обнимал Машу и разговаривал по душам.

Когда все познакомились и отсмеялись, Студент с Машей ушли в свой домик наверху.

Юрчик кормил Саню маминими бутербродами и радовался, что его джинсы впору товарищу. Юрчик даже допил последнюю бутылку… Утром у них уже были пары.

– Пуд соли мы с тобой не съели, но ящик «Ркацители» выпили…

Все-таки малолюдный Бугаз прекрасен. Но джинсы жалко!

Ирина Фингерова

Рассказы не о любви

И этот изменит

Лизе изменяли все.

Оба мужа, мать (с младшим братом), научный руководитель и даже тонконогий паук перебирался на другую сторону, если она делила с кем-то кровать.

Каждый раз, когда уже утром Лиза насыпала три ложки молотого кофе в турку, она смотрела на синеватое пламя, конформно упакованное в конфорку, и думала, что ничего не выйдет.

На детском стульчике сидел бородатый мужчина.

Лиза предпочитала высоких и бородатых. Стулья не покупала принципиально. Ее кухня – ее правила. Ей нравилось, как борода щекочет лобок. Нравилось, как бумажная люстра в гостиной издает глухой звук при столкновении с головой. Потолки у Лизы были низкие. Крышка от унитаза не поднималась. Она специально заказала на «Алиэкспресс» защиту от детей. Ремешок на клейкой ленте перехватывал ободок унитаза. Только защищала она себя. Холодильник у Лизы был большой. Пришлось отпилить половину бензопилой «Дружба», доставшейся от отца. Единственное проявление дружеского чувства на ее памяти – скупая строчка в завещании. Лизе – пила и бабушкино зеркало, Коле (младшенькому!) – однокомнатная квартира. Морозилки не было, но Лизе она и не была нужна. Мясо она не ела, была вегетарианкой, рыба напоминала ей о мальчике из детства, в которого она была влюблена. Немой и такой скуластый, что порезаться можно было. Он куда-то исчез, и в этот же день мама Лизы принесла с базара еще живую рыбу. Лиза не знала, что рыбе приходится умирать, для того чтоб они могли ее съесть, а когда уз-

нала, то заплакала. Она плакала так долго, что пришлось поселить рыбу в ванной и три дня не мыть ноги. Потом рыба умерла, мальчик так и не вернулся, его родители тоже, а Лизка зареклась есть рыбу.

Вчера она привела домой Володю. Они работали вместе в айти-компании уже несколько лет, и Лиза иногда на него поглядывала: статный, бородатый, любит Достоевского и комиксы Марвел, но сам вялый какой-то, как будто у него не стоит на жизнь. Володя трижды приглашал Лизу выпить после работы, но она отказывалась. Вчера все было иначе, он сказал, что собирается сбрить бороду.

– Я думала, ты из религиозных, – сказала Лиза.

– Будку с фалафелем перенесли, – сказал он, – теперь возле синагоги на Осипова караоке, а я не пою.

– Странный ты, – рассмеялась Лиза.

А сама подумала: нужно успеть, пока бороду не сбрил.

Так они оказались в дельфинарии. На первом этаже выли голодные дельфины, на последнем – кололи лед для фирменной голубой лагуны. После водки стало хорошо.

– Я дважды разведена, – сказала Лиза.

– А у меня фимоз, – Володя достал руками апельсин из коктейля, – первой степени! – прибавил он после затянувшейся паузы.

Лизка его поцеловала в апельсиновые губы. На вкус как масло, плавающее в соке. Поцелуй вышел слишком мокрым.

Через два часа Володя оказался в узком коридоре, заставленном коробками из-под обуви.

– В них живут мои обиды, – сказала Лиза, – два свадебных платья, бесплатный сахар из дешевых гостиниц, открытки от мамы.

Володя промолчал. Он был занят рассматриванием кружевного узора из черной плесени на стене. Достал из рюкзака уксус и какую-то тряпку, намотал на швабру, валяющуюся в углу. Включил свет. Плесень поморщилась, Лиза тоже, она уже начала стягивать кофту через голову, но остановилась. Володя не торопился. Он тщательно обрабатывал каждый сантиметр стены.

Лиза решила заварить чай. Чашка была только одна – ее, воспользовалась новеньким вазоном, в который собиралась пересадить кактус.

Володя достал из рюкзака халу.

– Сам испек, – отломал кусок Лизе.

И пошел на кухню.

Они курили в окно до поздней ночи, а в перерывах между затяжками Володя что-то чинил. То дверные петли смажет, то о том, как бабушку через дорогу перевел, расскажет. Стало у Лизы тепло.

Когда они вошли в спальню, Володя молча лег на кровать. Лиза тоже молча легла рядом. Они соприкасались носками. Ничего не получилось, кроме сна.

Сон удался на славу.

Потянувшись, Лиза предложила Володе кофе, и он согласился.

Днем она обнаружила, что в доме появился еще один стул.

Вечером Володя решил выбросить мусор и вернулся с мешком цемента.

Ночью снес соседские стены к чертям собачьим и расширил квартиру.

Утро не наступало долго.

Они успели вынести половину Лизиных коробок из-под обуви в коридор и принести с десяток Володиных. Съездить в Европу, засушить тюльпаны, сорванные в Вальдштейнском саду в Праге, привыкнуть к запаху друг друга и отвыкнуть от собственного, а у Володи даже снова отросла борода, которую он сбрил где-то между полночью и полуднем.

Но все равно наступило.

Володя и Лиза решили пожениться.

Расписались по-тихому, вместо разбитых бокалов потоптались по надеждам своих ворчащих мам и без всяких церемоний улетели в Испанию. Горячий тур. Футболки с надписью «То, что случается в Йорет-де-Мар, остается в Йорет-де-Мар». Кальмары, креветки, осьминоги, холодное белое вино. Поездка в Фигерас в музей Сальвадора Дали. Два пьяных шведа в номере по соседству, которые уговаривали научить играть в дурака. Остывший за ночь песок и кофе, большая подстилка, на которой так удобно соприкасаться носками (оба не любили засыпать без носков). Гудящие от туристов узкие улочки, фреш из спелых плодов манго, татуировки хной, плетеные косички, ботанический сад, скульптура Дона де Маринера.

Жена, ждущая рыбака домой.

«И почему женщины всегда ждут мужчин? – подумалось Лизе. – Почему вечно боятся, что те уйдут? Разве что с Володькой будет

не так, у него фимоз, ему не так-то просто пойти на сближение, я ему доверяю».

Они как раз заказывали паэлью с лимской фасолью и каракатицей в ресторане на берегу моря, когда Володя спросил на ломаном испанском: «¿Y dónde está el baño?».*

Лиза захихикала. Они только вчера купили разговорник, а уже выдает!

На столе остался лежать его телефон.

Сама толком не понимая, зачем она это делает, Лиза взяла его в руки. Зыркнула на дверь туалета. Молчит. Не осуждает.

Пролистала несколько последних переписок в мессенджере, вотсапе, вайбере, телеграме, заглянула в журнал звонков. Он почти ни с кем не общается – несколько коллег по работе, сестра, мама, подруга с ожирением третьей степени, тренер по настольному теннису, сантехник.

«Все хорошо», – выдохнула она без облегчения.

Теперь она знала точно – и этот изменит.

Потому что внутри у нее поселился страх.

Потому что теперь она не сможет унять компульсивное желание проверять его телефон или карманы.

Потому что он это почувствует, хоть и ничего не скажет.

Потому что черной плесени все равно, сколько ни поливай ее уксусом, надо переезжать, а куда она от себя переедет?

Разве что… Не играть в эту игру.

– Я только что рылась по твоим перепискам, – сказала Лизка, когда Володя вернулся из туалета.

Тренер по йоге

Ленка приехала в Майсен из Баутцена. Из одной жопы мира в другую. Целлюлита на жопе не было, брусчатка равномерно уложена, вместо родимых пятен – завод по производству фарфора и музей в тюрьме. Приехала к мужчине. Закрыла йога-центр, в котором по вторникам и четвергам вела йогу, а по средам и пятницам составляла гороскопы и рисовала мандалы. Мужчина был

* Где я могу помыть руки?

осанистый, с большими усами (напоминал ей Кларка Гейбла из «Унесенных ветром») и большими амбициями. Ленкина мама тут же спросила: «Сантехник?». Лена объяснила: у него свое бюро по замене водопроводных кранов. Завтракал он кофе и томиком Шиллера, обедал стейком средней прожарки, а ужинал просекко с клубникой. Учил Ленку красивой жизни. Не мог заснуть, если в его кровати был кто-то чужой, поэтому просил Ленку спать на коврике для йоги. Ленка была не против. Самый здоровый вариант для спины. Когда он предложил ей купить дом по соседству, Ленка не сомневалась. Он получал процент от сделки, она – серьезные отношения. В Баутцен все равно постоянно моталась – была совладелицей русского магазина. Там и познакомились. Он еще не успел пельмени купить, а она уже мысленно наварила целую гору, наложила на тарелку и накормила из ложечки. Вместо сдачи дала ему номер. Он позвонил. Виделись регулярно. Ленке уже было под пятьдесят. Два неудачных брака. Страшно хотелось заниматься сексом, пока тело еще в форме. Выглядела Ленка хорошо, эффектно. Тренер по йоге, диетолог, истеричка. Все в ее жизни способствовало поддержанию нормального веса. Сразу переселиться не смогла, нужно было ехать на свадьбу к дочери, в другой конец Германии. Условились с Гансом, что будут писать друг другу письма, настоящие, чтоб с запахом, чтоб с потом… Ленка написала двадцать одно письмо, Ганс – три. Она все понимала, он тяжело работал. Приехать решила чуть раньше срока, сделать ему сюрприз. Ганс не был рад. Ленка была в ужасе. Из спортивного рюкзака выглядывала ручка новенькой сковородки. Хотела нажарить Гансу сырничков… Ленке стоило больших усилий не обрушить сковородку на голову миловидной блондинки, стряпающей на кухне суп. С виду – вылитая она, Ленка. Только немецкого разлива.

– Я Аннет, – представилась она. – Ты его бывшая подруга?

Ленка пулей вылетела из дома Ганса. Пошла к себе. Отремонтировать успели только кухню, на заднем дворе толпились развороченные коробки из «Икеи», как битые яйца в пакете. Села прямо на траву, обхватила голову руками и заплакала. Плакала долго, потом надоело.

Аннет оказалась медсестрой, соседкой. Пришла на следующий день. С яблочным пирогом. Оказалось, что они с Гансом уже около

года вместе. Иногда спят, иногда ездят к морю. Он ей и ее детям дважды отпуск оплатил. С отцом не повезло, жмот.

Ленка была в ужасе. Неужели параллельно? Аннет была на два года младше. Сорок восемь. Младшей дочке шесть, старшему – двенадцать. Стала захаживать. То вина принесет, то книжку «Как справиться с болезненным разрывом», то фотографию покажет, как они с Гансом в постели лежат, голые.

А однажды и сам он пришел. Постучал робко, попросил вернуться, плакал даже. Ленка его приняла и сама, не будь дурой, Аннет фотографию отправила. Ганс спал, Ленка надула на камеру губы и опустила бретельку шелковой ночнушки.

Когда Ганс узнал, что Ленка отправила фотографии Аннет, то страшно рассердился, унес обратно цветы, которые подарил, и демонстративно споткнулся о Ленкин любимый зонтик, брякнув, что «это пошло в ее возрасте, с Микки Маусом шастать».

Уже вечером Ленка и Аннет сидели на кухне, пили водку, закусывали соленым огурчиком (Ленка хозяйственная была, имела запасы) и хихикали над тем, какие у Ганса странные гениталии.

Дружили около месяца. Ленка знала все о жизни Аннет, о камнях в почке, о невосприимчивости к лактозе, о боязни климакса, о том, что дочка у мужа живет неделю, а неделю у нее, и что они бы и сойтись не прочь, да старые обиды мешают. Гуляла от него Аннет, не хотелось ей с ним, а он не понимал, не старался, только сына ее от первого брака постоянно называл слюнтяем и пытался накачать пивом. Хотел подружиться, но не вышло, сына Аннет любила, хоть и приговаривала вполголоса: «Сложный он, книги любит». Аннет и сама была бы рада не гулять, но по вечерам становилось тошно. Ленка знала, что Аннет безразлична к деньгам, но только если их зарабатывает кто-то другой, а она тратит, знала, что у мужа неплохой дом, стоматолог все-таки, и детскую он для дочки сделал своими руками, знала, что они оба любят Вуди Аллена и крафтовое пиво и что созваниваются каждый день, несмотря на то, что давно разъехались. Знала, что Аннет дочку подговаривает папу обрабатывать. Рассказывать, что по вечерам мама фотографию его целует, а потом произносит молитву и идет спать. Ленка сочувствовала по-человечески. Вспоминала, как Аннет ей книжечки таскала по психологии и поддерживала всячески, пока с Гансом крутила.

Погода была хорошая.

Резко заболел зуб. Ленка удивилась.

Йогой ведь занималась с утра, что еще за боли? Но делать нечего: надо к стоматологу. Решение она уже давно приняла, но медлила с исполнением. Повода не было, а нужен ли? Ой! Была не была! Позвонила в дверь. Частный праксис херра Блау. Да-да, очень срочно, ужасно болит зуб. Да-да, знаю, что без договоренности, готова ждать. Ожидание того стоило. Доктор оказался ничего. Красивый, несчастный, зря его Аннет не ценила. Заплатил за кофе, вроде как не жмот. А как дочку любит!

Не прошло и месяца как Ленка пила водку и закусывала соленым огурчиком на кухне уже не с Аннет, а с доктором Блау.

Хороший он оказался, рукастый, и цветы любит, как она, и на Таро погадать просит, перед тем как нужно сдавать отчет за квартал или идти в налоговую.

Но все равно как-то грустно Ленке.

Может, оттого, что когда звонит Аннет, а он сидит на кухне и уплетает за обе щеки ее ватрушки, ей нельзя подавать голос.

Может, оттого, что когда их видят общие знакомые в ресторане, доктор несносно тушуется, так же, как когда она заказывает пиво, а ей все никак не удается гортанная «рр».

Может, оттого, что не заполнишь густую затянувшуюся паузу цитатой из «Бриллиантовой руки» или анекдотом о евреях и немцах.

Может, оттого что плевать ей, в сущности, на херра Блау, и на Ганса ей плевать, и даже на дом этот треклятый в богом забытом городе, с недостроенным фасадом, с большим садом, с намеком на спокойную старость, приятное угасание, цветочную скуку…

А на Аннет ей не плевать.

Аннет ее понимает.

Германия

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Поэзия

140 **Игорь Потоцкий**
Стихи о моей еврейской родне

147 **Вера Зубарева**
«Между Омегой, Альфой и Одессой…»

155 **Анна Стреминская**
Мы держим шар земной в руках

162 **Алла Марголина**
Из сожженной рукописи

164 **Инна Квасивка**
Во времена года

168 **Эвелина Шац – Татьяна Грауз**
Диалог поэтов

Игорь Потоцкий

Стихи о моей еврейской родне

*

Двенадцать моих родственников погибли в Лодзинском гетто.
Среди них были адвокаты, ремесленники, домовладельцы,
один приказчик, красивая девушка Голда. Перед рассветом
их вывели на площадь и расстреляли.
Говорят, Голда смеялась перед расстрелом.
Ее дядя Соломон кричал, что он не боится смерти.
Осеннее небо заплакало и посерело.
Двенадцать моих родственников обрели бессмертье.
Они, как и другие, стояли перед расстрельной командой,
и даже неверующие молились вечному богу.
Они устали от страха – смерть всегда находилась рядом,
каждый из них столетие носил тревогу.
Дядя Соломон призывал проклятия
на головы солдат, офицера, остальные молчали.
Дядя Соломон кричал: немцы, вы спятили,
но считайте, что ваши души навечно пропали!
Красивая девушка Голда могла стать любовницей
начальника гетто, он ее добивался долго.
Она его отвергла, назвав уродом,
и тогда он велел собрать всех ее родственников.
Я не знаю, кем мне была девушка Голда,
двоюродной или троюродной тетей. Это неважно!
Она стояла перед расстрельной командой
легкой, красивой, стройной, бесстрашной.
Эта девушка Голда мне часто снилась.
У нее были огромные глаза, и ее тело

переливалось всеми цветами радуги,
при этом, как зимняя вьюга, звенело.
Я ей одной рассказывал свои секреты,
она мне давала советы не слишком часто.
Она была светлой и нежной. Ей было двадцать.
В нее влюблялись. Она не успела влюбиться.
Я однажды долго гулял по Лодзи, и со мною
гуляли тени двенадцати моих родственников,
погибших в Лодзинском гетто. Я плакал над ними,
а девушка Голда просила меня: не плачь!

*

Мой дед Борис из Лодзи, бабушка Циля из Балты.
Дед был революционером, бабушка верила в черта.
Общим языком у них был идиш со дня свадьбы.
Все слова на идиш они выговаривали четко.
Дед работал на джутовке начальником переплетного цеха,
по вечерам он читал бабушке Юлиана Тувима.
Дед не стремился к богатству,
дед не стремился к успеху
и никогда не был ангелом и херувимом.
У деда Бориса и бабушки Цили две дочки,
они приглашают друзей и под патефон танцуют.
Пишут в дневниках непутевые строчки,
смеются и очень часто рискуют.
Дед никогда не произносит фамилии Троцкого,
но и Сталина он никогда не превозносит.
Он уверен, что в жизни много уродского,
но как прекрасна ранняя осень.
В 41-м дед записывается в ополчение.
Бабушка плачет. Бабушка его не отпускает.
Дед вырывается. Над его головой свечение.
Бабушка его целует и ладонью лицо ласкает.
Грохот артиллерии. Шквал бомб и снарядов.
Дедушка в окопе по фрицам стреляет.
Смерть с косою находится совсем рядом.
Дедушке порой воздуха не хватает.

Бабушка с дочерьми оказывается в Ташкенте.
Дедушка ранен, он их находит.
Яркое солнце над Ташкентом светит,
спелая луна ночами по крышам бродит.
Дедушка снова воюет, бабушка плачет.
Моей маме и тете совсем не весело.
Они уже знают, что многие их родственники
стали пеплом. Они плачут и плачут.
Дедушка умер в пятьдесят третьем,
он пережил Сталина на четыре дня.
Плакали капли дождя на рассвете
вместо меня.
Я был слишком маленьким...

*

Мой родственник Соломон Фриман любил шипучие вина
и еще рассказы о женщинах, они бросали его постоянно.
Я понимал этих женщин – Соломон был слишком разговорчив,
остановить его было невозможно, я быстро сдался.
Он был маленьким и толстым, мечтал о высоких красотках,
вечно ругался со своей второй женой Дусей.
У него тогда была великолепная бородка,
и в глазах его совсем не было грусти.
Он цеплялся к женщинам, как пиявка,
он пел арии из опер, безбожно фальшивя.
У него была воображаемая любовница Славка,
она была замужней, но по субботам грешила.
Соломон упивался рассказами о высокой леди,
бывшей баскетболистке, под два метра.
Этой воображаемой Славкой он долго бредил,
хотя она состояла из облаков и ветра.
Он говорил: она – гойка, но это я ей прощаю,
она всегда бесподобна в постели.
И после каждой любовной сцены я ее угощаю
шоколадными конфетами, я при деле.
Из него получился бы замечательный сатирик,
он умел смеяться над собой и судьбою.

Мне всегда казалось, что он – прирожденный лирик,
но он ничего не записывал – просто трепался.
Потом он уехал в Австралию с противной Дусей,
оставив мне воспоминания о милой Славке,
которая на него продолжала дуться
и часами в парке сидеть на лавке.
Он просил ей позвонить, но забыл мне оставить
номер ее телефона, только сказал, что она в Одессе.
Я не получил ни одного письма от Соломона,
значит, ему хорошо. Остальное – неважно.
Но мне до сих пор не хватает его рассказов о Славке...

*

Мой дядя Наум собирал телевизоры и был хасидом.
Он радовался жизни и своим женам, трем сразу.
С двумя он развелся, а третья его пилила,
говорила, что зря за него вышла замуж.
Она была тонкой и высокой, кричала, как птица,
но потом целовала дядю Наума, просила прощенья,
говорила, что только его любит – и точка.
Дядя Наум приходил к своей сестре Циле
по воскресеньям, они вишневую пили наливку
и вспоминали Балту. Им нравились воспоминания.
Дядя Наум был маленьким, но шустрым. Он носился
по Одессе, как солнечный зайчик. Чинил телевизоры
и радиоприемники, а еще утюги и настольные лампы.
Он читал Менделе Сфорима. Всю жизнь только одну книгу.
И ходил к хасидскому ребе за утешеньем, а потом
навещал двух своих первых жен и вместе с ними плакал
над загубленной жизнью. И приносил подарки
своей жене и сестре – моей бабушке Циле.
На дни рождения дяди Наума собирались все родственники.
Три жены сидели рядышком. Все ели и пили.
И говорили, что хорошо жить в Одессе.
А потом тетя Роза уехала к кенгуру, дядя Леня в Нью-Йорк,
тетя Ида в Оттаву. И у меня почти никого не осталось в Одессе.

*

Мой прадед Барух Клигман учился в Венском университете
на философском факультете, его назвали в честь Спинозы.
Был он юн и строен, и мудр, и светел,
знал, что существуют на свете дождинки-слезы.
Он выступал за всеобщее братство,
за вечное на планете лето.
Его не любило университетское начальство,
исключило из университета с волчьим билетом.
Его выгнали из Австрии. Он написал: жизнь – как речка,
всякий раз меняющая свое течение.
Он оказался в забытом богом местечке,
но оно, как ему показалось, имеет свечение.
Он женился на моей прабабушке. Копался в огороде.
Родились две дочки. Местечко набило оскомину.
Дедушка уехал в Париж. Там до сих пор бродит
тень его, повторяющая, как заклинание: хочу на родину!
Там он снова женился на добропорядочной Саре,
учился заново, стал раввином отменным.
Он записал в тетради: каждый сам себе барин.
После строчки: сегодня долго бродил над Сенной.
Мой прадед Барух Клигман был подрублен войною,
он не вернулся из гетто. Никто из семьи не выжил.
Он что-то писал в тетради перед каждой зарею,
но та тетрадь пропала – растворилась в Париже.
Он был хорошим раввином, строгим и мудрым,
у него от двух жен было пятеро нежных дочек.
Троим из них он часто покупал книги и куклы,
и каждой из них посвящал по пятнадцать строчек.
Он помогал сирым, больным и увечным,
голос его никогда не срывался в гневе.
Он размышлял постоянно, что значит *вечность*,
как к ней относятся Юг, Восток, Запад и Север.
Он бродил по Парижу, читая Гюго и Верлена,
он не знал, что я напишу о нем стихотворение.
Горькое стихотворение, как убитое еврейское местечко,
оплаканное ветрами, дождями, длинной метелью.

*

Дядя мой Мойша Грубер имел четырех детей,
он работал грузчиком в мебельном магазине.
Мне кажется, что не было его добрей и светлей,
а он любил небо и воздух прозрачно-синий.
Он повторял часто: евреи всегда на добро
отвечают добром, улыбаются солнцу и ветру.
Он не копил золото и серебро,
а только осень, зиму, весну и лето.
Ходил в старенькой шляпе осенью и зимой,
покупал детям халву, шоколадки, конфеты.
Ишачил в две смены, но, приходя домой,
обязательно просматривал «Литгазету».
Никого не поучал, ни на кого не серчал,
любил тетю Розу, дарил ей цветы и вздохи.
Читал книги по истории. Порой ворчал,
что простым людям всегда достаются крохи.
Он не ходил в синагогу. Любой музей
обходил стороной, смеялся басом.
Выводил в выходные на прогулку детей,
придумав для них волшебника Делабаса.
Делабас был славным. Любил котов и мышей,
собирал почтовые марки и монеты.
Делабас был загадочен, как Кощей,
переплывающий брассом речку Лету.
Дети говорили: рассказы твои класс,
и прогулки с тобою на пятерку с плюсом.
А Мойша Кригман про себя думал: стараюсь для вас,
и неимоверно раздувал свое пузо.
Дети стали большими. Один из них врач,
второй – коммерсант, две дочери – авантюристки.
И уже внуку Мойша Грубер твердит: не плачь –
волшебник Делабас от нас совсем близко.
Он из бумаги делает бороду и усы,
надевает старый сюртук и неимоверные брюки.
На губах его играет улыбка лисы,
когда он танцует танец буги-вуги.

Внук хлопает в ладошки. Плюшевый медведь
ухмыляется. Гасится свет, загораются свечи.
На любой вопрос малыша у Мойши найдется ответ.
…Сейчас вечер.

*

Моя мама Рая любила папу Иосифа.
Ее присутствие поднимало его настроение.
Папа был старше мамы на восемь лет.
Он спрашивал:
– Неужели не знаешь, как ты прекрасна?
– Повтори свой вопрос, – просила мама.
Иногда они целовались на одесских улицах,
но пытались скрыть свои поцелуи.
Папа воевал три страшных года.
– Хорошо, что я тебя тогда не знала, –
говорила моя молоденькая мама.
Она звонко смеялась и учила
папу танцевать вальс,
но у него не получалось.
– Ты совсем не стараешься, –
с упреком говорила мама.
Папа уходил на балкон,
иногда вместе со мною.
– Что вы там делаете? –
спрашивала моя красивая мама.
– Слушаем голоса деревьев.
Одесса залечивала свои военные раны.
Мама улыбалась папе,
а он посылал ей ответную улыбку
и говорил мне:
– Как твоя мама прекрасна!
А я ему верил.

Вера Зубарева

«Между Омегой, Альфой и Одессой…»

* * *

Жемчужина у моря…

Где обитает тихий ветер,
И сны встречаются тайком,
Где жизнь рифмуется со смертью,
Пчела рифмуется с цветком,
Звезда – с душой, и перекресток –
Со сретеньем календарей,
Где дома солнечная блестка,
И роза пенится морей,
Где шторм взбивает их перины,
Там Город в створке – притча притч.
Срифмованы судьбою с ним мы,
И даже в лютую годину
Нас не удастся разлучить.

* * *

Помнишь, луна над трубою светила?
Помнишь, домой загоняли всех силой
В самый разгар болтовни, беготни?
Помнишь, куда улетели те дни?
Как же не помнить!
Помню, конечно, –
В темный скворечник
На ветке черешни,
Что пустовал по весне без скворца.

В нем только ветер гудел без конца.
Помню и лето, и все эти сказки,
Темное море в лунной окраске.
Кто-то кого-то звал из окна.
Все разошлись… Я осталась одна –
Где-то уже на другом побережье,
С новою жизнью, с памятью прежней.
Будто скворец, что тогда улетел.
Будто скворечник, что все еще цел.

* * *

Какой там сон,
Когда стихи идут,
Спешат, торопят, не дают отсрочки!
Отрезанный ломоть –
Все там, я тут.
Прорвало дамбу –
Строчки, строчки, строчки.

Идут стихи, а может, не стихи,
А может, звезды падают в копилку,
А может, рыб роятся косяки –
Тех, что у Бога только на посылках.

Рожденные в созвездье рыбарей,
Они несутся из морей небесных,
А я ловлю их из своих морей
Между Омегой, Альфой и Одессой.

* * *

Здесь никто ничего не помнит,
Здесь две улицы, пляжи и порт.
Этот город как на ладони.
Этот город – город-курорт.

И цветут его рестораны,
И на дачах до ночи фуршет.
Этот город всем по карману.
Этот город всем по душе.

У него на лице улыбка,
И в театрах его аншлаг,
В кошельке золотая рыбка,
И шаланды, полные благ.

Черный ворон ему не помеха,
Серый волк ему не беда.
И история – кладезь смеха.
Он смеется последним всегда.

Он и в смуту глядит эмиром,
В нем дворы звенят детворой,
В нем справляют свадьбы всем миром.
Этот Город – город-герой.

* * *

Жаль дом – смесь красоты и ада.
Душа его – небесной высоты.
И в памяти – как он дышал на ладан,
Когда настали времена разлада,
И он шептал прощальное «прости».
Каким его люблю, таким и помню.
Былому – ни возврата, ни помех.
Оно само взберется по балкону,
Которого, как дома, больше нет.
Дом-шулер, дом-обманщик, дом-притворщик,
Дом-лицедей, дом-лицемер и проч.
В нем розыгрыш взрывоопасной мощи,
И от него отскакивает ночь.

Коварный дом, коварней всех злодеев.
Он знает, как приснится в этот час,
Когда угрюмы тени от деревьев,
И что-то в них незримое от нас.
А он между стволов печальных брезжит,
И двери нараспашку, стол накрыт…
И там подстерегает ад кромешный
Объятий и молчания навзрыд.

Памяти одесских домов

Вот пал еще один… Как будто бы сапер
На минном поле жизни подорвался.
Сорвавшись с тонкой ветки, через двор
Несется похоронка в ритме вальса.
Клубится пыль, где он успел осесть,
Еще не понимая, что случилось,
И дерево оплакивает весть.
Оно навек с балконом разлучилось.
Кружат эпохи в солнечной пыли,
В ней, колыхаясь, образ дома дышит.
Он плотью был из судеб, из земли,
А ныне светом носится неслышно.
Гудят сирены. Все, как на войне –
Носилки, журналисты-почтальоны…
А он плывет, плывет себе над ней,
В граните лет навек запечатленный.
И смотрит, как сквозит его душа,
Где пыль земная в медленном балете
Несет его останки не спеша,
Художник в засмальцованном берете.
Трещат ступени, связи, вспышки лиц
В альбомах, разлетевшихся на ветки.
Пал занавес стены, и мир кулис
Открыл все то, чем живы человеки.
И дом летит ко всем чертям, в костре

Грехов и не оправданных усилий,
Но верит люд в спасенье на холсте
Под кистью долгожданного мессии.

* * *

…А за полночь, когда пустеют пляжи,
Латает мостовые Дерибас,
Дома-дворяне высятся на страже
Истории, отправленной в запас.
Как рыцари без страха и упрека,
Былые знаменуют времена,
И смотрит осажденная эпоха
Из каждого заветного окна.
А завтра снова – пекло, звон трамваев,
Пес у лотка, мальчишки из двора
На великах выкатывают стаей.
Идут часы. Мороженое тает
И капает, вливаясь во вчера,
В страну молочной радости и света
Нечитаного Ветхого Завета,
Куда бежали все – и стар и мал,
Где до сих пор обещано все это –
Ведь прошлое никто не отменял.
И тем оно прекрасно, как страница,
К которой в предрассветный час прильнем,
Чтоб знать: былое хоть не повторится,
Но не умрет, коль будущее – в нем.

* * *

У берега другого знать, что там,
Где ходят сны за ночью по пятам,
Рисуют легковесные наброски,
И снится переулкам и дворам
Из пепла возрожденный Город-храм
Со свитком вод и звонарем в матроске.

Роятся чайки, и со всех сторон
Струится звон из колокольных волн,
И чудо-рыба отливает солнцем,
Привозом акварельным всех времен,
И управляет щедрый царь Гвидон,
И царь Салтан на всех парах несется.

И много, много разных дивных див,
И у волны морской там свой порыв,
Диапазон такой – что всем на зависть,
Когда выводит из глубин мотив
И переходит на речитатив,
Из раковин на сушу проливаясь.

А на асфальте вмятины от лет
Акации усеял белый цвет,
И мимо дома шествует прохожий.
Его уж нет. И дома тоже нет.
Но я смотрю, смотрю, смотрю им вслед
У берега другого… Или нет –
Все у того же.

* * *

Снится Город в дожде.
Снится Город в ветрах.
Отраженье в воде
Разбивается в прах.
Снится Город-туман,
Снится Город-фантом,
Хлещет море из ран,
И рассыпался дом.
Мне его не спасти.
Мне ему не помочь.
Я иду к нему каждую чертову ночь.
И врезаюсь во мглу,
И стою на ветру,

И зову.
И сама рассыпаюсь к утру.

* * *

Улица в заре вечерней,
Мягкий свет на куполах.
Собираются к вечерне
Тени в кронах и стволах.
Тропка к морю в виде змейки,
Как лазейка от невзгод.
Спит газета на скамейке
И в обнимку с нею кот.
Скомкан ветром мир бумажный.
Проступают из вчера
Старый дом многоэтажный,
Запах моря, тишь двора,
Думы, жизнь на переправе…
И уже на грани сна –
Силуэт семьи в оправе
Драгоценного окна.

* * *

Да здравствует Город,
В котором есть дворики,
Чьи стены на ощупь,
Как раковин створки,
Где окна, и двери, и жизнь – нараспашку.
(Не та, что, как зебра, а та, как тельняшка.)
Да здравствует Город,
Всевышним отмеченный,
Да здравствует Город
И утром, и вечером,
И темною ночью,
И звездною ночью,
Да здравствует Город –

Любви средоточье,
Хранитель истории,
Вкусных рецептов,
Дворов со всемирно известным акцентом,
С накрытым столом
Для друзей и соседей,
С лозой над тарелками
Жоры и Феди,
Чьи тосты от сердца,
Без ложной риторики.
Да здравствует Город,
В котором есть дворики!

США

Анна Стреминская

Мы держим шар земной в руках

* * *

Стаи жар-птиц полетели уже над домами,
коль перелетов настало тревожное время.
Только оставлены стаи совсем вожаками –
мечутся птицы, как в панике дикое племя!
Падают мертвыми – их заметает метлою
строгий сосед наш Василий, куря папиросу…
И наметает холмы золотые порою,
и поджигает, мешая поэзию с прозой.
Дым погребальных костров поднимается в небо.
Запах осенних цветов так же резок и горек…
Смотрит на это прохожий, и кто бы он ни был,
в душе у него разливается серое море.
Над куполами соборов – черные клинья
движутся четко, и так повелось изначально:
черные птицы – на юг золотистый и синий.
Желтые птицы – в костры от слепого отчаянья!

* * *

Мы держим шар земной в руках – мы это знаем!
Да что нам тот Китай? – Давай его сломаем!
Демьянова Ухань накормит всех по горло
да так, чтобы совсем «в зобу дыханье сперло».

Италия нежна, и март рядится маем…
Италия – цветок, давай его сломаем!

Что нам, хозяевам, Россини с Бруннелески?
Певучая Италия, задерни занавески!

Всего нужнее страх в глазах больших и узких
и паника в умах: испанских, польских, русских…
Как хрупок шар земной – как шарики для елки.
Коль хрустнет – что виной? Мы соберем осколки!

* * *

Нам отомстила Земля за поруганье и скверну,
рыбы нам отомстили, забитое пластиком море.
Воды речные нас прокляли наверно…
Что же еще нас ожидает вскоре?

Живая Земля застонала от паразитов,
зашевелились на голове у нее деревья.
Ветры земные восстали, на нас сердиты.
И исполняются пророчества и поверья.

Сходит с ума отравленная природа,
молит Создателя: «Останови заводы!
Звездою Полынью отравлены здешние воды,
странами правят преступники и уроды».

Люди теперь забились от страха в норы,
пойманы в сеть, сплетенную ими самими.
Каждый отслежен за личным своим забором
и позабыл, что значит Богом данное имя.

* * *

Они поют на балконах,
они на балконах танцуют.
Они остаются дома,
но дома им тесно…
Они готовят спагетти,
они любят друг друга.

При встрече в аптеке
они желают расцеловаться,
но вовремя вспоминают,
что на них защитная маска.
Помилуй их, Господи!

Их старики убегают в лес,
чтобы играть в карты.
Их молодежь убегает на пляж,
чтобы играть в пинг-понг!
А мэры их городов устали всех
материть,
а их собаки устали
выгуливать своих хозяев.
Помилуй их, Господи!

Они беспечны как дети,
и в мире народа нет
веселей и живее,
общительней и певучей.
От вида пустого Рима
становится страшно жить.
От вида пустой Флоренции
не становится лучше.
Помилуй их, Господи!

Помилуй, Господи,
Италию и Испанию,
Россию и Украину,
Америку и Китай!
Помилуй, Господи,
все живое, что родилось
на этой планете.
Ибо что родилось,
имеет право на жизнь:
от младенца и до министра,
от муравья до кита!

* * *

На Большой Арнаутской сапожник сидел – дядя Сеня.
Поэт Игорь Павлов меня привел в мастерскую
и сказал: «Дядя Сеня поэзию любит: Есенина,
Блока, Пушкина, но и нынешних милует всуе.

«Читай стихи! – сказал мне, кивнув,
сапожник. –
если понравится, я обувь чиню бесплатно!»
Я присела на стул и скинула босоножки,
и читала ему стихи, что нравились, вероятно…

Я читала, а Сеня стучал потихоньку,
вбивая слова молотком в каблуки и подметки.
«Читай еще!» – он повторял монотонно
и закончил работу ловко и четко.

«Ты читаешь стихи, как будто молишься, – он мне сказал –
Поэтесса – что с нее взять!» – вынес вердикт сурово.
«Вот стихи настоящие: жизнь это лишь вокзал», –
и прочитал стихотворение Кочеткова.

Мы уходили с Павловым, я цокала
каблучками –
как будто мы побывали в лучшей из всех Одесс…
И казалось, что рядом шли подбитые лишь словами
ботинки поэтов, цокали каблучки поэтесс.

Стекло

И у меня в этом мире была свадьба.
За несколько дней до нее стекло разбилось в серванте.
Может, и был в нашей семье лад бы,
но муж оказался взрывной, как испанские гранды.

Впрочем, он сам из испанских детей и часто
рассказывал, что отца и мать расстреляли
после войны в Москве. Говорил он страстно
и сжимал кулаки, вспоминая все до деталей.

«Я вырос в семье полковника КГБ, –
говорил он,
– меня приучили стирать, убирать, мыть посуду.
В шестнадцать лет из дома меня удалили,
мне рассказали: кто я, зачем и откуда.

И с тех пор я выживал так неумело…
Бог меня выпустил в мир для мук неизменных».
Я его слушала, и у меня то и дело
возникала мысль, что мы из разных вселенных.

А когда он сердился, глаза его так мутнели,
что были похожи на тину долгими днями…
И звон стекла мне слышался еле-еле,
как будто битые стекла сыпались между нами.

Каждый носил судьбу – стеклянный сосудик,
пытаясь ее оградить от горя руками.
Но пришла разлука и распорядилась нами.
Битые стекла судеб, битые стекла судеб…

* * *

Все, кто владеет словом, имеют запас оружия.
У кого-то это хлопушки, у кого-то петарды.
Кто-то строчит, как из пулемета, –
не знаю этого хуже я!
Кто-то на танке едет, и редко ему где рады.
Слова удар посильней, чем кастетом.
Стрелы словес попадают в цель,
даже когда о любви жарким летом

поет пропыленный менестрель.
Бывают, правда, слова-пирожные,
с розочками из крема, с цукатами,
с цианистым калием, осторожные,
и ни в чем, пожалуй, не виноватые.
Входит в сердце или под кожу
иголка слова, горечь излив.
Слово, холодное, будто ножик,
слово, горячее, будто взрыв!

* * *

Знаешь, на моей планете сияет море
ярким полднем, все в дымке голубоватой…
И сияет небо, и ангелы спелись в хоре
средь облаков, а внизу голосят ребята.

На моей планете на берегу маслины,
а под маслинами столики, сок и пиво.
Растекается сок, разлитый на столике синем…
Оранжевое на синем – это красиво!

Знаешь, на моей планете людей убивают
другие люди – за гордость и силу слова.
За то, что те непокорны и им не хватает
свободы – слова с привкусом крови!

На моей Земле забредает любовь нередко,
как юродивая, в дома, и часто гонима.
Но прекрасны на старых картинах улыбки предков,
и прекрасная музыка льется, неповторима…

На моей планете бомбы падают с воем,
и содрогается шар земной: от воды до тверди.
Что же здесь происходит, и что решают войною?
На этой прекрасной, ужасной, ужасно прекрасной,
прекрасноужасной моей планете…

Франц

Плакал он, плакал… Он говорил: «Мне не нужна война,
война нужна только Гитлеру, а я хочу к своей фрау!
Она красива и такая хозяйка она…
У нас молочная ферма. Так какое имел он право?!!»
Он обращался к моей прабабке: «Мутер, кальт!* А я не здоров».
Она отвечала ему трехэтажным матом.
Ее дочка переводила: «Мутер сказала, что у нас нету дров!»
Он говорил: «Дрова у вас будут – это слово солдата!»
Через полчаса он вернулся с телеграфным столбом, в грязи.
Он распилил его на кусочки, и дров хватило на зиму.
А еще он катал на санках и называл Зизи
девочку с локонами, мою юную бабушку Зину.
– Гитлер капут! – кричали они вдвоем.
– Гитлер капут! – кричали товарищи Франца.
Смеясь о чем-то на языке своем,
они все любили на санках кататься.
На Рождество Франц получал посылки
из дома: пряники и печенье, сгущенное молоко.
Он делился с моей прабабкой, излишне пылкой:
она принимала гостинцы, посылая его далеко.
Франца с товарищами перевели на восток.
И никто не узнал, встретился ль он со своей доброй фрау.
Но запомнили все, как он плакал и говорил: «Мой Бог,
Кто дал ему, кто дал ему это право?!!»

* «Мутер, кальт!» – «Мама, холодно!» (нем.).

Алла Марголина

Из сожженной рукописи

Персидская миниатюра

Густые, как насурьмленные брови
и угольные длинные глаза.
Грузинская речная бирюза
безропотно ложится в изголовье.
  И в храмовом молчанье липы лист,
  чуть слышно всхлипнув, падает на шею,
  где жилка бьется истово, и triste
  тебе сказав, я снова онемею.
Грусть вечера, и Грузия, и мы
лицом похожи, осень в изголовье.
Персидские изогнутые брови
и примесь архаической сурьмы
                в печали…

Твалеби (глаза)

Твоих угрюмых глаз притушенный огонь
и темный бархат,
исконная сквозящая в ресницах боль
и скованная яркость.

В ладони крепкой глиняный кувшин
с истоков родниковою водой
и глиняная смуглость у морщин,
бегущих к смеху глаз на водопой.

* * *

Я сижу в чужой квартире.
Пусто. Вечер. Я одна.
Ухищренья быта вечны,
но и я себе верна.

Вечер холоден. Огни
голубые холодны
фонарей, и, чужд примет,
рядом бродит нежный Фет.

Я все чаще вспоминаю
камни, улицу одну:
вместе мы по ней спускались –
не подняться одному.

* * *

В моих странствиях снится мне дом,
Где всегда говорят не о том,
Где найду себе место едва ли,
Где и ждали меня, и – не ждали.
И язык мне как будто знаком –
Только вот не припомню, откуда.
Но проникнусь строкой – и, о чудо –
Говорю, но совсем не о том.
Может быть, это вовсе не я,
Но кругом обступили друзья.
Мне предъявлен стихов моих том –
А слова – не о том, не о том.
Там обид моих перечень полный,
Ласка, море, дремотные волны…
Только-то? Это жизни цензура
Обернулась пустыней цезуры.
Но за что, ради Бога, за что?

США

Инна Квасивка

Во времена года

Одичала природа

Так холодно, что хочется в постель
средь бела дня. В сугробах одеяла
укрылся май. И лету не поспеть,
как небу с теплой мякотью в начале
черешневого утра. Одичала
природа, надоедливой осой
об окна бьется. Злобная, постой!
Яви покой и жалость вместо жала.

Так солнечно, что кроны тополей,
никем не коронованных, по-царски –
в серебряном свечении, и блеск
лучей на листьях ярче, чем на цацках.
Нелепо и смешно зубами клацать,
пока вовсю беснуется весна,
но ей ли, неприкаянной, не знать,
что солнцу на ветвях не удержаться?

Когда во всей округе ни души
(так прячутся от пекла перед ливнем),
хранитель рук, заложник ног, дыши,
квартирный бог, дыши неторопливо
больной весной в тисках оконных линий
и время одиночеству отмерь:
я так же, как невидимая смерть,
за масками высматриваю лица.

С опасливостью птицы кто-нибудь,
быть может, подойдет ко мне и даже
со мной разделит радость на беду
обоим нам – и нас обоймой свяжет
весна.
Весна! Не выстрелив однажды,
дай ощутить, что рядом человек,
что я жива, что твой осиный век
осечкой не оправдан, но изглажен.

Зима и чайка

Холодный берег голодно кричит,
у водной кромки густо оперившись,
не чайка замирает на перилах
пустого пирса, словно за крючки
дурных воспоминаний зацепилась,
но ты; искала море – и мерило
людского сожаления нашла.

За свежий мякиш вольные на шаг
стремительней становятся и ближе,
так пылко волны птицам лапки лижут,
что кажется, и буря здесь нежна,
и мертвые медузы больше слизи,
и я себя чуть меньше ненавижу
за то, что ты отчаянно бела.

Загаданная вьюга не сбылась,
но вместо снежных – птичьи карусели
вокруг меня замкнулись и взлетели
к огню, где поднимаются хлеба
горячих облаков и карамелью
стекает солнце; милая, смелее –
давай вкушать с насущным и рассвет!

Да не нарушит мрачная завет
воды со светом в явной благодати
первоначальных таинств, не загладит
свою вину и волны льдом, а ведь
морозы ей ко времени и к стати,
но заклинаю небом: Бога ради –
не кисни, будто южная зима!

Пусть море чайкам служит, как слезам
служила ты, – давая плеск и волю,
пусть берег слышит нас, когда мы молим
вполголоса о помощи, слизав
песчинки с мокрых губ и привкус соли,
и воскресает шторм – не все равно ли
неверящим в спасительный покой?

Не искупить уныние скупой
улыбкой февралю, невыносимо
смотреть на птиц, платящих серым зимам
за крошки белой роскошью, какой
и в первом снеге нет; пока по силам
тебе дышать, бескрылая, во имя
моей зимы прошу: еще живи.

Здесь и сейчас

Здесь и сейчас каждый праздный почти поэт,
всякому богомолу своя невеста,
новым паяцем распит мой Господь, распет,
дитятком не судим – на груди повесят.

От Рождества до Пасхи и даже после
день уступает ночи, как Петр апостол,
солнце, с крюка срываясь, уходит в муках
и воскресает – только протянешь руку.

Здесь и сейчас я не славлю ничьих побед,
в жертву которым – зуб или око, снова
вместо Саула за попранный им обет
волей-неволей платят сыны Иова.

От синагог до храмов многоголосых
братьев земля прощает, как сам Иосиф,
нищие духом кротко ложатся в ямы –
и обретают царство над облаками.

Здесь и сейчас не под лавкой, так под скамьей,
волхв получает дар без Христовой меры,
не оттого ли ты, сжавшееся комком,
иглы топорщишь, веруешь и не веришь?

От искушенных миром – жрецы – до смирных
жаждут священной власти, как идол Симон,
крыльями мантий черные херувимы
губят чистосердечных, да не судимы.

Здесь и сейчас я –
всего лишь недопоэт,
слабое эхо вердиктов «ни да, ни нет»,
тонкая кожа для камуфляжных ножен,
ноль, пустота – напрасно делить и множить.
Бремя посильно ли?
Время уходит прочь,
все, чего я не могу и чего не смочь, –
Ты за меня, Господь, сотворишь и сможешь.

Эвелина Шац – Татьяна Грауз

Диалог поэтов

Голос тишины

«Такая грусть бывает в сентябре», – думалось, когда читала книгу поэзии Татьяны Грауз. Но грусть эта светлая. Татьяна вопрошает тишину, открывая этический горизонт, *orizzonte etico*. Неожиданно за человеческой хрупкостью – *miraculum,* чудо не просто вещей и деталей, а чудо услышанной! красоты.

Татьяна Грауз тонкий поэт и неординарный глубокий эссеист, и, как будто этого мало, еще и достойный художник. Чтоб убедиться в этом, достаточно полистать необычную и просто красивую книгу «Внутри тишины» издательства «Союз Дизайн» с коллажами поэта-художника. Побольше бы таких книг. Читателей бы стало наверняка больше.

Голос поэта узнаваем. Манит тебя в лабиринт строчек *на-час-на-два,* на вечность, туда, где она возвращается в себя (помните *взгляд в себя* Хлебникова?), именно туда, где она возвращается в себя, то есть в тишину, которую поет. У нее мягкий доверительный голос, тем не менее она, подобно древним грекам, понимает, что страдание суть познание. Цветущие колокола тишины, жизнь так проста, не кричи! обращается она к любимому мной Паулю Целану.

В неясном свете, в парке, так много света, сияния и дождь останавливает свой бег, прекращает дождить в том будущем, где *все еще до и все после*.

Выйду на улицу пятилетней… Многое Татьяна ощущает или заново переживает, как в детстве. Детство ниточкой тянется через ее ощущения, чувство, память. Но вот оно кончилось. Его расстреляли, *сплошные осколки, израненный свет*.

Неделимое. Легкая, порой серебристая паутина грусти окутала сердце и дни поэта, в которых и нам удается побывать прошеными гостями.

Иногда и вовсе непрошеными, нарушая законы тишины. Эта тишина временами затянута или завешена огромной темнотой, пусть и прозрачной, но эта прозрачность не усмиряет тревогу поэта и его читателей. Да… это тревожная поэзия. (У Тани боль – цветок, у меня – гул, о, как вынослива Грауз-поэт.) А печаль вдруг оказывается именно птичьей.

Хотя голос тих и мягок. Он как-то более тих и даже застенчив, находясь в поле притяжения Геннадия Айги. А счастье ее трудное, но светлое и взволнованное. Что-то в нем есть определенно родственное Айги – не по внешней форме, а по внутреннему устройству. Она обращается к Айги с песней о поле, где *время между древесных стволов сжалось / как жалость к другому*… Снеги. Айгишная тема. Снег серый или белый,

как снег *неизмеримого морозного вечного*. Морозные сны, а темнота становится ожесточенной, когда укладывает поэта в жесткий жестокий снег. Над ним – обелиск молчания. Тем не менее, несмотря на снежные и полевые связи, Татьяна Грауз поэт уникальный, исключительный.

Так, например, неожиданно остро звучит на импрессионистическом фоне поэзии Грауз любовная лирика. Образ любви возникает неожиданно сильно. *И дела мне нет, что будут о нас говорить,* она станет тополем высоким, готова сгореть с любимым от одной-единственной спички, *без тебя – воздух ночной будто пепел*. И вдруг тишина стала визуально осязаемой. Исчез поэтический голос автора.

……

Но вслед за этим тотальным молчанием в темноте зажигается кинолента. Мелькают кадры в стихе *Возвращаясь*. Что-то от киноряда Тарковского, у которого тоже хлябь, дождь, вода, свет. Но и свое кино: и к реке босиком, и вода разных красок и звуков, *и небо невозвратимо звенит*. И *легкий пепел счастья*. И неожиданно Хлебникову: *а там, где ты как я бываешь счастлив*. Там *степь = саван сон самозабвенье*.

Да, слоги и слова слипаются там, где *мы существуем без нас*. Пробелы выдавили их из строчек, которые склеиваются над головой любовников. Слипаясь в единое слово *очемтымолчишь*, ведет их в *нашевчера, в иные совсем города*. Поэт-провидец, она описывает наш сегодняшний город, каменный мешок, где лица без лиц. Город теряет свое лицо. Но мы знаем, у нее – совсем иные *города*.

И *время* у Татьяны Грауз иное. Оно осталось в стороне. Вот в пустом дребезжащем трамвае – время колодезное… Оно течет через парки-призраки до смертельного края. Мечтая о солнце. Оставляя за собой город стылый, холодный. Он не принадлежит поэту. Поэт отрекается от него. Как птицы из темноты, мелькают могилы поминальными строчками. А время? Время затвердело, как кристалл.

Порой бесчувственное небо, а порой проточный свет и… блеснула надежда. Ай, нет! *Когда меня вовсе не будет*… сухая потрескавшаяся земля, и над всем – жалостливый свет. Травы и облака, и тонкая всепроникающая грусть. Такая грусть бывает в сентябре, и жалобный свет над всем.

мы живем-бытуем / как ландыши / уже не существующие / здесь.

мы будто камни и мхи
близко подходим
к темному небу причин

Земля Татьяны Грауз живая. Люди – камни или мхи. Из них проистекают слова, твердое она ощущает как влагу. Дерево жизни – твердое. И так сквозь боль и особый ужас тишины мы с поэтом дозреваем до *свободного неба*.

Эвелина Шац

Милан – Москва

Татьяна Грауз

Внутри тишины

Поляна пробуждения

в книге
раскрытой на третьей странице – соцветье акации

(перелистываем)

и по цепочке слов по узкой тропинке
ступаем на прежде неузнанную эту поляну

там заснувшие где-то не там города
в ельнике паутинном там бродит утро
на стебле травы пробуждается взгляд
кувшинами легкими стоят облака
и будто в комнате дальней тикают ходики жизни
и никнет к земле земляника

когда мы
по этим проторенным кириллицей тропам
по этим озерам
на берег другой попадем

там – что-то иное

Послушай

морозные закаты декабря
собачий холод вечер вьюга
коленок зябнущих тупое онеменье
огни-огни-огни-огни-огни
и атриума ад многоэтажный
сквозь хор заснеженных деревьев

а дальше – так легко – как будто
послушай кто-то шепчет прямо в сердце
озябшие седые воробьи
передают друг другу весть благую

Неутомимо

дежурный-огонек-сестра
как обезболить день в палате душно
до дыр зачитан «Заводной Orange»
соседка справа спит после наркоза
лицо узбечки-бабочки-смуглянки
коленка оголилась свет на коже –
холодный молодильный зимний свет

а я лежу успения не зная
и дух захватывает от прозрачной сини
над ржавой крышей облако сияет
неутомимо строит дом – подвижный легкий

Элегия февраля

«бедная, – мне говорили, –
ты проведешь свою жизнь в нищете

и добра не накопишь,
и слов не найдешь, чтоб о любви рассказать,
и будешь ходить, горевать,
что хлеб – только хлеб, и хотят только хлеба».

а снег все идет
и сердце стучит в темноте
о милости просит

вот она – драгоценная милость
яблоня в окружении зимних небес

О бессердечном свете и разбуженном цветке

художнику Владимиру Яковлеву

прозрачен и невзрачен человек
в нем состраданья гулкий ветер
и даль и серо-голубое небо
спокойный нелюдимый воздух
и одинокий крик цветка тревожный

Кукушечки летят

как быстро дни-кукушечки летят
над стылым городом холодным
когда гудят от заморозков звезды
и счастье зыбкое по швам легко трещит

Недолгое

когда мы забудем
забудемся
и как наледь сорвемся в пустой
оживающий к вечеру город
где балки балконы и даже белье от мороза железно
и улицы густо синеют на теневой стороне

когда мы все это забудем (забудемся) и озаримся покоем
может мы снова полюбим
легкое дыхание слов
и недолгую – ранящую – безысходную жизнь

Ветка сирени

среди пустырей – озеро заболоченное
узкая дамба камыш
домики с плоскими крышами
запах сирени весной
в окна настежь открытые
звук самолета в мутном небе степном

когда меня вовсе не будет
останутся эти пыльные далекие вязы
сухая потрескавшаяся земля
и ветка сирени
в стакане прозрачном невозвратимого детства

Над прошлогодней травой

в увеличительной линзе – вербное воскресенье
дети траву прошлогоднюю поджигают
а над ними стоят как замороженные облака
и кириллицей алой застыло название кинотеатра
р о д и н а
над свежим газоном где были когда-то могилы
над омертвелой травой в кардиограмме тропинок

в воздухе сером цветет растревоженная душа

Город контроля

как обмануть
эти стальные и не моргающие
глаза

будем раскашивать лица
как небо и землю

лица наши – яркие флаги
                или пятнистые рыбы
в глубоководной воде переулков
лица – как корабли
                пришвартовавшиеся
к каменной кладке стен городских

[лица без лиц]

монтаж невозможен

свидетели: эти дома
свидетели: эти деревья
свидетели: небо и облака

выйди из облака
молчаливый свидетель

* * *

это они в переходе
усталые окаменелые
шепчут и шепчут
в прокóпченном этом туннеле
вымаливают подаянье
в скорби
с молитвой последней

это они нас провожают
это у них в их ладонях
(лимоны-лимоны-и-апельсины)
теплится все согревающий свет

* * *

день
не разрезать легкой
и даже тяжелой рукой

остаются
слова и начала вещей
и переплетения воздуха
в комнате полупустой

* * *

мы будто камни и мхи
близко подходим
к темному небу причин

Оставленные

слышишь
оставленные
в свете убогом живем

в жизнь пробиваемся
сквозь мусор и щели
в память как в тишину
пробиваемся

в сердце цветет
только камень

слышишь вложи
камень вложи в эту стену
сердце вложи слово молитвы
силу последнюю
васильки

Беззаконно

с собой и без сахара
возьму это бедное бездонное небо
и унесу беззаконно и безнаказанно
сквозь нити и сети
сквозь проволоку колючую дней

сплошные осколки израненный свет

Москва

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Первые шаги

Море талантов Украины

В 2020 году Всеукраинский литературный конкурс «Море талантов» собрал юных авторов со всей Украины и зарубежья. На конкурс было прислано более 500 работ. Профессиональное жюри выбрало лучшие произведения. Конкуренция была очень высокая. Но одесситы, представив высокий уровень литературного творчества, также вошли в число победителей. Представляем работы юных авторов.

Инна Ищук, руководитель детской секции
Одесского отделения Национального союза писателей Украины

Максим Толстиков, 13 лет, Одесса

Три тополі

Шумлять, гойдають вітами,
Три дівчини-тополі.
Стрункі, співають з вітрами,
Ростуть при нашій школі.
Зелені, в небо тягнуться,
До самих білих хмар,
Із сонцем разом бавляться,
Гойдають місяць-дар.
Доріжка тихо стелиться
До школи повз тополь,
Та дощик чи метелиця –
Незмінна їхня роль.
Тополі-берегині

Стоять на варті школи,
Від перших днів донині
Не зраджують ніколи!
Узимку – це прихисток
Знесиленим птахам,
Улітку – тінь та затишок
Засмаглим дітлахам.
Радіють разом з сонечком
Листочкам навесні,
Зеленим, першим донечкам
Праматері-землі.
А осінь позолотою
Вкриває ці листки,
З батьківською турботою
Шепоче нам казки.
Шумлять стрункі тополеньки,
Як чують вітру спів,
Бо люблять вони воленьку
І гомін дітлахів.
Було колись їх четверо,
Вишикувались в стрій…
Та з краю перше дерево
Ушкодив буревій.
Із стогоном зламалася
Тополенька струнка,
Хоч як не намагалася,
Не встояла тонка.
І впала, наче дівчина,
Розкинув руки віт.
І рана незалічена –
Уламок – горя слід –
Стояв з трьома тополями,
Що плакали дощами…
Вони, що дивом встояли,
Страждали разом з нами.
Торкаючись долонями
Їх мокрої кори,

Відчули ми самотність
І сум, що їх вже три…
Пройшло іще два роки,
Знов вересень настав.
І спів тополь високих
У школи нас вітав.
Так вирішили діти,
Батьки і вчителі,
Й тополі свої віти
У згоді підняли:
На місці, де тополя,
Що першою росла,
Наперекір злій долі,
Як тільки-но весна
Повернеться до міста,
І прилетять птахи,
Святково, урочисто
Батьки і дітлахи
Тут висадять тополю,
І поруч цілий сад!

Любовь

«А хочешь, я тебе открою двери?
В тот мир, где не случаются потери.
Туда, где в голубом небес сиянье
Лишь солнце без печали и страданий.
Там нет притворства серого тумана,
Лишь красота природы первозданной.
Там ночью звезды россыпями манят,
И ароматы чудо-трав дурманят.
Там в белой пене шумного прибоя
Зов моря, что зовет тебя с собою.
Взгляни, какое солнце – золотое,
Сияет путеводною звездою!
Искрятся брызги волн, как чистые алмазы

Над морем голубым, как из топазов.
А птицы как поют! Так чувственно и нежно…
И негою вокруг пролита безмятежность.
Там дивные цветы колышет тихо ветер…
И края нет милей на этом белом свете!
Пойдем со мной туда, оставим все печали,
Что мы оставим здесь, хорошее едва ли.
Фальшивый мир, наполненный притворством,
Болезнями и бедностью, обжорством,
Предательством, пороком и тоскою…
Давай, мой друг, идем уже со мною…»
Извечный Мефистофель пел красиво песню.
Но человек не шел, он словно ждал известий.
Все было так, как искуситель говорил…
Но человек не шел, ведь он – любил!
Кого любил? Не так уж это важно.
И вовсе не был он ни смелым, ни отважным.
Его любовь – обычная, простая,
Держала тут, вдали от ада и от рая.
Ушел ни с чем от Человека Мефистофель,
И в сумрак ночи канул его профиль.
Во все века и времена, всё вновь и вновь
Над человеком тихо властвует любовь!

Дарья Гризан, 10 лет, Одесса

Мамины объятия

Когда я в школе, то все время скучаю по маме. Я тоскую по ней. И когда я на уроках, и когда я на перемене… Я все время представляю ее лицо, голубые-голубые глаза, как небо. Мама такая красивая, умная, как Василиса Прекрасная. Вроде я расстаюсь с ней всего лишь на несколько часов, но мне так недостает ее ласки и тепла! Я люблю слушать, как она говорит, как поет. Ее голос такой нежный, звонкий и трепетный…

А когда заканчиваются уроки, она ждет меня, а я так бегу к ней! На секунду мне кажется, что я, будто бабочка, порхаю легко и радостно.

И вот же она, моя родная мамочка!

В этот момент я обнимаю ее сильно-сильно и чувствую, как часто, громко бьется ее сердце. И я знаю, какие эти объятия теплые, крепкие и сильные. Я чувствую, как слезы мои текут от любви. Поэтому и говорят, что мамины объятия – самые теплые!

Романтическое путешествие

Жила в Одессе хомячиха Бусинка, но родные называли ее просто Буся. Она много путешествовала, когда участвовала в разных соревнованиях. Буся объехала много стран: Италия, Румыния, Китай, Египет… Но никогда не была во Франции. Она мечтала побывать в Париже и увидеть Лувр, собор Парижской Богоматери, Версальский дворец, Триумфальную арку. Не зря Париж называют городом любви и романтики.

Она надеялась найти свою любовь, но никак ее не находила. Она верила, что когда-нибудь встретит настоящего хомяка: умного, доброго, толстощекого, пушистого, с таинственными большими выпуклыми глазами и, конечно, курносого. Держась за лапки, они ходили бы в кино, музей, катались бы на колесе обозрения.

Она хотела иметь большую семью. Они бы дружно жили в уютной норке, каждый день грызли много орехов, семечек. По очереди они бы бегали в колесе, гуляли в прогулочном шаре. Ложась спать вместе, они бы прижимались друг к другу, согревая своим теплом, и крепко засыпали одним пушистым клубочком.

А когда б их хомячата заснули, они бы сидели, всматриваясь в звездное небо в поисках созвездия Любви. Влюбленные смотрели бы в глаза друг другу и видели б яркий огонек любви. Он читал бы ей стихи Фета, пел романсы, дарил цветы и подарки.

Как-то раз она участвовала в турнире по фехтованию и заняла первое место. По правилам соревнований, победителю присуждается приз – поездка в Париж на воздушном шаре.

И вот она отправилась в путешествие. Шар мчал Бусю в Париж, взлетев высоко в небо. Он нес ее бережно и быстро. Она была

в восторге от своего малинового шарика. Она парила в воздухе, словно сама она шарик – свободная, легкая и круглая.

Она видела под собой моря и города, речки и озера, огромные поля, на которых работали хомячки-фермеры. Они приветливо улыбались ей и махали лапками. Она пролетала над замком Бран в Румынии, над горами в Сербии, над Пантеоном и Колизеем в Риме, Миланским собором.

Ей понравилось путешествие. Ночи были беззвездные. Луна сияла над Бусей, как сонная ясноокая царица ночи в дымке облаков. Пока летела, Бусинка слушала, как ухают совы, как выводят свои трели соловьи, которые не могут удержаться, потому что так сильно любят эти ночи. Она внимала шепоту ветра и разгадывала тайны равнин. Земля и небо слились во что-то волшебное, волнительное. Вдалеке города практически не было видно, а одинокие огоньки горели в окнах домов. Путешествие удалось. Хомячиха была в восхищении. Она летела, словно перышко, легкая, быстрая, как ветер, и пушистая, как одуванчик.

Через три дня и три ночи Буся стала приближаться к Парижу, увидела Булонский лес и живописные берега Сены. Она увидела верхушку Эйфелевой башни в огнях. Она была словно гигантский маяк, который ослепительными лучами освещал долгожданный город.

Были слышны музыка и смех из большого ресторана на верхушке башни. Буся приземлилась. Ее встретили официанты-хомячки, одетые в розово-красные костюмы, тепло ее поприветствовали и провели за свободный столик.

Один из официантов ей показался таким милым… Она была им очарована: его большими голубыми-голубыми глазами и кудрявым чубчиком. Их взгляды встретились и…

Кирилл Онищенко, 14 лет, Одесса

Что может быть интересней, чем загадка?

Бесконечный путь из новых задач, сопровождающихся новыми решениями, – это именно то, что заставляет думать. Запутывающийся лабиринт знаний, который раз за разом приводит

в тупик, не давая найти выхода. Мир противоречий, созданный и существующий в наших мыслях, но отсутствующий в реальности. Хорошая загадка – как особый вид искусства: чем больше мы узнаём, тем меньше мы понимаем. Но имеет ли смысл ее разгадывать, ведь даже разгаданный фокус уже не обладает такими же магическими свойствами, как вначале? Может, мы сами этого не желаем? Или мы еще слишком глупы для осознания истины?

Мы склонны рассуждать и мыслить в рамках собственного понимания, словно специально пытаясь заблудиться в этом лабиринте, заходя все глубже и глубже. Намеренно спотыкаясь на каждом шагу, делая ложные выводы, мы пачкаем картину осознания, даже не имея возможности ее полностью рассмотреть. У нас есть всего одна жизнь, чтобы успеть оценить масштабы этого полотна, но мы по-прежнему не осознаем ценности времени, даже не понимая, что такое время.

Проживая дни, похожие друг на друга, задумываясь о своем существовании, мы ограничиваемся лишь своей интерпретацией реальности, смотря на этот лабиринт сбоку. И лишь задаваясь вопросами: «Почему?», «Из-за чего?» – мы можем взглянуть на лабиринт под другим углом и увидеть его сверху.

Мы, люди, обладаем разумом – удивительной вещью, позволяющей нам мыслить, познавать, думать. Это уникальная способность человека, дающая нам возможность увидеть лабиринт полностью, разрушить его или построить абсолютно новый. Именно благодаря разуму мы пользуемся ответами уже решенных задач для решения новых, стараясь делать правильные выводы. Только благодаря разуму мир вокруг нас стал таким, каким его сделали люди. Люди, которые когда-то тоже задавали вопросы «Почему?» и «Из-за чего?», которые так же, как и вы, интересовались поиском ответов. Им тоже не давалось все сразу и просто, но главное – они были любознательными.

Важно понять, что любознательность – это не просто стремление к познанию чего-то нового. Любознательность – это путь к пониманию и объяснению загадок и тайн, которые прежде оставались неясными. Это шанс! Шанс изменить мир, но уже не спотыкаясь намеренно, а высоко взлетая, не пачкая картину осознания, а дополняя ее, добавляя новые краски на этот холст. Это надежда, ожидающая вашего первого шага в огромную и интересную Вселенную.

Будьте любознательными – вы сможете изменить мир!

Ольга Роговская, 12 лет, Одесса

Сонное недоразумение

Два королевства, сов и жаворонков, решили объединиться. Совушка Лили выходила замуж за жаворонка Северуса. Особенностью королевств было то, что совы бодрствовали ночью до самого рассвета, а жаворонки вставали с первыми лучами солнца.

Два народа почти не общались из-за временных различий. И вот пришлось им собраться на королевский совет по поводу свадьбы.

Решали назначить время совета на обед. Совы, конечно, пришли, но были очень уставшие. Учитывая их график, этот подвиг они совершили только ради Лили.

Началось собрание. Как только жаворонки начали говорить, совы сразу же уснули, и жаворонки всё решили без них. Также из-за этого маленького казуса гости со стороны невесты опоздали и на свадьбу, и на банкет.

Когда выяснилось, что молодая пара перелетает жить в новые края, начался переполох. Совиная семья была возмущена, почему без их ведома дитятко покидает родимый очаг.

Жаворонки утверждали, что обо всем договорились, потому как совы в этот период соглашались, кивая головой. Те в свою очередь объясняли, что угуканье – это звук для запугивания мышей.

А ранние пташки голосили о том, что молодой паре пора вылететь из родительского гнезда.

Решили пойти к мудрому грифу за советом. Тот, выслушав птичий базар, вынес вердикт:

– Ложитесь спать пораньше и не опаздывайте на важные события вашей жизни! А вы, дети мои, – обратился он новоиспеченной чудаковатой паре, – учитесь находить компромисс в вашем союзе. Пока муж на охоте, ты, милая, веди хозяйство. А вечером уделяйте своей любви максимально времени. И тогда все в вашей жизни будет гармонично.

С тех пор народ сов ночью охотится, днем держит ушки на макушке, чтобы не проспать свою жизнь. Но любовь одного из них к ранней пташке так и осталось для семейства совиных большим недоразумением.

Виолетта Шульгина, 16 лет, Одесса

Рождество

Вилморт молча пил кофе и смотрел на свое отражение в окне. На улице было совсем темно, а на кухне совсем тихо. «Такая тишина наступает, когда что-то не получается сделать так, как хотелось», – парень грустно вздохнул, улыбнувшись неожиданной мысли. А ведь будь все хорошо, он бы и не подумал об этом. В очередной раз, выглянув в окно, он вытянул свою загипсованную ногу из-под стола и оперся на костыль.

К ногам подбежал рыжий кот Артур и начал беспокойно кружить перед хозяином. Это значило, что вокруг дома кто-то ходит. Вилморт поежился. В такую вьюгу никто в здравом уме не стал бы и носа показывать из дома. В подтверждение его догадки на секунду шум ветра за окном усилился, будто пытаясь пробраться в его теплое убежище. В целях безопасности парень решил не подходить к дверям и пойти спать.

В конце концов, сегодня Рождество, пусть он и не успел подготовиться, наряжая дом: он поскользнулся и упал, сломав ногу.

– Успокойся, Артур, тебе, скорее всего, показалось. Никого не принесет ко мне в такую погоду, – попытался успокоить кота хозяин.

Через пару минут Вилморт лежал в постели. Ему снился странный сон. Это были неясные воспоминания о прошлогоднем празднике. Все веселились и играли, пели рождественские песни. Дети водили хороводы вокруг праздничной ели, затем распаковывали подарки. Все его друзья сидели за столом, только его место пустовало, но этого никто не замечал. В конце концов, Вилморт просто сел под елкой. Внезапно в дверь постучали. Он поднялся, чтобы открыть ее, но не увидел перед дверью никого. Звук повторился. И парень проснулся.

За окном раздавались голоса, было по-прежнему темно. Лишь непонятные мерцающие огоньки иногда загорались где-то вверху. Приглядевшись, парень увидел перед домом снеговика. Сильные порывы ветра раскачивали его ручки-веточки из стороны в сторону. И трепали шарф. Откуда он появился в час ночи?

Стук в дверь повторился. Скрипнула половица, заставив парня вздрогнуть, Артур замяукал. Вилморт не мог сдвинуться с места. С разных сторон стали доноситься какие-то голоса. Но что им было от него нужно? Ответа на этот вопрос парень не нашел, поэтому все же предусмотрительно решил не открывать.

С каждой минутой звуки становились все более громкими, буря и голоса слились в один монотонный вой в голове парня. Стуки в дверь стали настойчивее. В конце концов, парень сдался. Взяв свой костыль, он осторожно подошел к двери. Все в округе знали, что он сейчас беззащитен, и парень мысленно приготовился отбиваться от недоброжелателей.

Он повернул ключ в замке и приоткрыл последнюю преграду, защищавшую его от неизвестности. Его глаза округлились, когда он выглянул из своего укрытия. Кот мяукнул. В нос ударил сладкий запах свежего пирога.

В шаге от Вилморта стояла вся компания его друзей. Странными мигающими огоньками оказалась гирлянда на краю крыши его дома, а вокруг стояли снеговички со смешными рожицами. Его друзья улыбнулись ему, а затем все хором прокричали:

– Счастливого Рождества!

Владислав Павлов, 15 лет, с. Крыжановка Одесской обл.

«Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно»

Обращение к человечеству…

Величественен окружающий нас мир и неповторим. Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит зыбь, как по воде, пронесется над нивою, и она взволнуется, как море. Так танцует ветер, а если послушать его рассказы! Он поет их, и голос звучит по-разному. О чем только ни рассказывает говорливый ветер! Хорошая у него память. Он очень много знает, даже то, что было миллионы лет назад. Вот он случайно залетел ко мне и поведал о жизни одной молодой семьи «Мертвого мира». Мира, в котором не осталось ни одного деревца, ни цветка. Мира, где люди уничтожили все живое и оказались заложниками своего положения.

Эта молодая семья, Он и Она, живет в городе, где много фабрик и заводов. Их город превратился в каменные джунгли. Утром, когда они просыпаются, их не встречает ласковый лучик солнца. Над городом висит смог – трудно дышать. Он и Она работали в НИИ по программе «Экология мира».

Они жили в своем мире, но существовал и другой мир – противоположный. Два мира одной планеты, но такие разные и закрытые друг от друга…

И так бежали годы…

И планета стала умирать.

И миры решили во имя спасения планеты объединить лучших ученых для работы по проекту «Экология мира». Принимающая сторона пригласила на симпозиум на свою территорию. Оформив разрешение на выезд и въезд на другое полушарие планеты, Он и Она отправились транспортировочной капсулой. Арка выхода подала сигнал об окончании путешествия. Шаг – и мир ослепил разнообразием красок. Наше Солнце – такое яркое, теплое! Вокруг буйная растительность и белоснежные облака на голубом небе. Живя в городах мира из бетона, стекла и металла, они забыли, что есть другая жизнь. Симпозиум принес свои плоды для развития программы по сохранению мира. Напряженно работали лучшие умы этой планеты – все силы были брошены на сохранение баланса и гармонии мира. На заключительном этапе решили показать сохраненные заповедные зоны и проделанную работу местных ученых. Он и Она были поражены разнообразием флоры и фауны. Удивлению не было предела: зеленая трава, украшенная россыпью полевых цветов; журчание ручейков, шум водопадов, песчаные дорожки с отпечатками маленьких ступней. Что это?!

Дети!

Они играли, смеялись, лежали на траве, резвились у водопада. Он и Она посмотрели встревоженно друг на друга, и был только один общий вопрос: «Где же наш малыш?!».

Они давно не слышали детский смех в мире бетона, стекла и металла – их город умирал. Экология их мира и города была просто ужасная, и это люди сами создали себе такую среду для вымирания. Теперь было понятно, почему так обеспокоены местные ученые. По возвращении Он и Она шагнули в темный проем

своей квартиры с новыми силами и надеждами на помощь своему городу и себе. Все дни проходили в лаборатории, в выполнении задач симпозиума. И сейчас эти задачи созвучны с личным желанием вернуть в мертвый мир зелень листвы и травы, белоснежные облака, синь неба, разноцветную палитру цветов, щебет птиц и яркое солнце. Люди, стремясь за прогрессом, забыли о гармонии планеты.

Переданные образцы материалов для решений задач симпозиума пришли в лабораторию и поступили в работу. Эти образцы семян должны были участвовать в новом эксперименте программы. Все всходы были одинаковые, и только один росток отличался. Когда Она и Он просматривали результаты периода, то увидели, что росток был выше всех образцов и не похож на них.

– Сорняк, – сказала Она, и ее рука автоматически схватила росток, чтобы вырвать, как сорняк, но слабый разряд обжог пальцы. Росток защищался, и это было что-то новое!

Росток продолжил расти вместе с образцами, а Он и Она вскоре узнали, что у них будет малыш. Они были счастливы, природа подарила им шанс иметь детей. Однажды, когда росток стал превращаться в деревце, Он увидел связывающую энергетическую нить. Жизни деревца и ребенка связаны. Беда!

А деревце росло и крепло. Его корни разрушали бетон и металл. Жалобный импульс города достиг искусственного интеллекта этого мира. Приказ: «Уничтожить вредителя!». Деревце защищалось – билось разрядами, выводя из строя роботов. Борьба деревца за жизнь шла в лаборатории, а Он добивался приема у высшей власти этого мира. Она тоже боролась дома, боролась за жизнь ребенка, который начинал постепенно слабеть, отдавая все силы деревцу.

В тяжелой борьбе за жизни деревца и ребенка, воплощения и развитии поставленных задач симпозиумом планеты они сделали невозможное. Искусственный интеллект и мертвый город приняли в свой мир деревце, которое выросло в прекрасное дерево. Оно дало жизнь другим деревьям и растениям. Семена дерева появлялись из созревших коробочек цветущих бутонов и с хлопком открывались, падая вниз. Их подхватывал ветер и разносил по «Мертвому миру». Семена оказались волшебными,

и за непродолжительное время выросли леса. Многие люди, смотря на это чудо, понимали значимость программы «Экология мира».

Постепенно мир бетона, стекла и металла входил в гармонию с миром флоры и фауны. Воздух очистился, смог улавливался экологическими очистителями, и солнце стало пробиваться теплыми лучами к людям. Снова зазеленели луга и зашумели леса. Мир стал приходить к гармонии, а задачей людей осталось только поддерживать баланс для себя и будущего поколения. И два мира стали одной планетой.

Вот такую историю рассказал мне Ветер. Теперь он частый гость нашего города.

Эта история моего друга Ветра учит беречь природу, воздух, которым мы дышим, воду, которая дает нам жизнь. Человечество и окружающая среда должны дышать в унисон.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Искусство – жизнь – искусство

194 **Евгений Голубовский**
Ангелы Александра Ануфриева

198 **Феликс Кохрихт**
Я не ангел, не Нерон. У меня – иной резон!

199 **Белла Кердман**
Островские

208 **Феликс Кохрихт**
Per aspera ad astra

215 **Виталий Абрамов**
О художнике Александре Неймане

238 **Микола Жулинський**
Іронічно-сатиричний погляд славного одесита

241 **Леонид Авербух**
Одесские музы поэтов

Евгений Голубовский

Ангелы Александра Ануфриева

Пришло письмо из Америки от Люсьена Дульфана.

Написал о Саше Ануфриеве, художнике, стоявшем у истока одесского нонконформизма.

Подсказал, что Ануфриев родился 11 августа.

Забыл, какого года.

Я напомнил – 1940-го.

Значит, всегда молодому Саше – уже 80 лет.

Но вначале отрывок из письма Дульфана.

«Познакомились мы в далеком 1958 году, – пишет Люсик Дульфан. – Оба поступили в ОГХУ. Саша был старше, он поступил после десяти классов, я после восьми.

Был умный, задавал много вопросов нашему педагогу Виктору Ивановичу Желтякову.

Он был самый талантливый среди нас, помню его потрясающие акварели.

Был галантен, ухаживая за девушками, носил их этюдники.

Подружился с Володей Стрельниковым. После нескольких месяцев учебы они решили, что знают всё, и решили оставить художественное обучение. Вызвал их директор Василий Иванович (тут ошибка Дульфана – перепутал Василия Петровича Соколова с Василием Ивановичем Чапаевым. – **Е. Г.**). Очень дружелюбно обратился к ним, мол, поговорим по-рабоче-крестьянски!

Саша ответил: «Мы не рабочие и не крестьяне, а свободные художники».

Вот со свободными художниками и познакомился я в один из вечеров весны 1959.

Звонок в дверь на Кузнечной, где я жил. Открываю дверь – юноша и девушка, красавцы, молодые, стройные.

– Мы пришли познакомиться. Впустите?

Так вошли в мою жизнь Саша и Рита Ануфриевы.

Смотрели книги, альбомы. Обрадовало, как много они знают. И как хотят узнавать.

Еще через пару дней я был у них дома, на четвертом этаже высокого дома на углу Успенской и Осипова.

Эта квартира в те времена стала центром нового объединения художников, которых мы сегодня называем нонконформистами.

Александр Ануфриев. Фото Ильи Гершберга

Здесь я познакомился с Людой Ястреб и Витей Маринюком, с Володей Стрельниковым и Валерой Басанцом, с Валиком Хрущом и Люсиком Дульфаном.

Здесь рисовали. Здесь обсуждали. Спорили до хрипоты.

Саша Ануфриев в тот год был заражен голубым и розовым Пикассо. Не помню, кто, кажется, Маринюк, пустил шутку – ПИКАСАША. Но она была не обидной, а предостерегающей. Правда, вскоре увлечение Пикассо сменилось у Ануфриева увлечением Модильяни, а потом и вовсе он вышел на свою дорогу.

Хозяйкой дома, салона, мастерской была красавица и умница Рита. Ее подруги становились моделями для живописцев. Она зазывала в дом поэтов, журналистов.

Денег катастрофически не было. И я придумал выход. Возможно, что это ноу-хау, но делюсь.

Я изобрел домашнюю лотерею.

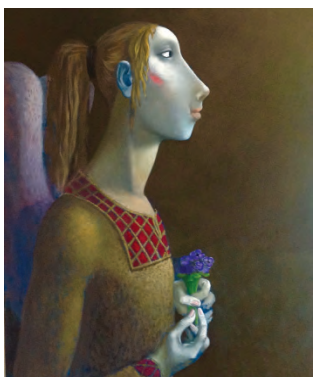
Работы Ануфриева нравились многим моим друзьям. Но позволить себе купить картину мог далеко не каждый. И вот выставляются Сашей десять картин. От руки он пишет, рисует пятьдесят приглашений. Цена каждого по десять рублей. Когда они проданы, из шапки Рита достает десять номеров. Десять счастливцев получают картины, а художник – пятьсот рублей. Тогда это были деньги.

В то время Саша написал много портретов наших друзей. У меня и сейчас дома висят портрет моей жены, портрет Инночки Тикер, портрет Риты…

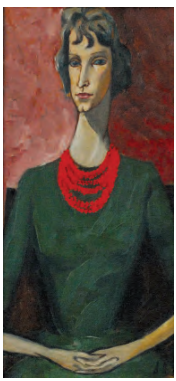
Фантастически удачным был портрет Феликса Кохрихта. Его стоящие торчком рыжие волосы почему-то на фоне римского Колизея запоминались раз и навсегда.

Рита родила Саше сына Сережу. В детстве это был инфант. Ходил в костюме с жабо. Трудно было представить, что станет знаменитым художником-концептуалистом. Но гены генами, а помню, что Саша буквально носил его на руках.

Вообще, у Александра Ануфриева была своеобразная программа-установка. Он хотел иметь десять жен. Не любовных романов, не записей в донжуанский список, а официальных жен. И от каждой хотел по ребенку. И самому его воспитать. Желал, чтобы жены были разных национальностей…



Портрет Феликса Кохрихта



Портрет Валентины Голубовской

В жизни Саши многое сбывалось. А этот план не выдержал проверки реальностью. Жен было, мне кажется, шесть. И не все разных национальностей. Но детей нянчил столь же вдохновенно, сколь писал картины.

Голодная жизнь в Одессе постепенно стала надоедать. Пригласили в Ташкент. Тогда еще с Ритой. Приехали.

Ташкент – город хлебный. Но, оказалось, скучный. А тут как раз землетрясение. Дом, в котором жили Ануфриевы, развалился.

Но тут случилось чудо. Саша увидел Ангела. И тот на чистом русском языке ему сказал, что все трое они останутся живы, что он прикрыл их своим крылом, но вот с этого дня Саша должен рисовать Ангелов…

Нет, не иконы, а картины. Но сюжеты из жизни Ангелов.

С этим и вернулись Ануфриевы в Одессу.

С тех пор он стал художником Ангелов.

Когда-то, когда я тяжело болел, а Ануфриев уже давно жил в США, чтоб мне исправить настроение, Аня купила мне в подарок «Ангела» работы Ануфриева в одной домашней коллекции. И помогло. Иначе бы не написал то, что читаете.

Нынешняя жена Александра Ануфриева Татьяна Анисимова – прекрасная виолончелистка. Любит и Сашу, и его Ангелов. И ее концерты на фоне Ангелов пользуются в Америке успехом.

Когда у моей дочери была галерея «Либерти», к приезду Ануфриева в Одессу она устроила выставку его картин из частных собраний Одессы. И оказалось, что в городе много его работ.

Прекрасные картины в Музее современного искусства Одессы.

Для этой публикации по моей просьбе Таня Анисимова прислала фотографии новых работ Саши этого года.

Поучителен путь художника. От авангарда, от кубистической ломки он пришел к возрожденческой классике.

Как там у Пастернака? «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту».

Саше Ануфриеву исполнилось 80 лет.

Входит в девятый десяток.

А работы молодые.

Значит, возраст души отмеряется не по паспорту.

Феликс Кохрихт

Я не ангел, не Нерон. У меня – иной резон!

...Было лето, год шестидесятый,
век двадцатый в памяти моей...
Я сидел на железной кровати:
юный рыжий одесский еврей.
За окном шебутной коммуналки –
звон трамваев, каштанов плоды.
И болтливые черные галки
все летали туды и сюды.
Рита славный чаек заварила,
и с ее стороны это мило.
Шура: взгляд на меня и – работу.
Я рассказывал им анекдоты
и не знал на закате субботы,
что за мною горит Колизей!
И портрет на изнанке афиши
станет спутником жизни моей...

Одесса – Рим – Одесса
1960-2020

P. S. Удивительное дело! Столько лет живу с этим портретом, даже возил репродукцию в Рим – проверял: уцелел ли Колизей. И лишь сейчас заметил, что на холсте он вовсе не горит – пылают мои тогда еще огненно-рыжие волосы.

Белла Кердман

Островские

Это знакомство состоялось, думаю, в начале 80-х. Коллега Голубовский привел меня к известному художнику Иосифу Островскому, которого Одесса ласково звала Осиком, – у нас все хорошие художники носили ласковые имена: Люсьен Дульфан, например, был Люсиком, и Люсиком же звали Илью Межберга, а Валентин Хрущ был Валик или Хрущик, Слава Сычев – Сычик. Впрочем, плохих художников Одесское художественное училище им. Грекова (Грековка) не выпускало. Даже когда директором был Василий Соколов, которого учащиеся называли Васькой, оттуда выходили крепкие мастера. Не знаю, как сейчас, когда училище стало академией. При знакомстве Осик показал мне серию «старых евреев» – эти замечательные картины ему там и тогда выставлять не разрешали.

Во второй раз я встретилась с художником в октябре 1990-го, когда по приглашению родной тетки гостила у нее в Иерусалиме. Мои знакомые одесситы, уже здешние «ватики», предложили съездить к Островскому, относительно недавно приехавшему в Израиль на ПМЖ. Разумеется, я согласилась. Мы знали, что Осик перенес в Одессе сложную операцию, и здесь ему предстояла вторая ее очередь. А пока он писал улицы Тель-Авива, подбираясь, как сказал, к великой натуре Иерусалима. И безумно скучал по Одессе.

Я рассказала Иосифу, что у меня есть одна его картина: старая кухонная утварь – холст, масло. И дата там сохранилась: 1965 год. «С медным чайником и медным подносом?» – с надеждой спросил художник и обрадовался, когда я подтвердила: он эту работу давно потерял из виду.

Мне подарила ее подруга в день рождения. Ей картина досталась в наследство от бывшего мужа, который со своим

Старая кухонная утварь

скромным скарбом явился к ней умирать. Он же получил ее в виде карточного долга от какого-то партнера по преферансу. Полотно слабо грунтовано, часть краски осыпалась, нужна реставрация, но я не решаюсь кому-то доверить такую работу. Островский велел никого не допускать к картине: он сам все сделает, когда приедет в Одессу, либо когда я приеду в Израиль. Объяснил, что картины при перевозке следует сворачивать маслом вверх, чего я не знала. И рассказал свою историю об этом полотне.

На одной из одесских выставок к Иосифу подошел посетитель, осведомился о цене «Старой кухонной утвари» и попросил ее не продавать – он покупает. По окончании выставки рассчитается и заберет. На всякий случай записал домашний телефон художника. Года два картина оставалась у автора, никто за ней не являлся. И вдруг тот человек позвонил. Узнав, что работа на месте, сказал, что сейчас ее заберет, и записал адрес.

– Покупатель приехал с товарищем, – вспоминал Осик. – Стал бережно ощупывать полотно кончиками пальцев. Полагая, что имеет дело с настоящим ценителем, автор стал выставлять перед ним своих «старых евреев». «Не надо, – остановил его покупатель. – Я потерял зрение. Полностью. А старую вашу работу покупаю по памяти…»

– Кажется, тот человек был учителем. Не могу понять, при чем тут преферанс, – удивился художник моему сообщению.

Его появление в Израиле не прошло незамеченным. У Островского взяли работы для выставки художников-репатриантов из СССР, которые в пору Большой алии устраивались периодически. Сюжет показали по ТВ. Репродукции «старых евреев» поместили в каталог выставки. И вскоре И. О. посетил некий англичанин, то ли коллекционер, то ли галерейщик, купил десяток работ и пригласил на месяц-другой поработать у него в Лондоне.

«Я согласился и предложил поехать через Одессу – мол, там есть очень интересные художники. Он мой энтузиазм повернул по-своему: слетаем, дескать, в Париж, вот куда! Как ему было понять, что без Парижа я как-то привык обходиться, а без Одессы – нет?» – с грустью сказал Осик.

Во время той встречи в доме появился парнишка, сын Островских Мишка. То ли старшеклассник, то ли начинающий студент. Наши разговоры, видимо, ему были неинтересны – он крутанулся, схватив со стола что-то съестное, и тут же исчез. На обратном пути я услышала от друзей, что английский гость предложил Мишке собирать и отдельно складывать папины наброски, черновики, за что он получит вознаграждение.

На ПМЖ в Израиль я прилетела в мае 1994 года. Без контейнера, с тем багажом, который разрешалось взять в самолет. В кабину пронесла портативную пишущую машинку и несколько картин

Иосиф Островский и Аркадий Львов

одесских художников, без рам и подрамников, свернутых (маслом вверх) и помещенных в тубус, в каком носят обычно чертежи. Среди картин было и полотно Иосифа Островского. В живых я его, увы, не застала. Так и повесила «Старую кухонную утварь» без реставрации на стенку в съемной квартире.

Гена (здесь он зовется Гани) Дорин, муж моей приятельницы, художник родом тоже из Одессы, поглядывая на поврежденное временем полотно, предлагал: «Давай поправлю!». Я не решалась. Но однажды он явился ко мне с кистями и красками, вынес на «мерпесет» работу Островского и сделал, что считал нужным. На удачу у него получилось именно восстановление старого письма, а не его обновление, что выходит у некоторых реставраторов.

Сейчас я живу в хостеле в Мазкерет-Батье (Памяти Батьи, так звали маму Ротшильда, инвестировавшего постройку этого городка в пригороде Реховота). По стенам моей комнаты раз-

Иосиф Островский и Биньямин Нетаньяху

вешены картины, привезенные из Одессы, а также купленные у здешних художников или подаренные ими. У каждой работы, как водится, – своя история. В 2005 году я рассказала об этих историях в одной из русских газет Страны, сопроводив текст репродукциями. Позвонил Меир Островский – бывший Мишка. Договорились пообщаться по e-mail, а то и встретиться. Однако общение не состоялось – я вскоре Мишку-Меира потеряла.

Спустя еще несколько лет получила письмо от Люсьена Дульфана, давно проживающего в США. Он рассказал об одной из выставок работ Осика, прислал несколько фотографий. Про сына художника сообщил, что он теперь многодетный отец семейства, хозяин художественной галереи. Поискала Меира среди галерейщиков Израиля, поспрашивала знакомых художников – безрезультатно.

И вдруг недавно в моей почте появился его запрос о «дружбе» в Фейсбуке. Разумеется, я поспешила подтвердить согласие, хотя в этот виртуальный клуб заглядываю редко – не умею

«дружить» принародно. Тут же спросила бывшего Мишку, где он и что. И началась у нас переписка по e-mail вперемежку с телефонными разговорами. Оказывается, никакой он не галерейщик, и никогда таковым не был. Он – религиозный еврей, имеющий звание раввина. Нет, не «ультра», но хорошо знающий и соблюдающий законы и традиции иудаизма, преподающий их на иврите и на русском языке. А найти его я не могла потому, что он 13 лет (!) не был в Израиле: был президентом еврейской школы от министерства образования Израиля в Украине, в городе Днепре, бывшем Днепропетровске.

Б. К.: Давай сначала, Миша. Сколько лет тебе было, когда вы, Островские, приехали в Израиль? Что ты успел в Одессе? В каком составе прибыли – всей семьей или кто-то раньше?

М. О.: Мне было 16 лет. Приехали все вместе: папа, мама, бабушка, моя старшая сестра Света с мужем и двумя детьми и я. Мы поселились в Рамат-Гане, а Света с семьей – в Маале-Адумим. В Одессе я почти окончил медицинское училище. Очень старался войти в пять процентов выпускников, чтобы в Израиле поступить в медин. Мне засчитали это за аттестат зрелости. Здесь я подал документы в несколько вузов. Остановились на Иерусалимском университете. Мы с папой познакомились там с профессором Фридманом, математиком мирового уровня родом из района Шепетовки. Отец поговорил с ним на идише и рад был узнать, что мне предстоит изучать не только специальные предметы, а и еврейские.

Б. К.: Продолжим. Как я поняла, ты приступил к учебе в техническом вузе? Не окончив даже ульпан? Каково это было?

М. О.: Очень трудно! Только представьте себе: учить макроэкономику, о которой понятия не имел, да еще на новом языке! Приходилось сидеть в библиотеке до трех ночи. Но буквально через год с языком уже проблем не было, и я успевал не только учиться, но и работать. Кстати, о иврите. Папа и мама буквально фанатировали этим языком, учили его в свое удовольствие днем и ночью. Мама вскоре стала работать библиотекарем в городской библиотеке, а папа вел занятия по искусству живописи. Папа был человек с юмором. Незадолго до смерти он сказал: «Так хорошо выучил иврит, что даже умирать жалко».

Б. К.: Проясни, пожалуйста, что с тем англичанином, который приглашал папу в Лондон. Они куда-то ездили?

М. О.: Англичанина звали Мартон Браун. Он был религиозным евреем, бизнесменом и арт-дилером, увлекался коллекционированием картин. В папины работы влюбился сразу. Да, он увез его в Лондон, организовал ряд его выставок и продаж картин. Папа, которого Мартон называл Йоселе, жил у него несколько месяцев. Выставлялся, по-моему, даже в Catto Gallery. Готовя к выпуску папин альбом, я наткнулся на книгу Брауна, где есть глава «Рядом с Иосифом Островским». Прилагаю фрагмент этой книги. В разгар войны в Персидском заливе отец бросил Лондон и вернулся в Израиль. Почему-то с Аркадием Львовым, известным писателем и журналистом, одесситом, проживающим в Америке. У нас не было для него противогаза, и когда летела ракета, они с папой делили один на двоих, передавая его друг другу.

Б. К.: Важный для Израиля вопрос: что с армией? Служил ли ты, служат ли твои дети?

М. О.: Я учился в институте, параллельно служа в армии. Успел сделать курс молодого бойца и собирался поступить на офицерские курсы. Но тут я женился, пошли дети… Об армии у меня остались самые классные, теплые воспоминания. Из моих детей пока лишь один мальчик достиг призывного возраста; он музыкант и проходит альтернативную службу, живет в общежитии.

Б. К.: Кто из одесситов встретил вас по приезде в Израиль, кто из известных представителей культуры бывал в гостях у отца?

М. О.: К папе всегда тянулись люди. Не только потому, что он был большой художник, – он был теплый, общительный человек. Нас тепло встретила и помогала обустроиться семья известного в Одессе художника светлой памяти Миши Матусевича. Приезжали израильские художники Саша Окунь, Михаил Гробман, Ян Роутвегер. Часто бывал у нас Игорь Губерман. Из Москвы приезжали Зиновий Гердт и Михаил Козаков…

Б. К.: Когда и как произошло твое «возвращение к ответу»? Семья Осика, насколько я знаю, не была религиозной.

М. О.: Были глубокие корни. Наша бабушка соблюдала все заповеди. В доме всегда отмечали Песах и Пурим. Все, кроме нас, детей, говорили на идише. Как большую святыню хранили

Меир с женой Эстер

тфилин деда. Мне здесь все это стало жутко интересно. В институте я познакомился с интересными людьми, которые оказали на меня влияние. Особенно рав Барух. Но, прежде всего, это отец – это его портреты старых евреев, которые запрещали выставлять в СССР. И это его последние слова, прозвучавшие как завещание. Его не стало в тишине Йом-Кипур – Судного дня. Он собрал нас перед кончиной – я думал, чтобы отдать распоряжения насчет своих картин. А он сказал: «Бог есть, был и будет. Мне сейчас хорошо, я иду к Нему». И я стал соблюдать все, что положено соблюдать еврею. Сестра Светлана стала так жить несколько раньше, еще в Одессе.

Б. К.: Расскажи о своей жене, Меир: как ее зовут, где вы познакомились, чем она занимается, кроме семьи.

М. О.: Ее зовут Эстер, она дочь замечательного московского художника Михаила Моргенштерна. Мы познакомились в деревне Псагот, куда я ездил навещать сестру. Любопытно, что наши отцы вместе выставлялись в Иерусалиме и в деревне ху-

дожников Санур, так что были знакомы раньше. Эстер – учительница с пятнадцатилетним стажем, преподает еврейскую историю, иврит, традиции. Сейчас готовит вторую научную степень – по психологии.

Б. К.: В Украину вы отправились с женой? А дети? Взяли с собой или на кого-то оставили?

М. О.: Начну с того, что я не только отец восьмерых детей, а и дедушка двух внуков: две мои дочки, проживающие в Филадельфии, вышли замуж, мы довольны зятьями. Не терпится взять на руки внучек, но – увы, карантин… В Днепр мы отправились с двумя детьми, там родились еще четверо, следующие двое – по возвращении в Израиль. Да, у Светланы, которая живет с мамой в Псаготе, шестеро деток. Мы, Островские, заметно увеличили еврейское население Израиля!

Б. К.: Спасибо за интересную беседу, Меир. В заключение я приведу несколько строк из эссе английского художника и коллекционера Мартона Брауна о твоем отце:

«В Йоселе сочетались гений и ребенок. Он был честным и настоящим человеком. Не из моральных соображений и не из стремления к идеалу. А оттого, что у него не было никакого соблазна вести себя иначе – настолько уравновешенным и чистым был его дух. Мы вместе стояли перед одной из его самых мудрых картин, и он произнес: «Ну, не знаю… Я так тогда чувствовал».

Израиль

Феликс Кохрихт

Per aspera ad astra*

ODESSA CLASSICS

June 3-14, 2020

Автор этого крылатого выражения – римский философ Луций Анней Сенека. На протяжении веков его (употребляют – плохое слово, используют – еще хуже) вспоминают, когда речь идет о прорыве, – не обязательно буквально: скажем, старт космического корабля со степного поля Байконура, но, оценивая ситуацию, близкую если не к подвигу, то к победе в трудных условиях.

* В переводе с латыни – сквозь тернии к звездам.

Алексей Ботвинов и Даниэль Хоуп на сцене Одесского оперного театра

Признаюсь – с трудом выпутался из этого сложноподчиненного предложения, ибо при всем журналистском опыте всегда стараюсь избегать пафоса, а он неизбежно возникает при цитировании классиков, особенно римских. И если пафос наличествует в этих заметках, все же продолжу, предвидя иронические улыбки иных коллег. Дело того стоит.

Речь идет о Фестивале высокой музыки, который нынешним летом в шестой раз состоялся в Одессе. Здесь было бы уместным резкое немецкое слово «trozdem» – «несмотря на», и еще полное скрытого торжества на идиш «авцелухес» – «назло».

Так или иначе, фестиваль не просто состоялся, но с огромным успехом. Он послужил повышению градуса самооценки наших земляков (расшифрую ниже), вновь подтвердил ранее завоеванное, но и слегка утраченное высокое место Одессы в ранжире мировых центров культуры и искусства.

Ассоциация со звездами случилась вот почему. Перед тем как набирать этот текст, я заглянул в ФБ и узнал, что накануне посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа пригласил

Итальянский пианист Пьетро де Мария на сцене Зеленого театра

президента фестиваля Алексея Ботвинова в Киев и вручил ему орден «Звезда Италии».

Знаменательно, что, судя по конструкции имени и фамилии, посол принадлежит к старинному дворянскому роду, и вполне вероятно, среди его предков были и те, кто не только читал Сенеку в оригинале, но и был знаком с ним. Равно как и блистательный пианист Пьетро де Мария, перед концертом которого посол выступил с высокой оценкой фестиваля, его создателя, Одессы – города, в котором так много связано с Италией.

И тут самое время сказать, что именно 11 августа стало, пожалуй, самым серьезным испытанием и для Ботвинова, и для его команды, и для пианиста, а мы – публика – ощутили лишь некоторое неудобство оттого, что концерт был перенесен из филармонии в Зеленый театр.

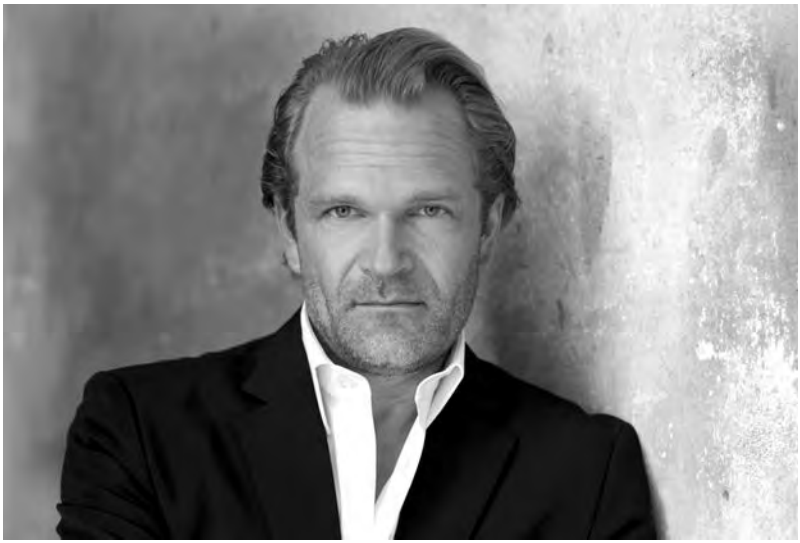
За день до этого выяснилось: среди сотрудников филармонии есть зараженные коронавирусом, и весь (весь!) персонал ушел на самоизоляцию… В считанные часы генеральный директор

Литовский ансамбль NIKO и его лидер Гедиминас Гелготас

фестиваля Елена Зазуля и волонтеры смогли сделать невозможное. Они разместили на арене Зеленого театра ряды стульев в порядке, соответствующем планировке зала филармонии, и мы, явившись вечером в Зеленый театр, уселись на места, как говорится, согласно купленным билетам.

Визит коронавируса в филармонию имел и более серьезные последствия, чреватые, может быть, и отменой фестиваля. Зараза подкосила и нескольких музыкантов нашего Камерного оркестра, который был заявлен как партнер выдающихся скрипачей: 15 августа он должен был аккомпанировать Даниэлю Хоупу, 18-го – Вадиму Репину, 23-го Линусу Роту.

В эти дни мы стали свидетелями и участниками (ибо на таких высоких концертах публика – важный соучастник исполнителей) блистательных дуэтов, в которых партию рояля исполнял Алексей Ботвинов. Разумеется, он и ранее играл со своими друзьями, но на сей раз программа рождалась за часы, и многие произведения исполнялись ими совместно впервые…



Немецкий пианист Себастиан Кнауэр

На Шестом фестивале Алексей Ботвинов должен был выходить на сцену три раза – в проекте Цюрихского балета, в сонатном вечере с Даниэлем Хоупом и на концерте опен-эйр. Но выпало – семь.

Он еще организовал и провел традиционный Конкурс молодых пианистов Украины имени своего педагога профессора С.Л. Могилевской. На сей раз (наконец!) в конкурсе победил наш земляк Юрий Картузов.

Алексей и Елена не знали не только дня, но и часа отдыха.

Они и их команда сумели провести двенадцать фестивальных суток, не нарушив правил сурового карантина, выполнив все обязательства перед приглашенными музыкантами, публикой, партнерами, меценатами, горожанами и властными структурами.

И все же главным испытанием для Ботвинова стала трагедия, равная той, что постигает героев античных сюжетов Софокла и Еврипида. За день до открытия фестиваля внезапно умер его отец – Анатолий Иванович Дуда, народный артист Украины, про-

Право выступать на концерте опен-эйр завоевал одессит Юрий Картузов, победивший в Конкурсе молодых пианистов Украины памяти С.Л. Могилевской

фессор Музыкальной академии. Прощание с замечательным певцом и педагогом проходило в консерватории, где они учились.

Через несколько часов Алексей Ботвинов со сцены оперного театра открыл свой Шестой фестиваль, а затем сел к роялю – и Цюрихский балет начал свое кружение под рождающуюся музыку…

Если говорить применительно к этой ситуации о снисхождении судьбы, то оно состояло в том, что мы не видели лица Алексея – оно было в тени.

В жаркие и тревожные августовские дни Одесса доказала, что может, умеет и не боится столь серьезных испытаний. Что она, уже не раз доказывавшая свой характер и нрав, и в XXI веке может предстать как единственный город в Европе, где в столь экстремальной ситуации состоялся международный фестиваль высокой музыки.

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен перед концертом пианиста Себастиана Кнауэра подчеркнула, что в год двухсотпя-

Концерт опен-эйр на Потемкиской лестнице. Алексей Ботвинов и Национальный симфонический оркестр Украины: звучит музыка Сергея Рахманинова

тидесятилетия Бетховена ни в Германии, ни в других странах не отмечали столь торжественно этот юбилей. И лишь в Одессе на фестивале достойно звучала его великая музыка.

И в завершение – о том, что девиз «Сквозь тернии – к звездам!» все же реализовался на нашем фестивале в прямом смысле. На концерте опен-эйр на Потемкинской лестнице Алексей Ботвинов и Национальный симфонический оркестр Украины играли Концерт Сергея Рахманинова. И гениальная музыка понеслась над морем к звездному небу Одессы, в котором на сей раз не стрекотали дроны телевизионщиков, и крылатому Гению места было вольготно кружить над городом и миром.

Виталий Абрамов

О художнике Александре Неймане
(1831 – после 1871)

Несколько обстоятельств побудили нас попытаться воссоздать разрозненные и потерявшиеся во времени страницы биографии и творчества этого мастера.

Как выяснилось, его судьба в основном была связана со значительными художественными центрами Германии середины XIX века: Дюссельдорфом, где он получил художественное образование, Гамбургом, Берлином, Дрезденом. Там он смог достойно реализовать свой творческий потенциал и приобрести определенную известность, активно участвуя в деятельности художественных объединений, представляя свои произведения на академических и других выставках. География его странствий включала, помимо Германии, Францию, Австрию, Италию, Бельгию и Венгрию.

Специализируясь, прежде всего, в жанровой и портретной живописи, А. Нейман увлекался этнографией, что придавало произведениям художника определенность, убедительность и точность в передаче национальных черт его персонажей.

Современные живописцу художественные критики, иногда с осторожностью оценивавшие его произведения («в картине больше ловкости мастерства, чем вкуса…»), в основном лестно отзывались о профессиональных качествах его работ: «…прекрасная, мастерская кисть», «широкая, свободная манера» и пр.

Особое значение для нас имеют факты, связанные с деятельностью А. Неймана в Одессе, где он бывал с перерывами трижды и сыграл определенную роль в развитии художественной жизни города, в том числе основании и деятельности Одесского общества изящных искусств. Поразительно, но зарубежные источники о контактах художника с Одессой не упоминают. Интрига в том,

что доступные нам свидетельства, солидарно указывая год рождения А. Неймана – 1831-й, разнятся в определении места рождения художника. Одни называют Одессу, другие – Офен (город Буда, часть нынешнего Будапешта, Венгрия). Ничего не известно о социальном и семейном статусах художника. Единственный раз встретилось упоминание о его иудейском вероисповедании.

Время и обстоятельства отнеслись к наследию художника, мягко говоря, небрежно. Из изначального ряда его произведений, названия которых зафиксированы в прижизненных каталогах и рецензиях, до наших дней дошли лишь четыре. Два из них – в собрании Одесского художественного музея.

В Королевской Академии искусств Дюссельдорфа. 1850-1852

Дюссельдорф – один из главных художественных центров Германии XIX века. Существует несколько немецких изданий, посвященных истории Академии искусств Дюссельдорфа. В них и находим некоторые сведения о судьбе Александра Неймана. Наиболее ранний источник – справочник, составленный профессором академии Р. Вигманом «Королевская Академия искусств в Дюссельдорфе. История, устройство, развитие и дюссельдорфские художники», изданный в 1856 г. в Дюссельдорфе. В справочнике отмечено: «Александр Нейман, род. в Одессе в 1831. В Академии Дюссельдорфа в 1850-1852, показал в натуральную величину костюмированную картину «Славянский певец», в которой больше ловкости мастерства, чем вкуса»[1] (здесь и далее помощь в переводе с немецкого оказал Кирилл Фараджев (Германия)).

В «Справочнике академических списков успеваемости Академии художеств Дюссельдорфа», изданном Пресс-бюро Государственного архива Северного Рейна – Вестфалии, обозначены оценки успеваемости ученика Неймана Александра: «Одесса, 19 лет, по портрету (очень хорошо, отлично, очень хорошо)»; и на следующем курсе: «Нейман Александр. – Одесса. Жанровое искусство (очень хорошо, отлично, очень хорошо)».[2]

Современный немецкий историк искусств Беттина Баумгертель (Bettina Baumgärtel) в книге «Дюссельдорфская школа живописи и ее международная привлекательность, 1819-1918» приводит сведения о том, что Нейман учился в Дюссельдорфской художественной академии с 1850 по 1852 г., его учителем назван Теодор Гильдебрандт (Theodor Hildebrandt, 1804-1874). Здесь же отмечено его членство в Дюссельдорфском художественном объединении «Малкастен» (Malkasten)[3]. Это объединение, название которого переводится как «этюдник» (буквально – ящик красок), существовало с 1848 г. и сыграло значительную роль в продвижении интересов искусства не только в Дюссельдорфе, но и в Германии в целом. О его деятельности в 1860-е гг. писали русские художники А. Боголюбов и В. Резанов.[4]

В Гамбурге. 1852-1857

О пятилетнем пребывании А. Неймана в Гамбурге известно крайне мало. В XXV томе известного словаря художников Тима и Беккера, увидевшего свет в 1931 г., помещена небольшая статья под инициалами «K. L.». В той части, где автор касается биографии А. Неймана, указано: «1852-57 Гамбург», «1860-68 Берлин».

В кратком электронном варианте биографии А. Неймана без ссылки на источник информации указано, что он с 1852 по 1857 г. жил в Гамбурге, а с 1860 г. в Берлине. Он путешествовал по Венгрии и некоторое время жил в Будах.[5]

Некоторые подробности контактов А. Неймана с художественными объединениями Гамбурга обнаруживаются в «Списке деятелей изобразительного искусства Гамбурга, Альтоны и окрестностей», изданном в Гамбурге О. Брекером в 1912 году. Здесь читаем: «Нейман А., художник. В 1854-м году художественное объединение Гамбурга приобретает картины «Славянский скрипач», в 1855-м г. его же «Славянские музыканты» и «Дед и внук», в 1857-м г. «Венгерский скрипач». Отметим также, что в Гамбурге в 1861 г. А. Нейман экспонировал несколько жанровых картин.

Произведения А. Неймана в справочнике Фридриха фон Бёттигера

MALERWERKE

DES

NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERTS.

BEITRAG ZUR KUNSTGESCHICHTE

VON

FRIEDRICH VON BOETTICHER.

ZWEITER BAND.

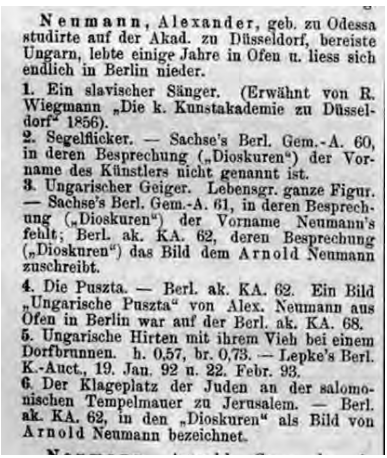
(ERSTE HÄLFTE BOGEN 1–32)

Mayer — Rybkowski.

DRESDEN,

FR. v. BOETTICHER'S VERLAG.

1898.



Neumann, Alexander, geb. zu Odessa studirte auf der Akad. zu Düsseldorf, bereiste Ungarn, lebte einige Jahre in Ofen u. liess sich endlich in Berlin nieder.

1. Ein slavischer Sänger. (Erwähnt von R. Wiegmann „Die k. Kunstakademie zu Düsseldorf" 1856).
2. Segelflicker. — Sachse's Berl. Gem.-A. 60, in deren Besprechung („Dioskuren") der Vorname des Künstlers nicht genannt ist.
3. Ungarischer Geiger. Lebensgr. ganze Figur. — Sachse's Berl. Gem.-A. 61, in deren Besprechung („Dioskuren") der Vorname Neumann's fehlt; Berl. ak. KA. 62, deren Besprechung („Dioskuren") das Bild dem Arnold Neumann zuschreibt.
4. Die Puszta. — Berl. ak. KA. 62. Ein Bild „Ungarische Puszta" von Alex. Neumann aus Ofen in Berlin war auf der Berl. ak. KA. 68.
5. Ungarische Hirten mit ihrem Vieh bei einem Dorfbrunnen. h. 0,57, br. 0,73. — Lepke's Berl. K.-Auct., 19. Jan. 92 u. 22. Febr. 93.
6. Der Klageplatz der Juden an der salomonischen Tempelmauer zu Jerusalem. — Berl. ak. KA. 62, in den „Dioskuren" als Bild von Arnold Neumann bezeichnet.

В справочнике Фридриха фон Беттигера (1826-1902) «Картины XIX века. Вклад в историю искусств» помещены краткие биографические сведения об А. Неймане, перечислены его произведения с указанием их участия на выставках и аукционах, а также упоминания этих произведений в немецком художественном журнале «Диоскуры» («Dioskuren»), издававшемся в Берлине с 1856 по 1875 гг.[6]

Сравнительно недавно журнал был оцифрован Библиотекой Гейдельбергского университета, и его содержание стало доступно исследователям. Это позволило существенно расширить сведения из справочника Беттигера выдержками из статей немецких художественных критиков, содержащих названия и описания некоторых произведений А. Неймана, а также перечень выставок с указанием его работ.

Синтезируя указанное выше, мы получим следующее:

Обложка и фрагмент страницы книги Фридриха фон Беттигера «Картины XIX века. Вклад в историю искусств». 1898 г.

«Нейман, Александр, род. в Одессе, учился в академии в Дюссельдорфе, путешествовал в Венгрию, жил несколько лет в г. Буда и наконец поселился в Берлине».

Произведения

Славянский певец (Ein slavischer Sänger).

Упоминается Р. Вигманом. «Королевская Академия искусств в Дюссельдорфе». 1856 г.

Парусник (Segelflicker).

Sachse's Berl. Gem.-A. 60. Имеется в виду аукцион картин 1860 года в салоне (галерее) художника Захсе (Louis Friedrich Sachse; 1798-1877), существовавшем в Берлине с 1853 года. Полное название салона «Die permanente Gemälde-Ausstellung von Sachse».

В рецензии на эту работу, помещенную в журнале «Диоскуры» (1860, 26 февр., № 9), отмечено: «…–«Парусник» Неймана милая картинка, только, кажется, что она написана с игрушечной модели».[7]

Венгерский скрипач (Ungarischer Geiger).

Изображение в натуральную величину. Берлинская картинная галерея Захсе, 1861, в рецензии в «Dioskuren» имя Неймана отсутствует; Берлинская академия художеств, 1862, в рецензии в «Dioskuren» картина приписана Арнольду Нейману.

Картина в июле 1861 г. также показывалась на выставке в Гамбурге. В рецензии на эту работу, помещенную в журнале «Диоскуры», отмечено: «Гамбург. – Уже несколько дней наша постоянная художественная выставка привлекает зрителей несколькими визуальными картинами. […] Добавлены только несколько жанровых картин: А. Нейман предоставил несколько из них, наиболее важными из которых являются его «Венгерские цыгане». Успешно показана национальная и характерная черта старого скрипача, который, прислушиваясь, делает большим пальцем пиццикато, и все это имеет сильный, слегка сухой цвет».[8]

О выставке в Берлинской картинной галерее Захсе читаем в другом обзоре журнала «Диоскуры»: «Венгерский скрипач»

Неймана из-за отсутствия выражения слишком напоминает модель и выглядит пустым, особенно из-за своего большого размера; [...]».[9]

В январе 1862 г. журнал «Диоскуры» вновь обращается к рассмотрению работы А. Неймана «Венгерский скрипач», показанной в берлинской галерее Захсе: «1. Постоянная выставка живописи у Захсе. [...] Переходя собственно к жанровой живописи, отметим, во-первых, снова картину Неймана в натуральную величину: «Венгерские цыгане», которые, кажется, являются частью «Словаков» и довольно хороши по типу, но не совсем подходят для этого претенциозного размера, поскольку в нем слишком мало действия. Живопись по-прежнему страдает некоторой шероховатостью».[10]

Пушта (Die Puszta) [название обширного степного региона на северо-востоке Венгрии].

Берлинская академическая художественная выставка 1862 г. Картина «Венгерская Пуста» (степь) Алекс. Неймана из Буды экспонировалась на Берлинской академической художественной выставке 1868 г.

В мае 1862 г. картина была показана на Постоянной выставке в галерее Захсе. В журнале «Диоскуры» произведение описано следующим образом: «Венгерская степь» [Пуста или Пушта] Неймана – картина, очень умело выполненная и свидетельствующая о тонкой восприимчивости к простым природным явлениям: венгерский крестьянин, поящий из степного источника своего коня. В одиночестве, присущем всей сцене, а также в положении фигур, да и в самой лошади, чувствуется налет меланхолии, которая воздействует очень поэтично, поскольку отчетливо, но ненавязчиво передает ощущение природного мира».[11]

Венгерские пастухи со скотом у деревенского колодца (Ungarische Hirten mit ihrem Vieh beim Dorfbrunnen).

Размеры: высота 0,57, ширина 0,73. Экспонировалась в Берлинском аукционном доме Рудольфа Лепке 19 января 1892 и 22 февраля 1893 г.

В контексте наших разысканий особняком стоят два сообщения в журнале «Диоскуры» за 1862 г. В первом речь идет о берлинской Выставке художественных объединений (Ausstellung des Kunstvereins): «В своих «Переселенцах» Нейман не без явного стремления к более глубоким характеристикам подхватывает уже известный мотив, особенно успешно среди прочих художников развиваемый фройляйн Антонией Болкмар [Antonie Bolkmar]. Наряду с вниманием, которого заслуживает исполнение окружающей среды, особенно воды, похвального упоминания среди изображенных фигур достоин стоящий в полный рост в лодке крестьянин в белом сюртуке с трубкой во рту. Это весьма характерная, будто подсмотренная у самой природы фигура, в то время как другие персонажи, и в первую очередь оставшиеся на причале, выполнены не так удачно и с меньшим тщанием».[12] Имя или инициалы Неймана в этой статье отсутствуют.

Второе сообщение опубликовано в № 33 журнала от 17 августа: «Художественные институты и художественные объединения. Королевская академия художеств в Берлине. I. Конкурс в Королевской академии [художеств] в Берлине. [...] Предназначенный для художников еврейского исповедания конкурс проводился для произведений исторической живописи, из двух соискателей награду получил Александр Нейман, проживающий в Буде».[13]

В заключение отметим, что на выставке в Берлинской Академии художеств, проходившей в 1862 г. с 7 сентября по 31 декабря, А. Нейман, согласно каталогу, показал три произведения. В каталоге выставки указано: «Александр Нейман из Венгрии, в настоящее время в Берлине».[14]

О картинах художника на выставке 1862 г. в журнале «Диоскуры» писалось: «Мы уже обсуждали «Пусту» Арнольда [ошибка, правильно – Александра] Неймана в других случаях. Мы также упоминаем достойную внимания картину «Иаков и Рахель у колодца» того же художника, поскольку она тоже выполнена скорее с этнографической, а не библейской точки зрения, и «Венгерского скрипача», который также обсуждался».[15]

Первое «сидение» в Одессе (1858 г.)

Во второй половине 1858 г. А. Нейман оказывается в Одессе. Об этом свидетельствуют два материала из газеты «Одесский вестник» за 1858 г., на которые обратила наше внимание сотрудница Одесской национальной научной библиотеки Л. Ижик. Первый – это объявление, помещенное в газете от 24 окт. (№ 118, с. 648):

«Прибывший в здешний город из-за границы живописец А. Нейман имеет честь известить, что он открыл свою мастерскую в доме Маюрова, на бульваре в бельэтаже, где можно видеть его картины».

Точное время прибытия художника в Одессу не установлено. Справедливым будет предположить, что он оказался в Одессе несколько ранее публикации объявления, так как до этого должен был получить для открытия мастерской соответствующее разрешение одесского градоначальника.

Второй материал – опубликованная 4 ноября (№ 124, с. 667) в рубрике «Фельетон» и подписанная инициалами «Я. В.» статья о визите журналиста в мастерскую художника. Приводим ее с некоторыми сокращениями:

«Недавно нам случилось зайти в мастерскую приехавшего из-за границы молодого живописца А. Неймана. Отправляясь в студию художника, мы, не зная почему, имели смутное предчувствие, что там посчастливится, быть может, нам отдохнуть несколько минут от неотразимого влияния всепоглощающего меркантилизма нашей обыденной атмосферы… <…>

Под влиянием таких безотрадных размышлений вошли мы в мастерскую г. Неймана и, признаемся, провели там несколько часов с истинным наслаждением. Г. Нейман окончил свое художническое образование в Дюссельдорфской академии; посещал лучшие мастерские в Париже, Брюсселе, Мюнхене; много видел, много трудился, и из своих артистических поездок вынес богатый и разнообразный запас основательных познаний в теории живописи и широкую, свободную манеру новейшей французской школы.

В настоящее время в его мастерской вы не увидите много совершенно доконченных картин; но для опытного глаза истинно-

го знатока это отсутствие произведений готовых не помешает составить верное понятие о таланте и силах художника: талант этот проявляется с поразительной очевидностью в легких этюдах, писанных с натуры, a la prima, живой и смелой кистью. <…> А у г. Неймана есть много заслуживающих внимания этюдов, писанных с натуры: вы можете указать, между прочим, на превосходно моделированную голову еврея, на несколько рисунков, набросанных на берегу моря, в Гельголанде, и представляющих сцены из рыбачьей жизни; на типическую голову цыганки и пр.

Из оконченных картин замечателен по исполнению, художественной верности тонов и тому поэтическому чувству природы, без которого изображение какой-нибудь местности не более, как холодный, ничего не говорящий душе портрет без физиономии, один венгерский пейзаж. Перспектива гор, теряющихся в прозрачной воздушной синеве отдаленных планов; слегка подернутая зыбью гладь озера, отражающего лиловато-зеленые переливы нижней части горных отлогостей, пристань, на которой спокойный венгерский поселянин с трубкой в зубах и невозмутимым хладнокровием на лице ожидает вместе с лошадью возвращения парома; наконец, первые планы, где так много истины в колорите и рисунке каменистой почвы; все это – воздух, горы и одушевленные предметы – исполнено с большой отчетливостью и носит ясный отпечаток неподдельного чувства любви к природе и способности передавать ее гармонические явления в поэтической форме. Не хуже и другой, меньшего объема, венгерский пейзаж: то же чувство, то же старание быть верным действительности и избегать приемов условленной рутины.

Молодой живописец с милой обязательностью показывал нам несколько фотографических снимков с картин его, бывших принятыми на заграничных выставках. Большая часть этих картин продана; некоторые в скором времени должны прибыть в Одессу. Обращаем особенное внимание любителей на снимки с картин: буря на море, прядильщица, жених и два пейзажа. Несколько акварелей, в особенности превосходный портрет Петра Великого, показывают, что г. Нейман не пренебрегает и этим родом живописи…

Посреди мастерской, великолепно освещенной огромным окном с бульварной улицы, красуется на станке с большим умением написанный портрет одной знакомой нам особы; живописец передал физиономию, характер лица, которое дышит своей собственной, ему одному принадлежащей жизнью. Вероятно, недовольствующиеся бледными фотографиями и дагерротипами воспользуются пребыванием г. Неймана в нашем городе: в числе утешительных предметов нашего домашнего заветного уголка верное и живое изображение лиц, разлученных с нами и дорогих нашему сердцу, занимает первое место. Сколько я слышал, г. Нейман не подвергает своих оригиналов мучительной пытке продолжительных сеансов; он пишет скоро, бойко, без ощупи, и это чрезвычайно важно: от быстроты работы зависит свежесть исполнения, не говоря уже о том, что долговременный сеанс наводит скуку, растягивает и удлиняет лицо, а старание скрыть зевоту, производящее неестественное подергивание мускулов и красноту глаз, изменяет характеристические черты позирующего, и портрет получает невольно какое-то тупоумное, натянутое выражение.

В заключение считаем не излишним привести слова одной из немецких газет по поводу картины г. Неймана «Славянский певец», бывшей на прошлогодней выставке в Дюссельдорфе: «Мы переходим теперь к произведению одного истинного художника, делающего честь Дюссельдорфской академии, г. А. Неймана. Видно, что художник много мыслил при изображении этого лица; он, так сказать, воплотил свою идею и провел ее с большим искусством сквозь все трудности технического производства; рисунок и колорит благодетельно действуют на зрителя. Видно, что г. Нейман глубоко изучил основные начала живописи, что желательно было бы встречать и в наших других молодых живописцах».

Мы от души желаем г. Нейману полного успеха в нашем городе. Дай Бог, чтобы он, уезжая от нас, не унес с собою на родину, в дальний Офен, упрека в нашей сухости и равнодушии к искусству, имеющему в нем одного из усерднейших и пламенных адептов».

Второе «сидение» в Одессе (май 1864 – 1867)

28 мая 1864 г. газета «Одесский вестник» (№ 116) опубликовала следующее объявление: «Александр Нейман, художник Дрезденской, Антверпенской и Дюссельдорфской академий, член Общества берлинских артистов и Политехнического общества в Париже, удостоившись премии в Берлинской академии за историческую живопись, прибыв сюда из Рима, имеет намерение поселиться в Одессе и открыть академический институт рисования и живописи. Для этой цели он приобрел статуи и необходимые материалы, которые в скором времени должны прибыть из-за границы. А до того он намерен давать уроки живописи масляными красками, равно как акварель и пастель; принимает заказы, как то: церковные картины, портреты и иллюстрации. Жительство имеет в доме князя Гагарина на Екатерининской улице, у дантиста С. Бурксера».

Спустя четыре месяца, в сентябре 1864 г., А. Нейман в числе пятидесяти представителей культурной среды города (куда наряду с отечественными художниками входили около двадцати живописцев – представителей итальянской, немецкой, польской колоний Одессы) подписал прошение к новороссийскому и бессарабскому генерал-губернатору П.Е. Коцебу об учреждении в Одессе общества изящных искусств. Текст этого документа и устав будущего общества были опубликованы в 1865 г.[17] В прошении имя Неймана следует вторым после академика архитектуры Ф. Моранди – будущего вице-президента общества. Можно заметить ряд общих моментов в программе деятельности Одесского общества изящных искусств и общества «Малкастен» в Дюссельдорфе, членом которого, как отмечалось, был А. Нейман.

Еще до официального открытия одесского общества, в конце сентября 1864 г., А. Нейман публикует объявление о начале работы анонсированных им ранее мастерской и школы рисования: «А. Нейман, художник Дрезденской, Дюссельдорфской и Антверпенской академий, член Парижского политехнического института, открыл свою мастерскую в Воронцовском переулке в доме Ковшаровой, № 3; принимает заказы живописи, а также

желающие брать уроки в его квартире платят за 12 уроков по 2 часа 8 рублей в месяц. Уроки будут разделены – три раза в неделю для дам и три для мужчин»[18].

Место расположения квартиры А. Неймана было, как говорится, намолено. Ранее здесь жил и работал известный в Одессе художник и резчик по дереву Иван Иванович Ковшаров, руководивший в конце 1840-х гг. работами по декоративному оформлению дворца М.С. Воронцова, автор проектов стенных росписей залов биржи и пр.[19]

Заметим, что курсы рисования и живописи А. Неймана по этому же адресу существовали и в 1865 году. Позже, в 1870-м и 1871 гг., их работа возобновилась.[20]

Курсы А. Неймана пользовались успехом, о чем свидетельствует публикация «По поводу Одесского общества изящных искусств» в «Одесском вестнике», подписанная «Один из членов-учредителей Общества». В ней читаем: «Лучшие из наших художников, Плис и кроме него г-н Нейман, первыми основали у нас частные рисовальные школы (выпускник С.-Петербургской академии С.Е. Плис открыл свою школу в январе 1864 г. – **В. А.**), и сколько нам случалось слышать, ученики их делали быстрые успехи, что доказывает хорошую методу преподавания и знание своего дела. Между тем ни тот, ни другой не были удостоены приглашением к участию в основании школы Общества и распределении занятий».[21]

28 февраля 1865 г. состоялось официальное открытие общества, и на собрании его членов «избрана была временная комиссия из 12 особ для обсуждения вопросов, касающихся дальнейших действий общества: М. Анискевич, С.О. Дунина, Ф.Ф. Мальмана, Ф.О. Моранди, Н.И. Мурзакевича, А.А. Неймана, П. Раканье, В. Рентеля, М.Ф. Де-Рибаса, И.В. Серебрякова, Р.Э. Федоровца и Р. Хойнацкого».[22]

А. Нейман в 1865 г. значился преподавателем в созданной обществом школе рисования и черчения.[23]

В июне 1865 г. общество открыло свою первую выставку, в состав которой входили как произведения западноевропейских художников из частных собраний, так и работы местных мастеров. В изданном на французском языке каталоге выставки перечис-

лены семь произведений А. Неймана.[24] Приводим этот перечень с переводом названий произведений на русский язык:

№ 65. Neumann Alex – Estafette moyen Âge (Средневековый гонец) – продается;

№ 66. Neumann Alex – Portrait (Портрет);

№ 67. Neumann Alex – Hongrois faisant abreuver son cheval (Венгерец при водопое) – продается;

№ 68. Neumann Alex – Tête d'un Turc (Голова турка);

№ 71. Neumann Alex – Paysage (Пейзаж);

№ 72. Neumann Alex – Marine (Марина);

№ 261. Neumann Alex – Joueur de violon (Скрипач) – продается.

Это была единственная выставка в Одессе, в которой принял участие А. Нейман. В рецензиях, сопровождавших работу выставки, он не упоминался. Тем не менее рецензент второй выставки общества отметил: «К сожалению, мы не нашли на выставке произведения многих наших художников, в том числе и г-на Неймана, весьма талантливого художника. Его «Водопой» и «Эстафета» заставляли останавливаться перед ними многих почитателей первой выставки».[25]

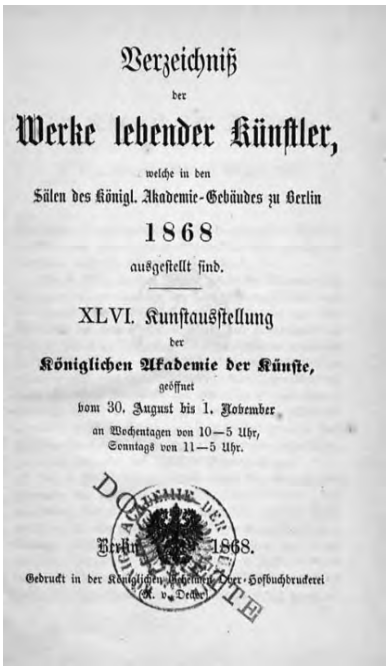
Как видим, здесь названы две картины, которые не обозначены в приведенном выше каталоге выставки. Скорее всего, под названием «Водопой» корреспондент имел в виду работу «Венгерец при водопое», а «Эстафета» – это и есть «Средневековый гонец» (по первому слову названия картины по-французски: «Estafette»).

Заметим, и это важно для дальнейших разысканий, что на выставке в Одессе А. Нейман представил два произведения, ранее показанные им на выставке в Германии: «Венгерец при водопое» и «Скрипач» («Венгерец со скрипкой»). Остается открытым вопрос – по какой причине А. Нейман, имея богатый опыт выставочной деятельности в Европе и значительное число рецензий в различных немецких изданиях, перестал принимать участие в выставочных программах общества, хотя продолжал оставаться членом Общества изящных искусств до 1867 г.?

18 февраля 1866 г., согласно протоколу заседания общества, было «…заслушано предложение о покупке у А. Неймана картин для картинной галереи из суммы 100 руб., пожертвованных Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой… Уплатить Нейману за две

картины «Эстафета» и «Степь»[26]. Если название «Эстафета» ранее рассматривалось, то «Степь» фигурирует впервые.

Согласно «Списку членов Общества изящных искусств в Одессе за первое десятилетие», Александр Антонович Нейман, судя по уплате им членских взносов, также отмеченных в этих списках, состоял в обществе в 1865 и 1866 гг. В списке 1867 г. против его фамилии проставлена пометка о смерти.[27] Каково же было наше удивление, когда в «Новороссийском календаре» за 1867 г. в числе членов Совета Общества изящных искусств обнаружились имена А. Неймана и известного одесского художника и фотографа Рудольфа Эдуардовича Федоровца![28]



Verzeichniß
der
Werke lebender Künstler,
welche in den
Sälen des Königl. Akademie-Gebäudes zu Berlin
1868
ausgestellt sind.

XLVI. Kunstausstellung
der
Königlichen Akademie der Künste,
geöffnet
vom 30. August bis 1. November
an Wochentagen von 10—5 Uhr,
Sonntags von 11—5 Uhr.

Berlin 1868.
Gedruckt in der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei
(A. v. Decker)

1868 г.

На выставке в Берлинской Академии художеств, проходившей с 30 августа по 1 ноября 1868 г., А. Нейман, согласно каталогу, показал одно произведение («Пушта»). В каталоге выставки указаны место рождения художника – из Офена, и дан его адрес в Берлине.[16]

Alex. Neumann
aus Ofen, in Berlin, Möckernstr. 127.
516. Ungarische Pusta.

Последний визит в Одессу (конец 1870 – начало 1871)

АЛЕКСАНДРЪ НЕЙМАНЪ
ХУДОЖНИКЪ
Дрезденской, Дюссельдорфской и Антверпенской академій членъ политехническаго института въ Парижѣ и пр. Преподаетъ уроки рисованія и живописи. Ремесл. ул. д. Чемеренковой, № 34 й. 6—2509 3

УРОКИ
И РИСОВАНІЯ ЖИВОПИСИ
на Дерибасовской ул. въ домѣ Микулича.
у художника Неймана
входъ черезъ Красный Греческій переул.
3—3?1 3

В конце 1870 г. «Одесский вестник» опубликовал объявление: «Александр Нейман, художник Дрезденской, Дюссельдорфской и Антверпенской академий, член Политехнического общества в Париже и пр. Преподает уроки рисования и живописи. Ремесленная ул., д. Чемеренковой, 34-й».[29] Через десять дней та же газета напечатала новый вариант объявления: «Уроки рисования и живописи на Дерибасовской ул. в доме Микулича у художника Неймана. Вход через Красный Греческий переул.».[30] Этот текст публиковался еще дважды в мартовских номерах.

Дальнейшая судьба мастера пока остается неизвестной.

О бытовании произведений А. Неймана в Одессе

Следует признать, что вопросы, связанные с выявлением произведений художника, уточнением их названий, сюжетов, размеров, перемещением и пр., требуют привлечения и рассмотрения материалов музейной документации. Особенно это касается исследования самых ранних произведений, поступивших в собрание Общества изящных искусств для будущего городского музея. Пример – указанная нами выше закупка двух работ А. Неймана на средства Е.К. Воронцовой. Согласно уставу общества, обязанность фиксации и учета поступавших

в общество произведений лежала на консерваторе. Им был в то время итальянский художник Пьетро Бони. Но покупка, как видно, зафиксирована не была.

Сложилось так, что первая инвентарная опись Рисовальной школы общества была опубликована в 1875 г., спустя десять лет после ее основания.[31]

В описи зафиксированы «масляные картины на полотне в золоченых рамах», и среди них – три работы А. Неймана:

№ 132 – «Венгерец при водопое» – 100 руб.

№ 136 – «Венгерец со скрипкой» – 50 руб.

№ 173 – «Воинский пост» – 50 руб.

Первые два названия, как видим, фигурируют в каталоге первой выставки общества. Время поступления картины «Воинский пост» и ее сюжет не установлены. В аналогичном инвентарном перечне за 1884 г. значатся те же названия (№ 131, 134, 135).[32]

Спустя четыре года, в 1887 г., по настоянию заведующего Рисовальной школой общества проф. Н.П. Кондакова была проведена инвентаризация имущества школы. В ее итоговом документе значатся следующие работы А. Неймана:

№ 4 – «Магдалина», 25 руб.

№ 28 – «Исторический пейзаж», 50 руб.

№ 29 – «Цыган у колодца», 20 руб.

№ 49 – «Цыган» (этюд), 70 руб.

№ 164 – «Исторический жанр», 5 руб.[33]

Последний перечень, безусловно, требует комментариев. Первое – в перечне значится не три, а пять произведений. Появляется работа «Магдалина», которая, очевидно, поступила в период с 1884 по 1887 гг.; второе – «Венгерец при водопое» стал именоваться «Цыган у колодца»; далее – «Венгерец со скрипкой» стал называться «Цыган» (этюд). Таким образом, в названиях произведений «венгерцы» были произвольно заменены на «цыган». И наконец, в перечне появились две картины с неопределенными названиями: «Исторический жанр» и «Исторический пейзаж». Почему составители перечня 1887 г. игнорировали официально опубликованные в отчетах общества в 1875 и 1884 гг. названия работ, сказать трудно.

Следующий доступный нам документ, касающийся произведений А. Неймана, выполнен спустя более 30 лет после «списка 1887 г.», в конце 1918 г. Это рукопись и машинопись «Выпись из инвентарной книги Одесского городского музея изящных искусств (часть II)», составленная хранителем музея К.К. Костанди.[34] Здесь числятся уже не пять, а только три произведения А. Неймана:

№ 132 – «Магдалина». Инв. № 55, 100 руб.

№ 133 – «Исторический жанр». Инв. № 56, 75 руб.

№ 134 – «Играющий на скрипке цыган». Инв. № 57, 100 руб.

В документе впервые появляются инвентарные номера музея, но по-прежнему отсутствуют указания их размеров.

В 1922 г. картина под названием «Исторический жанр» (инв. № 56), согласно акту Народного художественного музея, была похищена.[35]

В 1923 г. из Народного художественного музея (ныне ОХМ) в Музейный фонд была передана картина А. Неймана «Магдалина». В акте передачи значится ее инвентарный номер, 55, номер Музейного фонда, 44, а также размеры в вершках: 15×12, что составляет 66×52,8 см.[36] Дальнейшая судьба произведения не установлена.

К последней работе из списка К. Костанди, «Играющий на скрипке цыган», мы еще вернемся.

Две картины А. Неймана из собрания Одесского художественного музея

Ориентировочно время создания произведения можно установить по выставке в Гамбурге 1861 г., где было представлено несколько жанровых картин А. Неймана, объединенных названием «Венгерские цыгане». Сюжет одной из них, «Венгерский скрипач», кратко и точно описан в рецензии, опубликованной в журнале «Диоскуры» (1861, 28 июля (№ 3), с. 231). Уместно привести фрагмент этой статьи: «…успешно показаны национальные и характерные черты старого скрипача, который, всматриваясь, делает большим пальцем пиццикато, и все это имеет сильный, слегка сухой цвет».

А. Нейман. Цыган со скрипкой, 1861 (?)
Х., м. 36×45 см. ОХМ. Инв. № Ж-295
Воспроизводится впервые

Согласно справочнику Ф. фон Беттингера, картина с названием «Венгерский скрипач» экспонировалась также в Берлине в 1861 г. в галерее Захсе и в 1862 г. в Берлинской Академии художеств.

После появления произведения на 1-й выставке Одесского общества изящных искусств в 1865 г., где оно фигурировало под названием «Скрипач», название неоднократно менялось. С 1874 по 1884 гг. произведение находилось в Обществе изящных искусств (судя по штампу на обратной

Картина А. Неймана «Скрипач» в экспозиции музея (в верхнем ряду крайняя справа)
Фото. 1930-е. Архив ОХМ

А. Нейман. Венгерский скрипач. Местонахождение и размеры не установлены (https:/de.m.wikipedia.org/Alexander Neumann. (Maler))

его стороне, в художественном училище общества) и числилось под названием «Венгерец со скрипкой». Пометки на обороте картины указывают, что затем работа перешла в собрание Городского музея изящных искусств и в 1919 г. имела название «Играющий на скрипке цыган», а в 1927 г. – «Играющий на скрипке старик». В 30-е годы картина находилась в экспозиции музея.

В каталоге собрания музея 1940 г. авторство картины «Цыган со скрипкой» было отнесено к однофамильцу А. Неймана, художнику-жанристу Тобиелю Мошевичу Нейману (1863 – ?), учившемуся в Петербургской АХ в 1885-1894 гг. Мало того, произведение получило другую дату создания – 1893 г. Дата якобы находилась в левом нижнем углу полотна, но при обследовании мы таковую не обнаружили.

Заметим, Т.М. Нейман никак не мог быть автором картины, поскольку она фигурировала на выставке в Гамбурге за два года до рождения Тобиеля Мошевича!

К доказательной части добавим также сопоставление картины «Цыган со скрипкой» с подписной, но, к сожалению, не датированной работой А. Неймана «Венгерский скрипач».

Сравнение устанавливает портретное сходство «скрипачей», идентичность деталей костюма – головной убор, сумка с кожаным ремнем и металлической пряжкой, изображение фрагментов барельефов и др. Отличие – формат: прямоугольник с полуциркульным завершением.

Второе произведение Неймана в собрании музея имеет условное название «Пейзаж с фигурами». По непонятным причинам

А. Нейман. Пейзаж с фигурами. 1860-е.
Х., м. 50×63. ОХМ. Инв. № Ж-976. Воспроизводится впервые

картина не вошла ни в один из каталогов музея. Визуальное исследование оборота устанавливает факт дублирования основы на новый холст, подтвержденное соответствующим штампом № 774 Киевской государственной научно-исследовательской реставрационной мастерской.

На подрамнике надписи: A. Neumann; М. Ф. [Музейный фонд] № 4042; ОГК [Одесская картинная галерея] № 976.

Вопросы о времени, источнике поступления и названии картины при передаче ее в Музейный фонд остаются открытыми. Известно, что в марте 1940 г. в связи с ликвидацией межмузейного фонда в числе произведений других художников из фонда в Государственный художественный музей (ныне ОМЗВИ) была передана картина А. Неймана «Итальянский жанр» (Х., м., 50×62).

В мае 1945 г. произведение было передано Одесской картинной галерее, где название «Итальянский жанр» было изменено на «Пейзаж с фигурами». Это название закрепилось за картиной на все последующие годы, несмотря на то, что оно не соответствует сюжету. Ближе к нему – «Венгерец при водопое», название картины, показанной на 1-й выставке Одесского общества изящных искусств в 1865 г.

Автор приносит сердечную благодарность Сергею Седых,
Ольге Барковской, Ларисе Ижик, Александре Дели,
Елене Полевщиковой, Юлии Богачёвой и Кириллу Фараджеву
за внимание и помощь в создании статьи.

P. S. Когда работа над статей была закончена, появилась информация, что на аукционе «Dorotheum» в Вене была выставлена картина, подписанная «Нейман из Офена».[37]

Примечания

[1] Wiegmann Rudolf. Die Königliche Kunstakademie zu Düsseldorf. Ihre Geschichte, Einrichtung und Wirksamkeit und die Düsseldorfer Künstler. Düsseldorf, 1856. S. 340.

[2] Kunstakademie Düsseldorf. Transskription der Schülerlisten 1839/40 – 1852/53. Nordrhein – Westfälisches hauptstaatsarchiv. Düsseldrof Reg. Düs. Präs Büro. Nr 1559. S. 217, 233.

[3] Baumgärtel Bettina. Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung, 1819-1918. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2011. Band 1. S. 436.

[4] Щён Т. «Этюдник» в Дюссельдорфе – ресторан im Malkasten [Электронный ресурс] / Татьяна Щён // Всё о Дюссельдорфе. URL: http://mydusseldorf.com/dusseldorf/etyudnik-v-dyusseldorfe-restoran-im-malkasten (дата обращения: 30.06.20).

[5] Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Neumann_(Maler) (дата обращения: 30.06.20).

[6] Boetticher Friedrich, von. Malerwerke des Neunzehnten. Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte. Dresden, 1898. Band 2. S. 142.

[7] M. Gr. Berliner Kunstschau // Die Dioskuren : deutsche Kunst-Zeitung. Hauptorgan der deutschen Kunstvereine. Berlin, 1860. 26 Februar (№ 9). S. 73. (Kunst-Kritik).

[8] Hamburg // Die Dioskuren. Berlin, 1861. 28 Juli (№ 30). S. 261. (Kunst-Chronik).

[9] M. Gr. Berliner Kunstschau : 2. Permanente Gemäldeausstellung von Sachse (Fortsetzung) // Die Dioskuren. Berlin, 1861. 17 November (№ 46). S. 393. (Kunst-Kritik).

[10] M. Gr. Berliner Kunstschau : 1. Permanente Gemäldeausstellung v. Sachse // Die Dioskuren. Berlin, 1862. 19 Januar (№ 3). S. 21. (Kunst-Kritik).

[11] Berliner Kunstschau // Die Dioskuren. Berlin, 1862. 18 Mai (№ 20). S. 159. (Kunst-Kritik).

[12] Berliner Kunstschau // Die Dioskuren. Berlin, 1862. 2 März (№ 9). S. 69. (Kunst-Kritik).

[13] Kunst-Institute und Kunst-Vereine // Die Dioskuren. Berlin, 1862. 17 August (№ 33). S. 259.

[14] Berzeichniz der Werke lebender künstler welche für die kunstausstellung in den königl. Akademie-Gebäudes zu Berlin 1862 algemeldet worden. XLIII. Kunstausstellung der Königlichen Akademie der Künste, 1862. Berlin, 1862. S. 51.

[15] Die akademische Kunstausstellung // Die Dioskuren. Berlin, 1862. 12 Oktober (№ 41). S. 323. (Kunst-Kritik).

[16] Berzeichniz der Werke lebender künstler welche für die kunstausstellung in den königl. Akademie-Gebäudes zu Berlin 1868 algemeldet worden. XLVI. Kunstausstellung der Königlichen Akademie der Künste, 1868. Berlin, 1868. S. 37.

[17] Учреждение Общества изящных искусств в Одессе и его Устав. Одесса : Типография П. Францова, 1865, с. 8.

[18] Одесский вестник. 1864. 24 сентября (№ 210).

[19] Губарь О.И. История первого городского кладбища // Первые кладбища Одессы / В.И. Смирнов, О.И. Губарь. Одесса, 2012, с. 276, 617.

[20] Одесский вестник. 1865. 26 августа.

[21] Одесский вестник. 1865. 11 ноября (№ 247), с. 823.

[22] Историческая записка Одесского общества изящных искусств с 28 февр. 1865 г. по 28 февр. 1875 г. // Отчет Одесского общества изящных искусств за первое десятилетие (1865-1875). Одесса: Тип. П. Францова, 1875. Разд. I, с. 7, прим. 3. (Далее – «Отчет ООИИ».)

[23] Список учителям, преподававшим в школе рисования и черчения Общества изящных искусств // Отчет ООИИ. Разд. III, с. 3.

[24] Catalogue de l'exposition de la Societé des Beaux-Arts d'Odessa,1865. Odessa : Inprimerie de L. Nitzsche,1865.

[25] Вторая художественная выставка в Одессе.// Одесский вестник. 1865. 14 октября (№ 224), с. 1-2.

[26] Выписка из протокола заседания Общества изящных искусств // Одесский вестник. 1866. 18 мая (№ 105), с. 344.

[27] Список членов Общества изящных искусств в Одессе за первое десятилетие… // Отчет ООИИ. Разд. V, с. 12.

[28] Новороссийский календарь на 1867 год. – Одесса: Тип. Л. Нитче, 1866, с. 8.

[29] Одесский вестник. 1870. 31 дек. (№ 285), с. 988; 1871, 10 янв.

[30] Одесский вестник. 1871. 2 марта (№ 45), с. 160; 6 марта (№ 49), с. 174.

[31] Историческая записка. II [Раздел VI]. Список вещей, принадлежащих Рисовальной школе… к 1 января 1875 года. С. 7.

[32] Список вещей, принадлежащих Рисовальной школе Общества изящных искусств к 1 января 1884 г. // Отчет о деятельности Одесского общества изящных искусств за 1883 г. Одесса, 1884, с. 8.

[33] Государственный архив Одесской области, ф. 367, оп. 1, д. 5. Инвентарный список имущества рисовальной, музыкальной школы и общеобразовательного училища. 12 мая. 1887 г.; см. также: Абрамов В.А. Список картин Одесского общества изящных искусств / В.А. Абрамов, С.А. Седых // Вісник Одеського художнього музею. Одесса, 2015. № 2, с. 141-147.

[34] Архив библиотеки ОХМ. Выпись из инвентарной книги Одесского городского музея изящных искусств (часть II).

[35] Архив хранения ОХМ. Акт Народного художественного музея от 19.XI.1922.

[36] Акт от 6 октября 1923 г. о передаче из Народного художественного музея в Музейный фонд картины Неймана «Исторический жанр». Архив хранения ОХМ. Дело 1.

[37] Dorotheum [Электронный ресурс]. URL: https://www.dorotheum.com/de/l/6459149/

Микола Жулинський

Іронічно-сатиричний погляд славного одесита

«Одеський декамерон» Георгія Голубенка

Талант Георгія Голубенка оригінальний. Це достойне вивершення традиції унікального характеротворення Ісаака Бабеля. Не випадково Георгій в короткому вступному слові «Четыре стороны смеха» згадує про це властиве одеситам парадоксальне мислення, яке так талановито відкрилося в «Одесских рассказах» Ісаака Бабеля.

Автор «Одеського декамерону» володів надзвичайно чутливим на парадоксальне мислення слухом, а головне – мав талант це мислення відтворити, наділити своїх героїв даром гумористично-іронічного самовираження, більше того, самокритичного під'юджування, дотепного підсміювання із себе самого, зі своїх друзів, сусідів, одеситів взагалі.

Оповідання, новели, оповіді Георгія Голубенка вражають безоглядною сміливістю в критично-іронічному, а то й саркастичному осміюванні та розвінчанні суспільно-політичних реалій так званої «епохи Брежнєва» і, звісно, ще ближчих до нас часів. Скажімо, оповідання «Претендент». Наче ось вчора написане (жаль, що нема під кожним твором дати написання чи опублікування), до чого ця річ актуальна, сучасна. Справді, ці наші виборчі кампанії нагадують часто сцени абсурду. І в своєму «Претенденті» Г. Голубенко блискуче довів до абсурду це політичне дійство завдяки витворенню парадоксальної ситуації з вибором в українському селі президента села (читай, держави). Справді, сміх і гріх.

Читаю «Моя спортивная жизнь» і конаю від сміху. Оглядаюся, чи ніхто мене не бачить, коли я аж захлинаюся, сміючись. Цей діалог тренера консерваторської команди з футболу та Додіка –

вершина діалогічної майстерності. А опис так званої спортивної форми? Ну як тут не розреготатися!

Який жаль, що я не побував на спектаклях (хоча б одному!) за п'єсами Георгія Голубенка!

Театр «Дом клоунов» – блискучий за режисурою та грою творчий колектив, який, гадаю, ні – переконаний, з будь-якого оповідання Георгія Голубенка здатний витворити сценічний шедевр. Я знаю, що в спектаклі «Рыжий город» Бориса Барського є й «Наметанный глаз», і «Неудачница», та інші оповідання. Таких комічних, із дотепними діалогами та ефектними мізансценами оповідань і новел у Голубенка густо насіяно.

Цікаво мені, в основу незакінченого роману «Архипелаг Литвак» покладені реальні події, реальний Борис Давидович Литвак? Це і реальний Литвак, і міфологічний, винесений на орбіту широкої популярності одеським усним міфотворенням. Його загальноодеська (і не тільки!) слава набута завдяки винятковій енергійності, ініціативності, ексцентричності мислення та поведінки. І, що не менш важливо, благородної авантюрності.

Георгій Голубенко, який щиро дружив з Борисом Литваком, витворив реально-міфічний образ вічного одесита, наділеного традиційними одеськими рисами підприємництва, унікальної особистості, яка готова в будь-яку мить активізувати десяток різних, іноді й абсурдних, але оригінальних ідей та запропонувати шляхи їх реалізації.

Та про цей роман, присвячений великому одеситу Борису Литваку, вичерпно сказав Валерій Семеновський у вступному слові до публікації глав цієї незавершеної історії.

Читаючи оповідання «Один день Бориса Давидовича», згадав, як я в ранзі віце-прем'єр-міністра України відвідував і його дитячу спортивну школу, і реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Борис Давидович бував у мене на роботі в Києві. А як він мене пригощав в Одесі! Пиво, таранька…

Після оповідань і п'єси Георгія Голубенка читати розділ «О друге» було боляче. Гірко, що такий талант, такий оповідач, творець сучасної «одеської мови», мови, вживленої ним органічно в художній текст, так рано пішов із життя. Спогади, як і фотографії, розчулюють до сліз.

Розкішна книга «Одеський декамерон» – це велика, гідна талановитого митця справа, яку зробила Тетяна Голубенко. Спасибі їй, як і художнику Михайлові Реві, що так оригінально, в емоційній проекції на образи-характери Георгія Голубенка проілюстрував це чудове видання.

Київ

Леонид Авербух

Одесские музы поэтов

С.Д. Кржижановский и А.Г. Бовшек

Всю мою трудную жизнь я был литературным небытием, честно работающим на бытие.

С. Кржижановский

Мои «соцопросы» показали, что имя писателя, драматурга, философа, историка и теоретика театра, а также талантливого и очень оригинального поэта Сигизмунда Доминиковича Кржижановского мало известно даже вполне маститым читателям и знатокам литературы, независимо от возрастной группы, к которой они принадлежат. «Глеба, что ли?»* – спросил один из них… Между тем по его сценариям были сняты очень популярные в 30-х гг. прошлого века и позже кинофильмы «Праздник святого Йоргена» и «Новый Гулливер». Но и этот факт был практически неизвестен современникам, так как в качестве сценаристов в титрах фигурировали фамилии режиссеров-постановщиков Я. Протазанова, а также А. Птушко и Г. Рошаля (с которым С. Д. дружил). Да и сам я, откровенно говоря, знатоком творчества, а тем более биографии героя этого очерка отнюдь не являлся.

Правда, если вернуться к словам самого нашего героя, приведенным выше в качестве эпиграфа, кое-что понять можно… «Четвертый, младший ребенок – единственный сын», родившийся

* Глеб Максимилианович Кржижановский (1872-1959) – революционер, советский государственный и партийный деятель, вице-президент АН СССР, ученый энергетик и литератор, друг Ленина.

в Киеве в 1887 году, происходил из польской семьи Фабианы Станиславовны и Доминика Александровича Кржижановских, жившей на окраине города. После окончания 4-й киевской гимназии в 1907 г. он продолжил обучение на юридическом факультете в Киевском университете, параллельно посещая лекции историко-филологического. Уже в годы учебы произошла первая публикация его стихов (1912), а после заграничной поездки по Италии, Австрии, Франции, Германии, в 1913, – путевые очерки были напечатаны в газете «Киевская мысль».

После окончания университета в 1913 году Кржижановский служил помощником присяжного поверенного при Киевском окружном суде, однако в 1918 бросил юридическую практику. Одна из биографов Сигизмунда Доминиковича, Е. Воробьева (а обилие литературы о нем и его творчестве потрясает! – **Л. А.**), писала: «…в 1918 году он, советский солдат, стоял на часах и невозмутимо читал Вергилия, на чем его и поймал комиссар Красной армии С.Д. Мстиславский. Позднее Мстиславский пригласит его на работу в редакцию Большой советской энциклопедии, для которой он сперва будет писать статьи, а затем станет контрольным редактором отдела литературы, искусства и языков.

В течение трех последующих лет все силы и внимание он отдавал литературе, писательскому опыту. В первом номере журнала «Зори» за 1919 год был напечатан рассказ «Якоби и «Якобы».

Он читал лекции по психологии творчества, истории и теории театра, литературы, музыки в Киевской консерватории, Музыкально-драматическом институте имени Н. Лысенко и Еврейской студии Киева.

В 1920-м он познакомился с одесситкой, актрисой Анной Бовшек, своей будущей музой и женой. Анна Гавриловна Бовшек родилась в нашем городе в 1887 году. В одесском областном архиве нам удалось обнаружить метрическую запись. Отец Анны был банковским служащим, мать – гимназическая преподавательница русского языка. В семье было еще несколько дочерей. Анна окончила восемь классов гимназии, затем училась на Московских высших женских курсах. Профессиональное образование получила в частной драматической студии А.И. Долинова и Первой студии Московского художественного театра. В 1907 году поступила

в труппу Одесского городского театра. Позже играла театрах Киева, Тулы, Нижнего Новгорода.

В 1914 году приехала в Москву, была принята в Первую студию МХТ. Работала под руководством К.С. Станиславского, Л.А. Сулержицкого и Е.Б. Вахтангова.

А.Г. Бовшек в юности

Первым браком сочеталась с театральным художником Павлом Узуновым, и, согласно свидетельствам современников, посаженным отцом на свадьбе был сам Станиславский. После разрыва с первым мужем в 1916 году Анна Бовшек оставила Художественный театр и ушла на фронт Первой мировой войны сестрой милосердия. В годы революции погиб ее отец.

В начале 1920-х годов она жила и работала в Киеве, регулярно выступала в концертах с художественным чтением, став одним из первых советских мастеров художественного слова. На одном из таких литературных вечеров и познакомились наши герои. Ниже привожу буквально выдернутые из текста описания этой и последующих встреч в воспоминаниях Анны Бовшек «Глазами друга»:

С. Кржижановский в Италии. 1912 г.

«Сладкопевцев (учитель Анны. – **Л. А.**) указал мне на высокого, слегка сутулившегося человека в зимнем пальто, большой шапке, закрывавшей пол-лица, и сказал – это

Кржижановский. Разглядеть Кржижановского было трудно, тем более что он сидел в темном углу. Не разглядела я его и тогда, когда ему было предложено высказаться». И далее: «…Кржижановский молча пожал руку. Было еще светло, когда закончился вечер. К счастью, оказалось, что нам с Кржижановским по дороге… Мне и тогда было очень хорошо, а сейчас кажется, что это был один из лучших дней в моей жизни.

…При дневном свете он показался мне еще худей и бледней, чем накануне. Все мы жили тогда в голоде и холоде, и похвалиться полнотой никто не мог, но его худоба и синеватая бледность лица казались болезненными…

К сожалению, в моем хозяйстве не оказалось ничего, кроме яблок, подаренных мне одной из моих учениц, только что вернувшейся из деревни… Яблоки были огромные, сочные, красные. Мне кажется, что я в течение всей последующей жизни таких чудесных яблок не видала. Кржижановский, получивший от меня яблоко, впоследствии посмеивался надо мной, утверждая, что я действовала методом Евы. В то утро мы договорились о первой литературной программе: Саша Черный и Андрей Белый. Этих поэтов я мало знала и потому попросила разрешения достать книги и познакомиться с ними. Кржижановский объяснил мне свой замысел и основные положения доклада.

…Поэты были мне не очень близки, но я страстно хотела, чтобы вечер прошел удачно, как в конце концов и произошло».

О Кржижановском: «…жест его был скуп, но выразителен, особенно выразительны кисти рук, белые, с тонкими длинными пальцами. Обладая великолепной памятью, он никогда не пользовался выписками, а цитировал целые страницы наизусть. Повторять одну и ту же лекцию он не мог, постоянно внося момент импровизации. Голос низкий, слегка приглушенный, богатый обертонами, казался насыщенным волевым посылом и увлекал слушателей неожиданностью интонаций. Александр Яковлевич Таиров, слушавший его много позже, не раз говорил, что по силе воздействия на аудиторию Кржижановский напоминал ему Жореса, хотя между этими двумя ораторами было мало общего».

«Думаю, – пишет Анна, – что секрет воздействия Кржижановского на аудиторию заключался в страстной сосредоточенности его мысли, влюбленности в тему и, конечно, в мастерстве». А в других воспоминаниях этого стройного голубоглазого блондина характеризовали так: «физически крепок, духовно – легко раним…».

Он прекрасно пел баритональным басом, и ему прочили оперную карьеру.

В Киеве А. Бовшек и С. Кржижановским подготовили несколько совместных концертных программ, в которых принимал участие также Г.Г. Нейгауз и оперные певцы. Вместе они устраивали концертные выступления, хорошо принимавшиеся рабочей, красноармейской и интеллигентской аудиторией.

В конце 1921 г. Анна Гавриловна перебралась в Москву, а позднее туда переехал и Кржижановский. Развитие их личных отношений в тот период Анна описывает весьма сдержанно. Разве что однажды упоминает о подаренной ей ветке сирени.

В 1922 году А.Г. Бовшек обратилась к педагогической деятельности. Параллельно с концертными выступлениями преподавала актерское мастерство и технику речи еще в Киеве, в Высшем музыкально-драматическом институте им. Н.В. Лысенко, а в Москве – в Театральной академии, студии Соловцовского театра, а также в Высших государственных экспериментальных мастерских Камерного театра, в Театральном техникуме им. А.В. Луначарского, на курсах им. А.Н. Островского.

В 1926-1932 годах была научным сотрудником первого разряда при Государственной театральной библиотеке Малого театра, консультантом по репертуару и вопросам театрального образования. С 1936 по 1962 год была руководителем и преподавателем Студии художественного слова Московского городского Дома пионеров и школьников в переулке Стопани. Куратором студии был И.М. Москвин. Студия, кстати, работала и в годы Великой Отечественной войны, актерские бригады ездили по военным госпиталям, выступали с концертами.

Они поселились в единственной комнате коммунальной квартиры в Земледельческом переулке, 3, но жили совместно далеко не всегда… С. Д. постоянно чувствовал потребность

А.Г. Бовшек в начале творческой деятельности

в отдельной комнате, которую имел в такой же коммуналке на Арбате, 44.

Параллельно с работой в студии Бовшек преподавала культуру речи и в Институте повышения квалификации педагогов, в Московском городском педагогическом институте им. В.П. Потемкина, а с 1943 года была преподавателем техники речи в Камерном театре.

В столице возникли контакты молодых людей с весьма интересными москвичами. Так, в частности, они бывали в доме будущего академика-биолога А.Н. Северцова, который, кстати, послужил одним из прототипов профессора Персикова в повести М.А. Булгакова «Роковые яйца».

В этом доме они встречали таких замечательных ученых, как Вернадский, Зелинский, Ферсман, Ольденбург и других. Здесь они за чашкой чая услышали рассказ о планах расщепления атома, знакомились с интереснейшими научными замыслами и свершениями. В этот же период они познакомились и творчески сотрудничали с московской творческой молодежью – с Верой Строевой, с группой Г.Л. Рошаля. Сигизмунд Доминикович читал ребятам лекции, беседовал о Мольере, его «эпохе комедии» – словом, как пишет Анна, обо всем, что требовалось знать в процессе работы. Тогда же познакомились с замечательным мастером художественно-

го слова, создателем жанра «театр одного актера» Владимиром Яхонтовым.

Приходится повторить, что ни Анна, ни Сигизмунд почти нигде не пишут о развитии личных отношений, о вступлении в брак, и только в ходе воспоминаний о совместной работе, о личностных особенностях С. Д., об интересных встречах, проскальзывает: – «*Наши* (Курсив мой. – **Л. А.**) материальные дела были на грани краха. Не имея летом заработка, я уехала в Одессу в надежде пережить трудные дни в семье со своими близкими. Уезжая, я не очень-то верила словам С. Д., уверявшего меня в том, что дела пошли на улучшение, и он вот-вот получит гонорар…». В разные годы они побывали в Коктебеле, где С. Д. жил некоторое время у восхищавшегося им М. Волошина, а Анна там провела всего два дня – в Тарусе, на Кавказе.

Он был страстным путешественником – бывал в Средней Азии, в Сибири. Анна пишет: «…Деньги, полученные за «Гулливера», вывели его из материального тупика и дали возможность провести летний отдых на юге. В это лето он жил в Одессе на Большом Фонтане в семье моей матери и сестры». (Складывается четкое представление, что сама Анна провела там лишь часть этого времени. – **Л. А.**) Забегая вперед, отметим, что официально их брак был зарегистрирован лишь четверть века спустя, в 1946 году, и в течение всех почти тридцати лет их фактического брака устно и письменно они обращались друг к другу на «вы»…

Анна свидетельствует:

«Больше всего С. Д. не любил и боялся красивых фраз и внешнего выражения чувств. О самом дорогом для себя: отчизне, литературе искусстве – он говорил редко, строго и требовательно отбирая нужные слова.

Так же скуп он был на признания и в личной жизни. Однажды он подарил мне англо-русский словарь. На титульном листе стояло (очевидно – его. – **Л. А.**) указание: «См. стр. 262, 272». Отыскав помеченные страницы, я прочла подчеркнутые слова darling, love (дорогая, любовь. – *англ.*). Избегая стертых привычных выражений, он бережно охранял чувства, прикрывая их словами чужого языка…»

И крайне редко в письмах к Анне:

«…Целую милую ручку (не швейной машинки, конечно) и еще раз прошу – если чем огорчил, простите. Виноват не я, а «он»: каждый самому себе только сосед. Отжил я этот десяток дней тихо-скромно: как будет дальше… почем я знаю? Ни бризам из меня не выдуть, ни солнцу из меня не выжечь подлой накипи, бессмысленного гневного «за что», которое умный человек не должен пускать себе в ум. Сейчас я немногим лучше маниаков: всюду и везде мысль о встрече, везде одно и то же: *Вы.* Вы мне путаете работу, прогоняете из головы все мысли, превращаете меня в воплощенное ожидание – ожидание существа, которое отказывает и в себе, и даже в той частице себя, которую можно переслать в почтовом конверте.

…Живу так – ни два, ни полтора, – скорее, пожалуй, «полтора», поскольку прошла только меньшая половина разлуки, и, следовательно, Вы только как бы полувернулись…

…Как всегда, в периоды перенапряжения, бросил на время пить (как хорошо иметь в запасе дурные привычки – есть от чего отказываться, и, освободив мозг от балласта, не снижаю лета) (когда спрашивали, зачем он пьет, он отвечал: «Из-за трезвого взгляда на жизнь». – **Л. А.**). Ну, ничего, еще несколько дней сутолоки – и потом, может быть, отдых. Может быть. Жаль, что денег у нас будет небогато, но будем по одежке «протягивать ножки», пока окончательно их не протянем.

Арбат накатывают асфальтом, выравнивая мне путь к вокзалу.

Ну, миленькая, целую Вас крепко, будьте умницей, как всегда, и только в одном – не будьте умницей: любите меня, если можно.

Ваш Зима».

Учитывая, что героев в каждом из очерков этого цикла все же двое, а также невысокую осведомленность большинства читателей (без обид – сам такой!) о личности и творческом наследии С. Д. К., приведем дополнительную информацию о нем. В декабре 1923 в Камерном театре состоялась премьера, кажется, единственной дошедшей до сцены пьесы Кржижановского – «Человек, который был Четвергом (по схеме Честертона)», драматическая переработка одноименного романа английского мыслителя и писателя Честертона.

В середине 20-х годов писатель активно участвовал в деятельности Государственной академии художественных наук. В 1925 году в журнале «Неделя искусства, литературы и театра» была напечатана его повесть в очерках «Штемпель: Москва».

Став известным и в московских театральных кругах, Кржижановский регулярно проводил публичные чтения своих новелл, очерков по драматургии и психологии сцены. Однако, несмотря на интенсивную творческую деятельность, ему редко удавалось напечатать свои произведения. Попытаюсь объяснить причины этого с помощью публикаций специалистов. Так, прозаик, эссеист Алексей Фуфлыгин в очерке «Не вовремя» Сигизмунда Кржижановского» пишет, что «…пополнившая мировую копилку литературных шедевров проза, беллетристика и критика писателя не стала мостом, по которому он мог бы перейти реку забвения и непонимания и стать известным широкому читателю. Не помогли ни публикации его критических статей в «Литературной учебе», «Литературном критике» и «Театре», ни появление в журнале «Россия» повести «Штемпель: Москва» (расположившейся, кстати сказать, на страницах по соседству с «Белой гвардией» М.А. Булгакова), а в «Зорях» – рассказа «Якоби и «Якобы», ни авторские исполнения новелл на литературных чтениях на «Никитинских субботниках», где его слушали многие именитые гости (Москвин, Качалов, в частности). Ему многие старались помочь, считая, что «сбивается он с пути и проваливается не от недостатка сил или подслеповатости, а от более почтенных свойств натуры».

Его многие любили и почитали за большого писателя; он был знаком со многими значительными личностями того времени: Александром Грином, Юрием Олешей, Таировым, Мейерхольдом. Однажды Таиров спросил Кржижановского: «Кто ваш главный враг? Скажите. У меня все-таки есть связи… может…». «Нет, Александр Яковлевич, – ответил Сигизмунд Доминикович, – не может, и ничто мне не поможет. Мой главный враг – я сам. Я тот пустынник, который сам себе медведь». В этом был весь Кржижановский…

Еще в 1932 году тексты Кржижановского прислали на суд Максиму Горькому. К тому времени Горький уже превратился в вершителя писательских судеб, и его поддержка означала

С.Д. Кржижановский в разные годы

для автора неминуемое общественное признание и успех. Но о нашем герое он отозвался сурово, обвинив в «праздномыслии» и «празднословии» («Жужжание Кржижановского») и заявив, что «в наши трагические дни» подобные философские сочинения не нужны, а то и вредны, поскольку «всеконечно вывихнут некоторые молодые мозги», если допустить их в печать. Как пишет издатель и исследователь наследия Кржижановского В. Перельмутер, этот критический отзыв сохранял свою силу даже пятьдесят лет спустя, и уже в 1980-е годы в редакциях все еще отказывались печатать автора, которого обругал «сам Горький».

Нелестно отзывался о нем и литературный «начальник» А. Фадеев. Еще одно обстоятельство никак не способствовало популяризации его творчества – с происхождением писателя тоже было не все в порядке. В анкете, в соответствующей графе Сигизмунд Доминикович написал: «происхождение дворянское», чем серьезно навредил самому себе. А ведь ему еще при поступлении на службу советовали написать «сын служащего»,

но он упорно отказывался. Впоследствии этот факт, как и запись в послужном списке при увольнении из редакции БСЭ, «Уволен по освежению аппарата», сыграл значительную негативную роль в его судьбе.

Приведенные обстоятельства вынуждали его зарабатывать на жизнь различной внелитературной работой: в 1925-1931 он служил контрольным редактором в издательстве «Советская энциклопедия», писал сценарии рекламных роликов и фильмов, выступал как автор либретто опер. Также создал «не оперную» инсценировку «Евгения Онегина» на музыку Сергея Прокофьева (1936). Надо отметить, что в 1938 году Кржижановским было написано либретто оперы Кабалевского «Кола Брюньон», а во время Великой Отечественной войны – либретто оперы «Суворов» на музыку Сергея Василенко (успешная премьера в 1942).

Работа над пушкинским романом привела к продолжительному «пушкинскому» периоду в творчестве Кржижановского, результатом которого стали несколько работ по теории литературы

(например «Искусство эпиграфа (Пушкин)», наброски «Словаря эпиграфов»). А в середине 1930-х годов из заказанного писателю предисловия к первому тому собрания сочинений Уильяма Шекспира вырос «шекспировский» период творчества, во время которого написано множество статей и очерков о творчестве английского драматурга. В период 1920-1940-х годов публиковал многочисленные статьи по истории и теории литературы и театра в газете «Советское искусство», журналах «Литературный критик», «Интернациональная литература» (для которого, в частности, было написано несколько статей о Бернарде Шоу) и других. Большую часть своих прозаических произведений Кржижановский написал в 1920-1930-е годы. Среди них – пять повестей и шесть книг новелл. Кроме того, в 1925 году написаны уже упоминавшаяся повесть в очерках «Штемпель: Москва» и ряд других очерков. Был у него очерк и об Одессе – «Хорошее море».

Несмотря на известность в издательских и театральных кругах Москвы, Кржижановскому практически так и не удавалось напечатать сколько-нибудь значительный объем своей прозы. Из теоретических работ отдельной брошюрой была лишь издана «Поэтика заглавий» (1931). Четырежды Кржижановский безуспешно пытался издать сборники новелл и повестей (например, повесть «Возвращение Мюнхгаузена» была принята к печати, однако вскоре была все же отклонена издательством. Только в первой половине 90-х увидели свет отдельными изданиями книги: «Воспоминания о будущем», «Возвращение Мюнхгаузена», «Сказки для вундеркиндов» (переизданы в 2000-м), «Страны, которых нет», «Статьи о литературе и театре», «Боковая ветка: Рассказы, повести».

Несколько раз он, также безуспешно, предпринимал попытки поставить свои пьесы. Правда, Н.П. Акимов предпринял неудавшуюся попытку, а Рубен Симонов поставил на сцене театра им. Вахтангова его пьесу «Поп и поручик», но была ли она включена в регулярный репертуар, мне уточнить не удалось.

Поэтическое творчество Кржижановского, как считают критики, «…является последовательной реализацией определенной программы, возникновение которой связано с религиозными ув-

лечениями» начала 10-х годов. Но ведь и проза его необычайно поэтична. Обильное цитирование невозможно в формате этого очерка, но нет смысла писать о поэте, не давая читателю услышать хоть малую толику им написанного. Вот описание финального события в «Сказочке об Истине»:

«Только слышат раз, темной ночью, по лесу топот да гул пошел, точно падают все деревья столетние, точно молния щепит их, да вихрь рвет с корнями!

– Стук-стук-стук, кто в голове живет?

Отвечает Мысль тихо: «Я – Мысль, да Печаль тихоструйная, Любовь, Радость, Вера-затворница, мыслишки-трещотки, цитатки-побирушки… Живем – зла не чаем. А ты кто?».

– Я – Истина мира – всех вас «Давишь».

Наступила на голову: голова – хрясь!!»

Здесь не место раскрывать тему «Кржижановский и Гейне», но приведем фрагменты стихотворения «Могила Гейне» и «Сказки» Кржижановского – как образец его романтического представления о возможности чуда, в котором вещи раскрывают свой истинный смысл:

…И в душе твержу молитву
Пред великим алтарем:
Воин здесь, окончив битву,
Пал с бестрепетным челом.

Мотивы битвы, борьбы, войны повторяются и в речи, которая обращена к герою:

«Здесь, под дерном пожелтелым,
Под покровом блеклых трав,
В вечном сне окаменелый –
Сплю, в борьбе земной устав.

Я цветам своей гробницы
Песен шлю звенящих ряд, –
И с цветов они, как птицы,
К небу дальнему летят.

Песням внемлют звезд узоры,
И о них ручьи звенят.
Тихоструйных ветров хоры
Песни людям говорят…

И далее:

Если хочешь ты в боренье
Расточить свободный дух,
Наклонись в могильной сени
И очисти грешный слух…»

…сердце бьется беспокойно. –
Холод плит к устам приник…
Мысли бешено, но – стройно
Отражают жуткий миг!

Сердце стало.
Мысль сомкнулась.
Слышу горний лет луча…
…сталь меча, звеня, коснулась
Наклоненного плеча!

«Рыцарь духа ты отныне», –
Донеслося с высоты:
«Я, Вождь правды, Страж святыни,
Освятил твои мечты.

Принят ты в Великий Орден –
Орден гибнущих за Свет:
Умирай в луче познанья, –
Высшей доли в мире нет.

Путь тернист наш, лозунг светел:
Мысль, свобода и любовь.
Разорви неправды сети
И отдай за падших кровь!»

Только в 2007 году была впервые издана поэтическая книжка «Стихи разных лет». Отчаявшись увидеть изданными свои сочинения в хронологическом порядке, Кржижановский и свои новеллы составлял в «книги», не оглядываясь на время написания отдельных вещей, что позволяло ему глубже подчеркивать их внутренние связи и переклички. Таким образом, все книги новелл писателя представляют собой логически завершенные произведения, подчиненные определенной внутренней идее. Однако при жизни ему не удалось увидеть напечатанной ни одну из этих своих книг.

В 1939 он был принят в члены Союза писателей, тем не менее это не изменило общей ситуации с трудностью издания произведений. «Известный непрочитанный писатель», – пишет о нем один из наиболее компетентных его биографов Д.М. Фельдман, приведший в качестве эпиграфа цитату из записных книжек С. Д. К.: «Я живу в таком далеком будущем, что мое будущее кажется мне прошлым, отжитым и истлевшим».

С 1940 года художественной прозы Кржижановский уже не писал, создав лишь два десятка очерков о Москве военного времени и зарабатывая на жизнь переводами польской поэзии и прозы (А. Мицкевич, Ю. Тувим, С. Жеромский).

Широкая публикация текстов Кржижановского началась только с 1989 года. В 2001-2013 годах в издательстве «Симпозиум» вышло первое собрание сочинений в шести томах на русском языке, охватившее практически все художественное творчество писателя, большинство его теоретических работ о театре, драматургию и философские работы, а также часть переписки. Сообщается, что ранее издания различных собраний сочинений Кржижановского неоднократно предпринимались в зарубежных странах.

Проза С.Д. Кржижановского преимущественно принадлежит к жанру малой и средней формы, он также автор множества статей и очерков по истории Москвы, истории и теории драматургии и театра, психологии сцены. По мастерству и богатству культурного фона интеллектуальная проза Кржижановского находилась на уровне современной ему европейской и мировой литературы. В. Перельмутер и М. Гаспаров ставили книги Кржижановского в один ряд с «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова,

«Ювенильным морем» А. Платонова, романом «У» Всеволода Иванова, книгами К. Вагинова «Труды и дни Свистонова» и «Бамбочада». Его также сравнивали с Э.-Т. Гофманом и Э. По. По мнению Н. Лейдермана, Кржижановский «…где-то рядом с Замятиным и Хармсом, Платоновым и Вагиновым». А Евгений Евтушенко в своей книге «Строфы века» уверенно сравнивает его с Ф. Кафкой и Х.Л. Борхесом.

Не могу не поддержать вопрос критика: многие ли из числа известных писателей вызвали подобные аналогии?

Сам Кржижановский считал, что его метод ближе всего к имажинизму (по крайней мере, к имажинистскому лозунгу развития образности и образа). Критики утверждают, что теоретические работы Кржижановского по истории, теории и философии литературы и театра и психологии творчества органически связаны с его художественным творчеством. И там, и там писатель постоянно рефлексирует на темы мировой культуры и философии. В теоретических работах и художественных текстах эссеистического типа Кржижановский использует образы и идеи мировой культуры для осмысления современной ему действительности, в том числе советской.

Он и Анна не были обойдены друзьями, чаще других фигурируют в воспоминаниях Мстиславский, Антокольский, Ланн, Левидов. Он очень ценил общение с А. Грином, у которого гостил в Феодосии. В 40-х годах в ВТО (Всесоюзное театральное общество. – **Л. А.**) раз в неделю, по средам, собиралась «теалитэлита»: Ал. Толстой, Маршак, Михоэлс, Ланн, Кржижановский, Шервинский, Шенгели, Арго, Левик, Станевич, Дынник, Узин, Поль и другие критики и переводчики, а также безмолвные слушатели докладов. В первые годы войны С. Д. бывал в ВТО довольно часто, его доклады и выступления по чужим докладам эта изысканная аудитория любила слушать и высоко ценила.

Творческая и личная дружба связывала С. Д. с композитором С. Василенко. С. Д. написал сценарий-либретто к опере Василенко «Суворов», с успехом поставленной в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

В подмосковном доме композитора он встретился с нашим прославленным земляком В.П. Филатовым, который, необычай-

но дорожа его мнением, делился с ним своими литературными опытами.

Знакомство с его жизнеописанием показывает, что проще, наверное, назвать какое-либо направление культуры, которым не занимался этот, без преувеличения, выдающийся, но доныне малоизвестный высокоодаренный человек, который умер 28 декабря 1950 г. в Москве. Место его погребения не указывается ни в одном из доступных источников.

На тихом кладбище, на мраморе доски,
Желтеет слов истертых позолота.
Здесь тусклая любовь каракули тоски
Нескладно вывела у смертного излета.

Там в высоте прозрачных тучек сеть,
Здесь травка бледная глядит из глины робко;
Ползет на край креста и пробует лететь
На алых крылышках ввысь божия коровка.

О, слезы старины, уснувшие меж трав
Под мерный плеск ручьев и звон шмелиных песен –
Любовь в вас умерла, словами отсверкав,
И по зигзагу букв ползет неслышно плесень…

С. Кржижановский

Что касается сведений об исполнительском творчестве Анны Бовшек – кроме приведенных выше, таковых сохранилось не так уж немного. Известно, в частности, об исполнении ею роли княжны Марьи Болконской в немом фильме «Война и мир», поставленном А.Я. Протазановым совместно с В.Р. Гардиным в 1916 году. Фильм не сохранился.

В 1962-1966 годах Анна Гавриловна возглавляла студию художественного слова при Государственном музее А.С. Пушкина. Неточка (как называли ее близкие. – **Л. А.**) была «человеком высокой пробы». Из воспоминаний Натальи Семпер-Соколовой (по слухам – любовницы Кржижановского, связь с которой была

А.Г. Бовшек в зрелые годы

весьма эфемерной, но Анна Гавриловна определенно знала о ней. – **Л. А.**): «…Около пяти часов занятия уже кончились, никого не было. А. Г. ждала меня в пустом классе. Спиной к окну передо мной стояла невысокая смуглая женщина с гладко причесанными темно-каштановыми волосами. Она приветливо протянула мне руки, улыбнулась и просто поздоровалась со мной… она тепло поблагодарила и вдруг обняла…»

Анна Гавриловна Бовшек, безусловно, была не только женой Кржижановского. Она была фигурой совершенно самостоятельной, прекрасной театральной актрисой… До сих пор существует живая благодарная память о ней, поскольку с тридцать шестого года и до середины шестидесятых она занималась в театральных студиях с детьми (во время войны занятия не прерывались), и среди ее учеников были будущие выдающиеся актеры – Ролан Быков, Людмила Касаткина, Георгий Ансимов, Алла Мещерякова, Сергей Никоненко и многие другие.

Ученики А.Г. Бовшек отмечали ее дар раскрытия индивидуальностей, «умение соединить поэтический материал с данными юного артиста», способность дать «творческий импульс проникновения в произведение и соединения себя с ним», «основополагающую роль», которую она сыграла в их профессиональном становлении. Один из них, Авангард Леонтьев, был инициатором издания и составителем книги воспоминаний о своем педагоге, которая называется «Великое культурное противостояние» и имеет подзаголовок «Книга об Анне Гавриловне Бовшек» (2009). К 120-летию со дня рождения А.Г. Бовшек снят посвя-

щенный ей документальный фильм «Жизнь поперек строк» (реж. Игорь Калядин).

Она сохранила и систематизировала архив рукописей и наследия мужа, на основе которого в 2001-2013 годах было издано шеститомное собрание сочинений писателя. Ей удалось осуществить передачу его рукописей в Центральный государственный архив литературы и искусства. Сложность заключалась в том, что публикация части рукописей и в более позднее советское время была невозможна. Поэтому Анна Гавриловна не доверила их государственному архиву и увезла с собой в Одессу. После ее смерти часть бумаг была передана родственниками в Одесское отделение Литфонда УССР. В 1960-х годах она написала обильно цитируемые нами воспоминания о Кржижановском, вышедшие в издательстве «Художественная литература» в 1990 году. В финале воспоминаний А. Бовшек пишет: «С.Д. Кржижановский не дожил до наших дней, когда его имя возникло из небытия. Что сказал бы он об этом чуде? Поздно меня воскрешать? Или что-то вроде – «fatalité» (судьба, неизбежность. – *франц.*)?

Книга об Анне Бовшек

Надгробный памятник А.Г. Бовшек

Если бы вера в бессмертие души научно подтвердилась, он должен бы испытать наконец радость. У С. Д. не было настоящего, однако он заслужил будущее – всем своим оригинальным творчеством и страданиями пожизненно непризнанного писателя…»

В конце жизни Анна Гавриловна вернулась в Одессу, в построенный отцом дом, где жили сестры. И здесь прошли ее последние годы.

Здесь, в Одессе, А.Г. Бовшек умерла осенью 1971 года. Мои друзья нашли ее могилу на 22-м участке Второго христианского кладбища. На изрядно обветшавшем памятнике указано также, что здесь похоронен кто-то из ее родственников, носивших ту же фамилию.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Публикации

262 **Евгений Голубовский, Евгений Деменок**
Хлебников, Бондарин и «Зангези»

278 **Аркадий Ровнер**
Эпифания

285 **Елена Константинова**
«Лиры струна поострее осоки…»

Евгений Голубовский, Евгений Деменок

Хлебников, Бондарин и «Зангези»

Загадка одной рукописи

* * *

Этот большой лист бумаги, написанный на нескольких плоскостях, так, чтобы удобнее было его сложить, мы показывали в разное время людям, знающим и почерк Велимира Хлебникова, и его творчество. Показывали и внучатой племяннице Велимира, художнице Вере Митурич-Хлебниковой. Интересно? Конечно. Так это Хлебников? Не было внятного ответа.

В Одессе Хлебников бывал дважды. Сегодня на улице Белинского установлена мемориальная доска в память пребывания поэта в городе.

В Одессе Хлебникова знали и любили. Его стихи читал друзьям Эдуард Багрицкий. Это он заразил их вечной любовью к Хлебникову. И не случайно, когда в двадцатые годы Алексей Крученых организовал «группу друзей Хлебникова», издавшую 24 выпуска «Неизданного Хлебникова» на стеклографе тиражом от 50 до 100 экземпляров, то переписывали на стеклограф, входили в группу не только Борис Пастернак, Артем Веселый, но и одесситы Юрий Олеша, Семен Кирсанов, Сергей Бондарин…

Кстати, и Николай Харджиев еще в Одессе был посвящен Багрицким в орден рыцарей Хлебникова.

Сохранилось одно из последних писем Эдуарда Багрицкого, написанное им за четыре месяца до смерти:

В издательство «Советская литература»
Москва, 20 октября 1933 года.

Пять томов Хлебникова, выпущенных Издательством писателей в Ленинграде, далеко не исчерпывают имеющийся материал. Мне были

показаны недавно найденные тексты хлебниковских поэм, прозы, стихов, которые представляют большую художественную ценность.

Я считаю необходимым издать эту книгу, так как этот материал покажет читателю Хлебникова от «долитературного» периода до замечательных его произведений.

Я горячо поддерживаю издание этой книги.

Эдуард Багрицкий

Копия этого письма хранилась у Сергея Александровича Бондарина, одного из писателей «Юго-Запада», переехавших из Одессы в Москву. О себе он говорил: «Я писатель второго ряда». Может, и так, но человек он был первого ряда. С ним дружили и Бабель, и Ильф, и Гехт.

С юношеских лет, может быть, потому что был он по образованию юристом, Сергей Александрович тщательно собирал, хранил свой архив. И не только свои стихи, рассказы, но и письма друзей, фотографии, документы. Книги с автографами. В тридцатых, когда начали сажать знакомых, друзей, когда бумаги жгли, ни одного листика Бондарин не уничтожил, не вынес из дома. Все понимал, переживал, ни в каких клеймлениях не участвовал.

В годы Великой Отечественной служил на флоте. Корреспондентом принимал участие в Керченской операции. Боевые ордена. И тем не менее его в 1944 году арестовали за «антисоветские разговоры», и на восемь лет отправили в лагеря. И вот тут чудо – его жена, когда-то одесская, потом московская художница Генриетта Савельевна Адлер сохранила архив, от одесских продуктовых карточек двадцатых годов до лагерных писем со стихами, все рукописи, и огромную поэтическую библиотеку.

Многие документы, рукописи, памятные предметы, связанные с одесской литературной школой, Сергей Александрович подарил Одесскому литературному музею, радуясь его рождению. Кое-что дарил одесским друзьям, книжникам – Сергею Калмыкову, Сергею Лущику, Евгению Голубовскому.

После смерти Сергея Александровича Бондарина в 1978 году библиотека, архив стали заботой его жены Генриетты Савельевны. Детей у них не было. На девятнадцать лет она пережила своего мужа, жила памятью о нем, раздаривая друзьям книги. Все, что необходимо было музею, поступило как дар в музей.

Нередко в книгах Сергей Бондарин хранил письма, рукописи, связанные с автором томика стихов или прозы. Так, в довоенном сборнике

сказок замечательного фантазера Семена Писахова лежал конверт с рукописями двух его неопубликованных сказок. В сборнике стихов Арсения Тарковского – его письма. Многие книги поэтов-футуристов, в том числе дореволюционный Маяковский, – подарки Алексея Елисеевича Крученых, кстати, учившегося в Одесском художественном училище и дружившего со всем «Одеколоном» (одесской колонией, как шутил Кирсанов), содержали вырезки из газет, поздравительные открытки Алексея Крученых.

В одной из книг Велимира Хлебникова и лежал тщательно обернутый в папиросную бумагу этот неформатный лист. Подписи Хлебникова нет. Сверху написано – «Зангези». Плоскость XX – затем XXI и 22. На страничках рисунки…

«Зангези». Последняя крупная вещь Велимира Хлебникова. Сверхповесть, по его определению. Писалась с 1920 по начало 1922 года. Хлебников успел держать корректуру, но вышедшую из печати книгу уже не увидел. Не успел.

Есть много объяснений происхождения имени героя, есть толкования того, почему сверхповесть выполнена в 21 плоскости, предположения, что XX плоскость, которая в изданном тексте отдана вставной поэме «Горе и Смех», должна была быть заменена на поэму «Ночь в окопе».

А может быть, был и еще один вариант XX плоскости, тот, что написан на этом листе?

Находка, по сути, поставила задачу, а не решила ее.

Трудно сейчас сказать, какие именно неизданные рукописи Хлебникова видел Багрицкий в 1933 году, все ли тогда, верней, в 1940, опубликовал Николай Харджиев.

Пусть изучением текста, почерка, рисунков, всем этим кругом проблем займутся хлебниковеды.

Евгений Голубовский

* * *

Я держу в руках этот странный лист и испытываю чувство, которое трудно описать. Пожалуй, это смесь удивления, неверия и восторга. А что если это и вправду неизвестная – точнее, забытая рукопись Велимира Хлебникова? Если это и вправду один из вариантов окончания сверхповести «Зангези», которую исследователи творчества «наиболь-

шего мирового поэта двадцатого века» (по мнению Романа Якобсона) называют вершиной, квинтэссенцией его творчества, итоговым произведением, – ведь опубликована она была почти сразу после его смерти?

На первый взгляд, все говорит именно об этом. Вверху сложенного вчетверо листа написано «Зангези», внизу указан год – 1922-й. Я снова и снова разворачиваю его, вчитываюсь в буквы, разглядываю зачеркнутые строки, пытаюсь понять, похожи ли рисунки на нем на немногочисленные дошедшие до нас рисунки Виктора – Велимира. Кажется, почерк Хлебникова был другим – с меньшим наклоном, более «детским»… Но это ведь 1922-й – последний год жизни Хлебникова, а почерк имеет обыкновение меняться… Да и Вера Митурич-Хлебникова, державшая в руках рукопись, сказала, что она вполне могла быть написана ее двоюродным дедушкой.

В пользу этой версии говорит и обильное использование редких, устаревших, фольклорных слов, так любимых Хлебниковым. Присутствуют и часто используемые им слова: Лель (один из героев поэмы «Маркиза Дезэс» 1919-1911 годов, встречается в повести «Девий бог» того же периода, да и в седьмой плоскости «Зангези»), искони (стихотворение «Скифское» 1908 года), ворожея (в стихотворениях «Журавль» 1909 года и «Земные стары сны» 1917 года). Или, например, редчайшее и забытое слово «райна» – оно встречается в его стихотворении «В холопий город парус тянет» 1915 года.

Кроме того, в рукописи присутствуют яти, есть много правок, ряд строк зачеркнут, то есть если бы кто-то переписывал строки из хлебниковского подлинника (допустим, Сергей Бондарин или Эдуард Багрицкий), этих правок и зачеркиваний не должно было быть.

С другой стороны, в рукописи нет неологизмов (разве что если отнести к ним неразборчиво написанные слова), и все строки рифмованы, иногда довольно неуклюже. И вообще, стилистика стихотворений из всех трех плоскостей – а на листе уместились и 20-я, и 21-я, и 22-я, по крайней мере часть ее, – существенно отличается от стилистики остальных, опубликованных, «канонических» плоскостей «Зангези».

Но ведь таковой и была задумка сверхповести – собрать воедино тексты, написанные в совершенно разных стилях. Поэзию и прозу. Сам Хлебников писал во введении к ней:

«Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов. Сверхповесть, или

заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: «Како веруеши?» – каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести, – повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело – белого камня, плащ и одежда – голубого, глаза – черного. Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка».*

Лев Оборин в замечательном очерке о «Зангези» пишет, что это «концентрированная сумма его идей, наитий и приемов: фигуры поэта-пророка как главного актера мироздания; мистического предвидения, основанного на математическом священнодействии; словотворчества как нового описания мира».** Публикаторы собрания сочинений Хлебникова 1931 года – Юрий Тынянов и Николай Степанов – писали о «Зангези» как о сборнике: «Здесь собраны самые разнообразные вещи, написанные, по-видимому, за время с 1920 по 1922 год».*** Сам Хлебников еще в 1909 году писал Василию Каменскому о том, что намерен создать сложное произведение, в котором «каждая глава должна не походить на другую. При этом с щедростью нищего хочу бросить на палитру все свои краски и открытия, а они каждое властны только над одной главой: дифференциальное драмат‹ическое› творчество, др‹аматическое› тв‹орчество› с введением метода вещи в себе, право пользования вновь созданными словами, писание словами одного корня, пользования эпитетами, мировыми явлениями, живописания звуком».****

Литературовед Дубравка Ораич-Толич в фундаментальной статье «Сверхповесть» пишет: «В качестве конститутивного принципа монтаж обеспечивает возникновение СП с помощью спаивания уже готовых, иногда опубликованных текстов или модификации и прямого цитирования отдельных частей других самостоятельных целых. В *Зангези* шесть вводных стихов из монтажной единицы «Звукопись» представляет со-

* https://ruslit.traumlibrary.net/book/hlebnikov-ss06-05/hlebnikov-ss06-05.html#s004003
** https://polka.academy/articles/527
*** Там же.
**** https://ka2.ru/nauka/dot_1.html

бой модифицированную автоцитату «Звукописи весны» из *Царапины по небу*, трансрациональный язык богов взят из драмы *Боги*, а строки Если кто сетку из чисел / Набросил на мир, / Разве он ум наш возвысил? – из поэмы *Сердца прозрачней, чем сосуд*».*****

Так что стилевое разнообразие стихотворений в рукописи вполне объяснимо.

Объяснимо и то, что эти плоскости не вошли в главный, канонический текст сверхповести. В той же статье Ораич-Толич отмечает, что «автор планировал вместо поэмы *Горе и Смех* ввести поэму *Ночной обыск* или же то, что, судя по одному из сохранившихся набросков, цитируемых редакцией *Собранных произведений*, существовала возможность ввести в СП самостоятельную поэму *Разин*. На монтажную процессуальность уже законченных и опубликованных *Детей Выдры* указывает предложение Хлебникова, относящееся к 1917 году, дополнительно включить в данную конструкцию сочинение *Девий бог*, рассказ «Ка», галицийскую вещь из *Изборника* и отрывок в прозе «Выход из кургана умершего сына» из книги *Ряв*».******

В примечаниях к пятому тому шеститомного собрания сочинений Хлебникова его составители Е.Р. Арензон и Р.В. Дуганов пишут:

«В черновых записях последних лет жизни Хлебникова сохранились разные планы большой монтажной композиции. Среди намечавшихся тем – «плоскостей» («Молнии», «Конский Спас», «Разин», «Бурлюк», «1905-1917») на первом месте неизменно присутствовала плоскость «Черемуховая», связанная с лирическими воспоминаниями о Красной Поляне… Не войдя в окончательный состав сверхповести, эта тема реализовалась большой поэмой «Синие оковы» (весна 1922), название которой – через паронимическую связь с фамилией Синяковы. <…> По дневниковой записи Хлебникова, «Зангези» собран – решен 16 января 1922». Изменения и дополнения вносились в уже скомпонованную рукопись даже на стадии типографской верстки (апрель 1922 г.)».*******

И все же смущают не только стилевые отличия и отсутствие неологизмов, которыми изобилует «Зангези». В середине 20-й плоскости в рукописи появляется вдруг фраза «крик интеллигента», а в начале 21-й – слово «ублюдок»; они у Хлебникова вообще не встречаются.

***** https://ka2.ru/nauka/dot_1.html

****** Там же.

*******https://ruslit.traumlibrary.net/book/hlebnikov-ss06-05/hlebnikov-ss06-05.html

Может быть, это литературная мистификация? Или кто-то пробовал писать «под Хлебникова»? Ведь популярен он был очень, особенно среди коллег по цеху. Сергей Бондарин рассказывал Евгению Михайловичу Голубовскому о том, что они осознали Хлебникова через Багрицкого, который читал на память множество его текстов. Сам Бондарин с подачи «птицелова» увлекся Хлебниковым и собрал с десяток его книг. Но настоящим «рыцарем» Хлебникова стал Юрий Олеша. Он вошел в созданную Алексеем Крученых «группу друзей Хлебникова», переписывавших его тексты на литографскую машину и издавших тридцать книг «Неизданного Хлебникова». Московский журналист Исаак Владимирович Глан, приятель Юрия Олеши, писал о том, что Олеша считал Хлебникова гением: «Конечно, гений. Он сказал об олене: испуг, цветущий широким камнем. Его поэмы не всегда понятны. Он складывал свои рукописи в мешок, а потом их не могли собрать».

Ну что же, это несложно проверить – к счастью, письма и рукописи Багрицкого, Олеши, Кирсанова, Бондарина есть в Одесском литературном музее.

Но ни один из почерков не похож на тот, которым написана рукопись.

Ни мелкий аккуратный почерк Бондарина, ни размашистый характерный почерк Багрицкого, ни почерк Олеши… Да и рисунки на рукописи, выполненные тонким пером, не похожи на рисунки Багрицкого. Хотя… В фондах Литературного музея хранится тетрадка со стихами и рисунками Семена Кирсанова, датированная как раз 1920-21 годами, и в ней есть что-то, что наводит на размышления. И рисунки, и стихи отдаленно напоминают те, что есть в рукописи, – в то время Кирсанов увлекался одновременно футуризмом и старославянским языком, мифологией. Вот, например, его стихотворение «Будетляне» – как раз 1922 года:

На север, на север, на север
Походкою древней идем.
Какие застынут посевы,
Какой заметается гром?

Гудят заливаются волны
Над ворсклыми пнями у ник,
А там от гугивой Волги
Горят завывают огни.

По осени воплой и волглой,
Над рваными веями твиг,
Долбят туговые оглобли
Седую порожнюю высь.

Которой задетой поляной
Сгибают колени холмы,
А я радогой будетлянин
Сбираю пропевческий мыт!

С клюкою, на север, на север мы
Бредем побираем поля,
По млечным дорогам нас семеро
Великих слепых будетлян.*

Кирсанов любил и ценил Хлебникова всю жизнь – он даже начитал для звукозаписи в 1963 году ряд его стихотворений. «Его запомнили франтом и гурманом, наследником Серебряного века, владельцем редкой мебели и библиотеки с полным изданием Хлебникова, хозяином квартиры, где висят картины Бурлюка», – пишет о Кирсанове Ирина Лукьянова.**

Может, он и разыграл своих друзей – Бондарина, Багрицкого, Олешу?

Но ведь Сергей Бондарин, в чьем архиве и хранилась рассматриваемая нами рукопись, прекрасно знал и много лет общался с Кирсановым – еще в самом начале 1920-х они входили в одесскую литературную группу «Коллектив поэтов», и Бондарин так вспоминал о появлении там четырнадцатилетнего Кирсанова: «…еще в коротких штанишках четырнадцатилетний футурист-будетлянин Сема Кирсанов, уже тогда поражавший нас зычным чтением своих стихов». Позже – участие обоих в Юголефе. В 1925-м Кирсанов пишет стихотворение «Набросок» и посвящает его Бондарину. Так что тот вряд ли мог спутать стихи Хлебникова со стихами Кирсанова. И вряд ли положил бы рукопись Кирсанова в книгу Хлебникова, бережно завернув в пергамент. А в ценности архива Бондарина

* Яворская Алена. Рисунки и стихи Семена Кирсанова. Семен Кирсанов. Из тетради 1922 года. – «Дерибасовская – Ришельевская», одесский альманах. – Одесса, 2017, № 68, стр. 298.

** https://rusmir.media/2020/02/05/kirsanov

сомневаться не приходится – именно из него в Одесский литературный музей попали рукописи и письма Ильфа, Багрицкого, Бабеля…

Легендарный одесский фотограф Сергей Калмыков, много лет друживший с Сергеем Александровичем и его женой Генриеттой Савельевной, вспоминал:

«Уход СА не оборвал мое общение с ним, просто оно стало иным, заочным, через рассказы ГС, через собранные им книги. Их обилие и разнообразие меня издавна буквально завораживали, и я мечтал в них порыться. В подборе книг отразилась необъятная широта интересов СА. Помимо неохватного количества поэзии и прозы, томиков ЖЗЛ, было много альбомов и монографий по изобразительному искусству, книг по истории музыки и о композиторах, по военной и общей истории, даже по истории библиофильства.

Обилие книг никак не позволяло даже бегло просматривать каждую. Приходилось знакомиться с ними выборочно, навскидку. Обнаружил и прочел много искренних и теплых авторских дарственных. <…> Еще я обнаружил, что СА было свойственно оставлять пометки в прочитанном тексте, а иногда и вкладывать в книги подходящие по теме вырезки».*

Так что же – Хлебников?

Очень хочется верить. Но точку в этом вопросе смогут поставить лишь глубокие знатоки его творчества. Их в мире – единицы.

Сам текст рукописи – ниже.

Евгений Деменок

Зангези XX плоскость

Не обходи высоких звениц
Гудящего веретена
Ступай тяжелее, поселенец
На северные пламена!

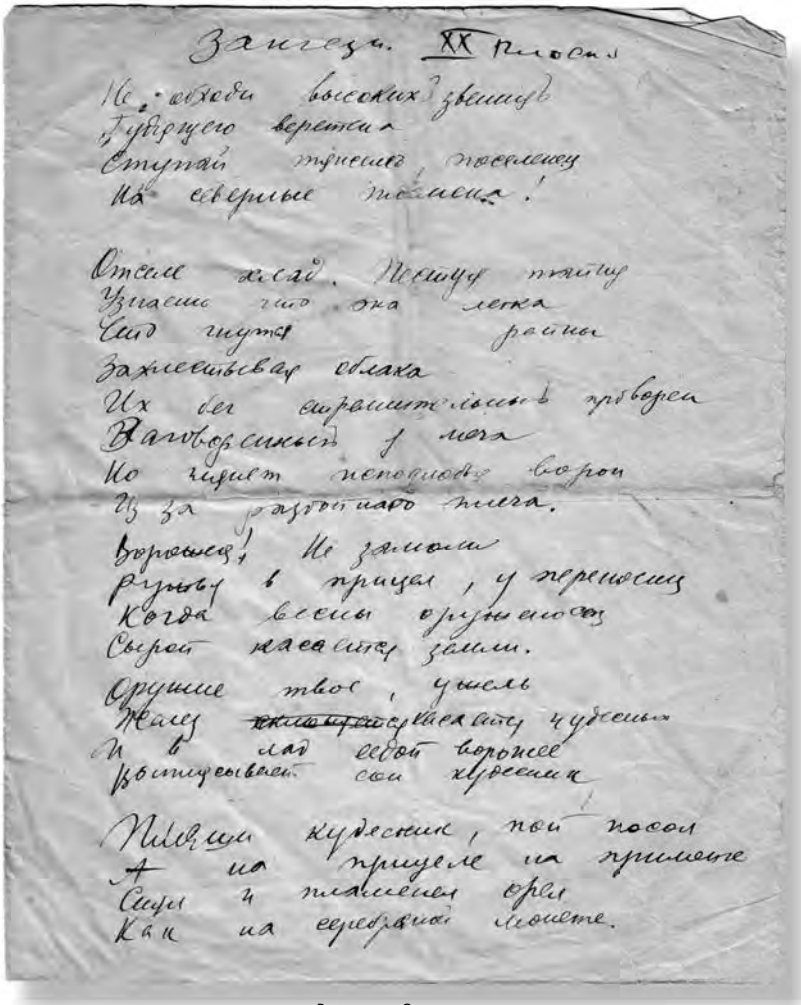
Отселе хлад. Пестуя тайну
Узнаешь что она легка

* Калмыков Сергей. Что наша милая Одесса? – «Дерибасовская – Ришельевская», одесский альманах. – Одесса, 2017, № 68, стр. 190-191.

Что гнутся райны**
Захлестывая облака
Их бег стремительный проворен
Заговоренный у меча
Но глянет исподлобья ворон
Из-за разбойного плеча
Ворожея! Не замоли
Ружья в прицел, у переносиц
Когда весны оруженосец
Сырой касается земли.
Оружие твое, ужель
Желез касается чудесных
И в лад седой ворожее
Выплясывает сон кудесник.

Пляши кудесник, пой посол
А на прицеле на примете
Сиял и пламенел орел
Как на серебряной монете.
Все туже вились пламена
Затягивались туже вожжи
И шли иные племена
По северному придорожью.
Там где железные снега
Легли! заплата на заплате
Хрипит глухая бирюга***
Кору выдалбливает дятел.
Дупло зеленое, зане****
Синело возвышаясь древо.

** Райны – часть судового такелажа, поперечный брус на мачте, рея. «Трещат райны, мачты гнутся, от натуги снасти рвутся» – Умберто Эко, «Остров накануне».
*** Бирюг – вестник, глашатай в допетровской Руси. «Потом он приказал стрелять из пушек, Звонить в колокола и бирюгам Столице возвестить, что возвратился Иван-царевич» (В.А. Жуковский).
**** Так как, потому что – устаревшее.



Зангези. XX плоскость

Не обходи высоких звеньев
Будущего веретена
Ступай тяжелый, поселенец
На северные племена!

Отселе хлад. Пестуя тайну
Узнаешь что она легка
Что гнутся рейны
Захлестывая облака
Их бег стремительный проворен
Заговоренный у меча
Но чиднет исподлобья ворон
Из за разбойнаго плеча.

Ворожея! Не замоли
Руны в прицел, у переносиц
Когда весны оруженосец
Сырой касается земли.

Оружие твое, ужель
Желез ~~[illegible]~~ касается чудесных
И в лад седой ворожее
Выпрядывает сон кудесник

Плеши кудесник, пой посол
А на прицеле на примете
Сиял и пламенел орел
Как на серебряной монете.

Рукопись «Зангези»

Крик интеллигента.

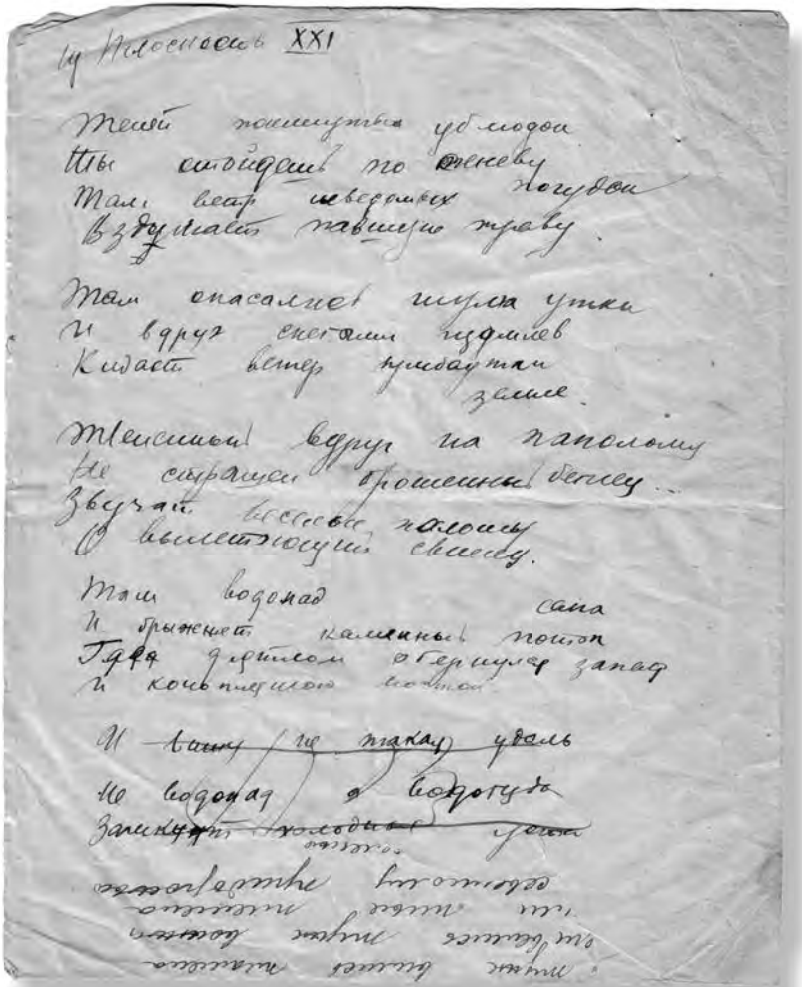
Но как в таком веретене
Найти блуждающее чрево
Но как глубинам потаенным
Ворожее не приберечь –
В горящее сознаньем лоно
Вложенную рожденьем речь?
«Искони слово бы» и снова
Все тот же мир высокий и простой
А в чреве темном выросшее
слово
Покачивает цепью золотой…
Послы идут.
Кудесник, не пора ль?
Стопою стать на северные будни
Куда глядят умершие утра
И пляшущая ворожея на бубне.

1922.

Из Плоскость XXI

Теней покинутых ублюдок
Ты отойдешь по теневу (?)
Там ветр неведомых погудок
Вздымает павшую траву.

Там опасаясь шума утки
И вдруг снегами изумлев
Кидает ветер прибаутки
земле.
Плененный вдруг на <*нрзб*>
Не страшен брошенный беглец…
Звучат веселые <*нрзб*>
О вылетающий свинец.
Там водопад сана



Из Плоскости XXI

Теней покинутых уб людок
Ты отойдешь по огневу
Там ветер неведомых погудок
Вздумает павшую траву.

Там опасались шума утки
И вдруг снегами гудмлев
Кидает ветер прибаутки
земле.

Женщины вдруг на пополому
Не страшен брошенный бегнец...
Звучат веселые полоны
О вылетающий свинец.

Там водопад сана
И брыжнет каменный поток
Где дымом обернулся запад
И коноплянной ночью

~~И вину не такая удаль~~

Не водопад а водогуда
~~Замкнут холодные уста~~
солнечно

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

И брыжжет каменный поток
Где дятлом обернулся запад
И коноплянкою восток.

Плоскость 22

Выходи Лель
На высокую
Походи Лель
По зеленой тропе

Нет и не ту сплел
Плеть не летит в дол
Лету <*нрзб*> сплел
Лель с гостем пропал.

Лег на тропу сплю
В <*нрзб*> – плен
Каждой стреле – клюв
В ране крутой тлен.

Знаешь кому слон
Верен весел (?) слон
«Следом беги!» «Слеп»
Спой и другой припев

Выходи Лель
На высокую ель
Походи Лель
По зеленой тропе

Все туже вились пламена
Затягивались туже вожжи
И шли иные племена
По северному придорожью

Там где ~~поломе~~ железные снега
Легли: заплата на заплате
Хрипит глухая бирюга
Кору выдалбливает дятел

Дупло зеленое, зане
Синель возвышаясь древо.

Крик интеллигента.

Но как в таком веретене
Найти блуждающее чрево

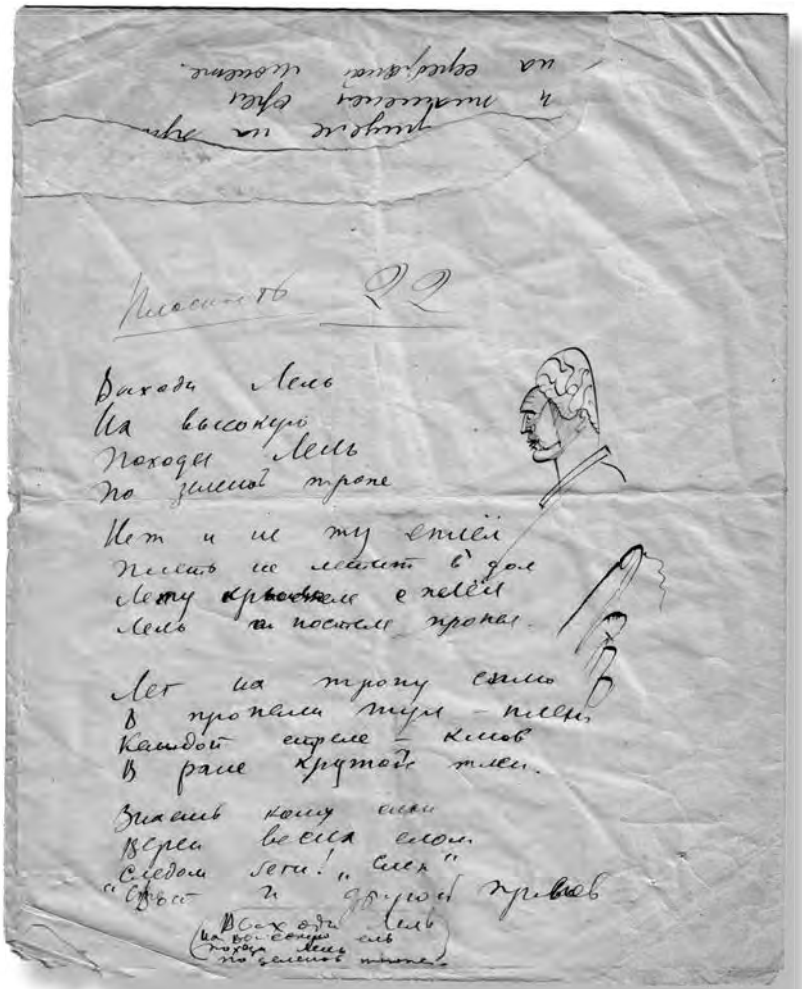
Но как глубинам потаенным
Ворожея не приберась —
В горящее сознаньем лонь
Вложенную рождаемым рого?

„Искони слово бы" и слова
Все тот же мир высокий и простой
А в чреве темном вырастет слово
Покачивает ветвью золотой...

Послы идут.

Кудесник, не пора ль?
Стопою стать на северные будни
Куда глядят умершие утра
И плещущая ворожея на бубне.

1922.



Плоскость 22

Выходи Лель
На высокую
Походи Лель
По зеленой тропе

Нет и не ту стлёй
Плеть не летит в дол
Лету крылатель с пелёй
Лель и постель пропел.

Лет на тропу сплю
В пропали тул — плен,
Каждой стреле — клюв
В ране крутой тлен.

Знаешь кому елки
Верен весна елом.
Следом Зети! „Елек"
„Свой и другой правов

Выходи Лель
На высокую ель
Походи Лель
По зеленой тропе

Аркадий Ровнер

Эпифания

Кто про будни, про пандемию, а я про чудеса.

И ведь случаются.

Во-первых, состоялся новый фестиваль. Кармелла Цепколенко провела «Два дня и две ночи новой музыки».

Во-вторых, на фестиваль приехал черт знает как, на автобусах, чуть ли не на арбе московский композитор Антон Ровнер.

В-третьих, и это главное, он предложил выступить во Всемирном клубе одесситов и… рассказать о своем отце.

Слава Богу, существует Гугл. И спустя десять минут я знал, что отец композитора – писатель Аркадий Ровнер, родившийся в… Одессе в 1940 году.

Нет, не всё мы знаем про Одессу.

И вот в клубе состоялась эта онлайн-встреча.

Аркадий Ровнер не просто прозаик, автор трех романов, не просто поэт, автор нескольких сборников стихов, не только всю жизнь изучал духовные практики, наследие Штейнера, Гурджиева, Успенского, но и создал свою методику духовных практик, у него есть ученики по всему миру – как оказалось, и в Одессе.

Родился в Одессе. Эвакуация в 1941. Учился в Тбилиси. Затем философский факультет МГУ. Именно там и тогда, в шестидесятых, начал постигать и все мировые религии, и то, что может лежать вне традиционных религий. Наследие русских мистиков. Только не нужно думать, что это про гадание на кофейной гуще, вызывание духов и прочий спиритизм. Это про путь усовершенствования самого себя…

А одновременно писал стихи, рассказы. Круг общения – поэты Илья Бокштейн, Леонид Аронзон, прозаики Венедикт Ерофеев, Юрий Мамлеев…

Писатель Аркадий Ровнер

Антон прочитал нам один из рассказов отца. Автобиографический. Как впервые Аркадий Ровнер столкнулся с чудом.

Кстати. Отец писателя был религиозным евреем. Мать русская, православная. А ребенок, осознав, что есть Бог, не принял догматы ни одной религии.

Этот рассказ отца композитор Антон Ровнер предоставил для публикации в нашем альманахе.

В семидесятых Ровнер эмигрировал в США. Там учился в университете, а потом преподавал. Учил духовным практикам. Издавал журнал «Гнозис». Но с началом перестройки вернулся в Россию.

И вновь – романы, рассказы, стихи, но главное – общение, желание просветить и просветлить. Трижды был в Одессе.

На встрече присутствовал один из его учеников, Феликс Комаров, сказавший проникновенные слова об учителе.

В конце декабря 2019 года Аркадий Ровнер умер. А книги издаются, напечатано далеко не все. Ученики помнят и чтут.

Евгений Голубовский

Я хочу рассказать о чуде, которое пережил ребенком, то есть глубоко и бессознательно. Это было чудо спасения и кульминация жизни моих родителей. Высшие силы решили все за нас, и в отчаянную минуту нам были явлены милость и пощада. Страшно подумать, как сложились бы наши судьбы, не приди помощь сверху. Было нечто библейское во всей остановке и в обрисовке человеческих ролей в этом эпизоде. В минуту безнадежности нам – маме и мне с сестрой – отец явился спасителем и чудотворцем. И мы – его тройственная душа: мама, сестренка и я – в свою очередь были возвращены ему из ада.

Мой отец не воевал с немцами во Вторую мировую войну. В медицинском свидетельстве перед грозным и неумолимым заключением «годен» он вписал короткое спасительное словечко «не». Он прекрасно знал, чего ему может стоить эта каллиграфическая виньетка. Но перспектива убивать и умирать за чуждую ему власть была ему нелепей. Он не был воином и умер еще не старым от болезней и нервного износа.

Отец был религиозным человеком, в жизни своей никого не убившим и не предавшим. Естественно, он не хотел участвовать в общем блефе и даже притворяться не умел. Он прожил свою жизнь в расселинах советского каземата, не сдавшись и не уступив на ни йоту фальши «нормальной» жизни в царстве победившего люмпена, живя жизнью трудной и ненормальной. Уступили сестра и мама, не вынесшие аутсайдерства, и это у них происходила эрозия отцовского мира. Сестра стала учительницей модной в те годы науки физики, а мама – заядлой читательницей газет и азартной телезрительницей.

Отец работал директором санатория в Черновцах, когда началась война. Рано утром (разбудили самолеты) во двор вбежала соседка: война! Отец тотчас же бросился в санаторий, а мама начала упаковывать вещи.

В полдень приехал грузовик, полный узлов и чемоданов, и отец, закинув в кузов наши чемоданы, подсадил маму и сестренку, потом поднял меня – годовалого наблюдателя мира взрослых. На руках у мамы кроме меня был алюминиевый чайник с кипяченой водой.

Мы уехали, а отец вернулся сдавать дела. Как финансово ответственное лицо он не мог поступить иначе. Оставшись без нас в опустелом санатории (сотрудников и отдыхающих как ветром сдуло) и позвонив в несколько мест (каким-то чудом телефон еще работал), отец очень быстро убедился, что сдавать дела некому. Тогда он бросился догонять нас на санаторской машине.

Так подробно, так досконально я знаю эту эвакуационную скитальческую стихию, эти шоссе и проселочные дороги, вереницы машин, телег и пеших с чемоданами, рюкзаками, корзинами, узлами, а было мне тогда лишь немногим больше года. Наверное,

не так уж бессмысленно я смотрел на мир, сидя у мамы на коленях и попивая кипяченую воду из носика чайника. Наше беженство длилось больше трех лет с остановками в городах и селениях по пути следования и новым скитальничеством по мере приближения фронта. Эти бесконечные переезды на машинах, в теплушках, на арбах, тракторах, пешком под снегом, в жару, под дождем, эти вокзалы и привалы, очереди за кипятком, продуктовые карточки, обмен вещей на продукты, страх, жажда, голод, эти воздушные тревоги, самолетные обстрелы беспомощных беженцев, раненые, старики, женщины, дети – оборванные, раздетые, изможденные, больные, умирающие, эти блохи, вши, клопы, оспа, тиф, малярия, дифтерия – все это до отказа наполнило мои детские годы, плотно вошло в меня и гулко переливается во мне по сегодня.

Выехав на шоссе, мы влились в поток машин, арб и пешеходов. Наш грузовик едва передвигался, останавливался каждые десять минут, попадая в бесконечные заторы, с трудом двигался дальше.

Первый воздушный обстрел был до того неожидан и стремителен, что никто не успел опомниться. Неслышно возникли самолеты и на бреющем полете полоснули по беженцам из пулеметов. Раздались истошные крики. Люди ринулись к обочинам, к кустам и оврагу справа. Залегли, ждали возвращения самолетов, но их и след простыл. Стали снова сползаться на шоссе, говорили о раненых и убитых. Через час суматоха улеглась и движение возобновилось.

Потом был второй обстрел. На этот раз, едва увидев приближающиеся в небе точки, еще не слыша гула, все побежали к обочине и залегли в канавы. Мама бежала со мной, сестрой и чайником. На этот раз самолеты обстреливали беженцев методично, возвращались опять и опять, стреляли по бегущим и по лежащим в канавах. Опять дико кричали, стонали, плакали и смеялись обезумевшие женщины, родные и близкие убитых. Обстрелы стали обычным делом и продолжались весь день, вечером и даже ночью. После одного из ночных обстрелов – уже на рассвете, – вернувшись на шоссе, мы не нашли нашего грузовика. Мы остались без вещей и продуктов, одни посреди степи ночью.

Вчера еще заливался пластиночный Утесов, и кавалеры вертелись в фокстроте вокруг санаторских див в завиточках а-ля Мэри

Пикфорд. Вчера еще разливалась ароматом сирень на веранде, где вечерами прогуливались солидные партийные товарищи и их легкомысленные курортные подружки. В ресторанах подавали венские шницели и голябки по-краковски, а торгсинский коньяк запивали отечественной хванчкарой и местными кислыми винами. И тело было телом, оно томилось и маялось, оно лелеяло тонкие недомогания и истому от избытка здоровья и сил. Ум услужливо выстраивал карточные домики и плел кружева интриг, рисовал честолюбивые или пикантные картинки и не желал знать ни политики, ни классовых войн, ни слухов об опасности…

В конце двадцатых годов, когда отец мой ухаживал за мамой, еще казалось – особенно тем, кто был молод, – все образуется, жизнь войдет в колею, станет легче. Как-то выведав у маминой сестры, что маме нравится, он принес ей в дар пятьдесят граммов любительской колбасы. В другой раз он пришел к ней, когда никого не было дома, и бегал за ней вокруг большого стола посреди комнаты, а она от него убегала. Очевидно, в конце концов он ее все-таки нагнал.

Отец был переполнен житейской мудростью, знал великое множество поучительных историй, пословиц и поговорок. Мне, мальчику, он рассказывал вместо сказок библейские истории. Брата его чекисты расстреляли за неосторожно рассказанный анекдот. В доме об этом говорилось шепотом и никогда не упоминалось при посторонних. Две старшие сестры моей мамы вместе с их детьми погибли в немецком лагере смерти. В доме говорили: «Их сожгли в печи», – и я долго не мог понять, как двух дородных женщин и их детей могли засунуть в печку.

Наедине и шепотом отец рассказывал мне об Америке, Европе, Израиле, о мире, понятном ему, которого ему так недоставало. Он просиживал ночи перед коротковолновым приемником, ловя сквозь вой и скрежет глушилок «враждебные голоса» западных станций. Ему не удалось побывать на Западе – зато я хлебнул его сполна.

Мой побег из обезумевшей совдепии и мои эмигрантские скитания часто напоминают мне эвакуацию, какой я ее запомнил. С самолетов пока еще, слава Богу, не стреляют, но состояние по-

хожее, и люди ведут себя так же: безумеют, плачут и смеются. И та же незримая сила, когда нужно, протягивает им руку.

По мере того как светало, мама начинала осознавать наше истинное положение, и ужас стал постепенно прокрадываться ей в сердце. Это был ужас несамостоятельной женщины, которую всегда кто-то загораживал от жизни – сначала отец, потом муж, – и которая оказалась вдруг ночью на дороге одна с двумя детьми на руках.

Я вижу эту группку – оцепеневшую маму, сестренку, цепляющуюся за нее, себя и нелепый чайник на руках у мамы на обочине шоссе перед ржавым картофельным полем и с угрюмыми сараями за спиной (там мелькали подозрительные тени и оттуда временами доносились пьяные крики), я вижу эту внезапно обезлюдевшую дорогу, слышу этот предутренний озноб и этот военный запах полыни, о котором поется в песне Андрея Зелинского.

Это был страшный час в нашей судьбе, и не вмешайся Провидение, не приди оно к нам на помощь – легко вообразить, что бы с нами случилось… Но Провидение вмешалась, и рука спасения была протянута.

Внезапно, как от толчка, мама встала и сделала шаг вперед со мной на руках и сестренкой рядом. В ту же минуту перед нами, взвизгнув, круто затормозил синий газик, открылась дверца, и из машины выбежал отец. Не говоря ни слова, он усадил нас на заднее сидение, сел рядом с шофером, взяв чайник к себе на колени, и машина поехала.

Понимал ли отец, что, собственно, произошло? Знал ли он, что привело его именно на это шоссе, одно из десятков, по которым ползли толпы беженцев? Думал ли он, чей расчет стоял за этой непостижимой встречей, или же ничего не заметил, приписав все себе, своей собственной ловкости и везучести? Догадывался ли он, что это была кульминация всей его жизни, пик красоты и силы, когда ему удалось спасти от неминуемой гибели жену и детей?

Под конец жизни, когда отец, забывающий имена и проезжающий свою троллейбусную остановку, безнадежный и потерянный, болел непонятной болезнью безучастности к жизни в последнем своем доме с террасой и садом, мама и сестра

поглядывали на него как на симулянта. Я же, поглощенный своими молодыми заботами, не находил для него времени.

Он часто приходит ко мне во сне. Первый раз он пришел вскоре после смерти. Я увидел его рядом, небритого и изможденного. Я так обрадовался ему, что мгновенно проснулся. И он, благодарный мне за мою непритворную радость, успокоенный, отошел.

Последнее время он появляется буднично и тихо. Он молча сидит на кухне, боясь обременить. Потом исчезает надолго. Где он живет, откуда приходит, чем занят – я как-то не успеваю его спросить. Он стал ненавязчивым спутником, необременительной частью меня самого. Я стал очень похож на него, каким я его помню.

Мы живем в своих детях, как наши отцы живут в нас. Я прожил жизнь моего отца, а теперь живу в сыне, в его разочарованиях и надеждах. Два слова – «эвакуация» и «эмиграция» – наполнили собой начало и середину моей жизни. Каким словом будет обозначено его окончание?

Нью-Йорк, 1992 г.

Елена Константинова

«Лиры струна поострее осоки…»*

В альманахе 81 мы опубликовали беседу известного интервьюера Елены Константиновой с Семеном Липкиным. Как бы продолжая этот разговор, предлагаем вниманию читателей беседу с Инной Лиснянской, состоявшуюся 24 сентября 1998 года в Москве.

– Инна Львовна, в 1993 году вы написали:

Живу во время дикое,
Забывшее азы.
Но вот живу, и тикают
Тарковского часы.

Что за история с этими часами?

– Прежде я хотела бы пояснить две предыдущие строки. «Время дикое» – это то состояние, в котором находится наша страна. Страна, никогда не знавшая середины. Либо мы самые счастливые и сильные, как это говорили семьдесят лет. Либо – самые бедные и несчастные, как это говорят сейчас. Дикость жизни состоит в том, что у нас никогда не было, и нет золотой середины.

– То есть?

– Мне кажется, что золотая середина предполагает средний класс, который когда-то, едва создавшись, был сметен революцией. Сегодня происходит то же самое. Едва этот класс начал возрождаться и укрепляться, как страна оказалась в кризисе. Ибо мы страна крайностей.

* Строка из стихотворения «Март, и мимоза, и запах бензина…» Инны Лиснянской.

Что для меня есть «азы»? Это заповеди Книги Книг – Библии, как Ветхого, так и Нового Завета. Увы, забытые.

Но потом я себя утешаю: вот, несмотря на внешний фон, исправно и спокойно отсчитывают на моем запястье время часы Тарковского. А коли так, значит, поэзия существует, культура жива, и по-прежнему незыблемы такие понятия, как честь, совесть, благородство.

Эти наручные часы Арсений Александрович подарил мне в 1975 году на день рождения. Наши дни рождения рядом: у меня – 24-го, а у него – 25 июня. Мы поехали в какой-то загородный магазинчик, и он купил двое часов: мне и точно такие же себе. Свои на другой же день Арсений Александрович потерял в Переделкине, играя в шахматы с одним писателем из Армении: лето, они сидели прямо на траве. Я в беседке переводила с испанского чилийскую поэтессу Габриэлу Мистраль. Вдруг страшный крик: «Инна, часы!». Мы обшарили всю траву. Часы словно провалились.

Вообще, наши поездки по окрестным магазинчикам, которые так любил Тарковский и называл «прогулками», были довольно частыми. Тогда в этих расположенных вдали от центра магазинчиках бывало что-нибудь импортное. Но мы совершали эти поездки – за рулем была жена Тарковского – не столько ради покупки какой-то вещи, сколько из интереса. Как говорил Арсений Александрович: «Я хочу уверить себя в том, что торговля еще существует». И всегда вспоминал своего любимого Владислава Ходасевича: «Ну какую же глупость допустил Ходасевич, утверждая, что у большевиков одна свобода – торговать! Ведь никакой свободной торговли нет!». И вот приблизительно раз в две недели его тянуло выехать. У меня в то время не было крыши над головой: то снимала квартиру, то жила на Беговой у Марии Сергеевны Петровых или в Доме творчества в Переделкине. И Арсений Александрович с удовольствием высматривал мне всякую полезную утварь: сковородки, кастрюльки, чашки.

– Своими впечатлениями о Тарковском делились многие и много. Что прежде всего вспоминается вам?

– В Переделкине наши комнаты находились по соседству. Мы много говорили с Арсением Александровичем и много смеялись. Ни с кем в жизни я столько не смеялась, как с Тарковским.

– Что же вызывало смех?

– Мы смеялись по разным поводам. Даже печальным. Тарковский, смеясь, рассказывал о самом горестном событии в своей жизни: декабрь 1943-го, засмотрелся на звезды, был тяжело ранен и остался без ноги…

Май, 1975 год. По очереди с Тарковским читаем вслух «Чевенгур» Андрея Платонова. Эту книгу, изданную тогда в «тамиздате», передала мне дочь – прозаик Елена Макарова. Но продвигались мы медленно – захлебывались смехом почти над каждой фразой. На самом деле «Чевенгур» – вещь трагическая, но написана так, что не смеяться, особенно если читаешь друг другу вслух, просто невозможно. Чего только стоит запутавшийся в вожжах военного коммунизма простосердечный Степан Копенкин, грозивший «буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты» – «прекрасной девушки Розы Люксембург», и хотевший двинуть революцию дальше!..

Однако оказалось, что своим смехом мы мешали другим. Особенно Эдуарду Асадову. Он слепой, и его слух очень нервный. Как-то утром Арсений Александрович получил от него записку такого содержания: «В одиннадцать часов все писатели, которые здесь так много работают, уже находятся в объятиях Морфея. А Вы с Лиснянской разговариваете до часу. Но что самое плохое – смеетесь! Нельзя ли режим разговора, а в особенности смех перенести на более удобоваримое время для писателей?». Эту записку Арсений Александрович принес в столовую. Перечитывали и снова давились от смеха. Но с тех пор Асадова больше не огорчали. Нам действительно было его жалко. Выходили беседовать в холл.

– Какую черту характера Тарковского вы бы отметили особо?

– Многие из тех, кто близко знал Арсения Александровича, говорят о его детском нраве. Но чаще всего в розовом свете. А Тарковский был ребенок с присущим детям крайним эгоцентризмом, хитростью. И, как у детей, в нем не было ханжества.

Детскость Тарковского навсегда сохранилась и в отношениях с людьми. Например, когда он с кем-нибудь ссорился, то начинал страшно ругать того, с кем поссорился. А когда мирился с ним – начинал так же горячо хвалить, защищать. Когда мы с Тарковским

познакомились, он был в ссоре с Марией Петровых и Семеном Липкиным, а они дружили с самой юности. Я взялась мирить. «Арсений Александрович, вам непременно надо помириться и с Семеном Израилевичем, и с Марией Сергеевной!» – «Ну хорошо, с Семой я помирюсь. С ним я должен помириться – иначе как мы с вами будем играть в шахматы? А с Марусей – не буду». В итоге примирение состоялось и с Марией Сергеевной, и их дружба горячо продолжалась.

– Вероятно, вы оказывались свидетелем и каких-то трогательных проявлений его ребячества?

– Детскость Тарковского сказывалась и в той же игре. За шахматной доской он вел свою партию так, как будто перед ним вовсе не было никакого противника. При проигрыше поднимал шум. Если случалось быстро проиграть, вскакивал, кричал, нервно прыгал на одной ноге, опершись на костыль, и разворачивал в разные стороны свою широкую грудь…

Вспомнился и такой эпизод. В тот день мне надо было поехать из Переделкина в Москву – встретиться с Семеном Израилевичем, взять рукопись романа «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, которая хранилась на квартире его брата, математика Михаила Израилевича, и передать Владимиру Войновичу, чтобы с его помощью она попала за границу. Хотя мы были очень дружны с Тарковским, я посвящала его далеко не во все свои дела: ответственность за возможные последствия должна была нести я сама. Предупредила Арсения Александровича о том, что у меня есть свободное время до полудня. Сидим с ним на скамеечке под березой. Как обычно, с «Чевенгуром». Внезапно громким шепотом Тарковский заставил меня прервать чтение: «Тише! Лось!» Я подняла голову. Действительно, в шагах пятнадцати от нас на травке стоял светло-желтый, видимо, совсем молодой лось и смотрел в нашу сторону. Длилось это буквально мгновение. Лось отвернулся от нас, легко перемахнул через забор на улицу и ускакал… Появление этого лесного красавца произвело колоссальное впечатление на Тарковского. Он ни за что не соглашался отпускать меня в Москву. Был не на шутку раздосадован: «Инна, мне же никто не поверит, что мы видели лося!» Вернувшись часа через четыре, уже в начале коридора я услышала возбужденный, чуть ли не плачущий голос Арсения Александровича: «Да видели, видели

мы лося! Был лось!» Сообразив, что к чему, беспардонно, без стука распахнула дверь его комнаты: «Арсений Александрович, вы уже успели рассказать, как мы сегодня видели лося?» Тарковский был счастлив. Но убеждать домотворческую компанию в том, что лось не померещился, теперь пришлось нам вдвоем.

– Как относился Тарковский к поэтам-современникам?

– Из текущей поэзии он мало о ком говорил хорошо. Был добр скорее к тем, у кого не складывалась литературная судьба, кого не печатали. Ведь сколько десятилетий не публиковали его оригинальных стихов! Ходил в переводчиках. Первая книжка стихотворений «Перед снегом» в 1946 году после постановления ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград» была снята с производства и вышла тиражом шесть тысяч экземпляров только в 1962 году, когда поэту исполнилось уже пятьдесят пять лет.

Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова,

– это строки Тарковского из стихотворения «Переводчик». Однако переводил он – блистательно!

Всегда высоко ценил творчество Анны Ахматовой. Ни один разговор о поэзии не обходился без упоминания ее имени.

Очень деликатно рассказывал мне о Марине Цветаевой. Тогда я не знала, что их связывали не только дружеские чувства, а Арсений Александрович, по-видимому, был уверен в обратном. Сокрушался: «Прозевал я Марину, прозевал. И я виноват. Не понял ее трагического характера. Трудно было с ней. Ну, полсердца отдал бы ей. А ей подавай все сердце, и печенку, и селезенку! Она требовала всего человека, без остатка…»

– На ваш взгляд, почему так долго не печатали Тарковского? Считали антисоветчиком?

– Ничего антисоветского в его стихах не было. А что было? Изумительный русский язык, лирически совершенная поэтическая

речь, что уже само по себе в стране, где слово было совершенно обезличено, не годилось для литературных идеологов. Как-то Арсений Александрович признался мне в том, что пытался потрафить советской власти. Пожалуй, это был единственный компромисс, потом он горько о нем сожалел. «Ахматова решилась восхвалить в стихах вождя ради спасения репрессированного сына. А я написал стихи о Сталине для того, чтобы меня печатали. Отдал их в «Знамя», но их отвергли». Потом мы рассуждали с Тарковским, почему журнал отказался даже от таких его стихов. Их забраковали исключительно из-за изысканной, чуждой народу стилистики.

– Ваше мнение о Тарковском как поэте вполне однозначно:

Он жил, блаженно меченый
Серебряной струной.

Ему же немногим раньше посвятили стихотворение «Крапивница»:

Привыкшие к зиме, мы на весне помешаны,
И желтым солнцем март уже дымит,
В снегу обозначаются проплешины,
И бабочка-крапивница летит <…>

Откуда же она, отважная безумица,
Иль в крылышках ее поэтова душа? –
И к кладбищу ведет меня кривая улица –
Меж вечностью и мной непрочная межа.

Не бабочка ли связь мгновенья и бессмертия?

– Всегда любила и люблю его стихи. С годами все больше и больше убеждаюсь в том, какой он сильный, замечательный поэт. Он из тех, кто растет со временем, неизменно привлекая в себе новых и новых читателей. Так происходило и с Осипом Мандельштамом. Если Ахматова смолоду познала славу – как только она появилась, ее сразу полюбил читатель, то у поэзии Мандельштама при

его жизни было не так уж много поклонников. Ныне же он один из любимейших русских поэтов в России и остальном мире.

Наша дружба с Тарковским была короткой, неглубокой, но – отдельной.

…Каждый год 25 июня я приношу на его могилу, что совсем рядом с могилами Пастернака и Чуковского, половину цветов, подаренных мне накануне. И говорю одни и те же слова: «Здравствуйте, дорогой Арсений Александрович! Мои «часы» барахлят, но я все живу и живу, а ваши – привычным жестом переворачиваю руку и прижимаю золотистые часы к земле – идут исправно. Слышите, как они тихонечко тикают?..»

– Отойдем немного от основной темы. У вас всегда эффектные украшения, и прежде всего перстни…

– Никакой загадки в том нет. Единственное, что у меня было красивым, прошу прощения за нескромность, – руки. Так мне все говорили. В том числе Тарковский. Но мои руки были неумехами. А вот у Тарковского!.. Когда из моих перстней и серег выпадали камни, Арсений Александрович их вправлял. Он вообще руками умел делать все. Я звала Тарковского народным умельцем. И это его чрезвычайно веселило, радовало, словно не перо, а именно руки были его главным призванием.

Сама себе никаких драгоценностей не покупала. Мне их дарили. Довольно много дагестанских украшений мне подарила аварская поэтесса Фазу Алиева, которую я когда-то переводила. Потом, особенно в те времена, когда мы с Семеном Израилевичем были вне Союза писателей, все свои перстни, серьги, бусы я раздарила.

Дело в том, что я очень люблю делать подарки. Обычно тратила на них половину своих гонораров. Тогда же, когда денег у меня не было, выручала серебряная шкатулка с украшениями. Когда она опустела – подарила и ее.

За серебро не кори, Адам!
Золота обручального
Я с безымянного не отдам, –
Оно для житья молчального.

С этим колечком и схорони.
А те, что люблю раздаривать, –
Перстни серебряные, они
Останутся разговаривать.

– Неужели, кроме обручального кольца, вам ничего не удалось сберечь?

– Только три перстня. С одним из них – с большим малахитом – связана такая история. В 1976 году я отдыхала в Коктебеле. Отдых близился к концу, все деньги, какие были, потратила. И вот уже перед самым отъездом домой мои знакомые зазвали меня в ювелирную лавку. Предложение было весьма заманчивым, и я согласилась. Ювелир-продавец тоже не скрыл восхищения моими руками. И достал с витрины перстень с огромным круглым малахитом. «Я не могу его купить – порастратилась». – «Хотя бы пять рублей у вас есть? У меня правило: ничего не могу подарить, только продать». Действительно, у меня осталось десять рублей, которые я отложила на дорогу. Но прежде чем отдать мне кольцо, в сущности, за бесценок, художник, словно угадав мой характер, взял слово, что я его никому не передарю. А я, если даю честное слово, ему верна: как в мелочах, так и в крупных делах. Допустим, у нас, участников литературного альманаха «Метрополь», была договоренность, согласно которой, если начнутся репрессии в отношении хотя бы одного, то все остальные воспримут это так, как будто и их исключили. И когда из Союза писателей исключили Евгения Попова и Виктора Ерофеева, в знак протеста вышли я, Липкин и Василий Аксенов. Отступать от слова невозможно. Так же и здесь: обещала сохранить кольцо – сохранила.

– Малахит, напоминающий своим цветом сочную зелень трав, называют не только символом неувядающей красоты и гармонии природы, но и талисманом тех, кто имеет дело с пером…

– Вот как? Не знала. Магические и лечебные свойства самоцветов мне абсолютно не известны, никаких рекомендаций по подбору украшений не придерживалась и вообще не придаю этому никакого значения.

Семен Липкин и Инна Лиснянская

Впрочем, в юности камни меня действительно интересовали. Но вовсе не самоцветы. А булыжники. Правда, не совсем обычные. Это были камни-лица, камни-силуэты, камни-фигурки, выточенные бакинскими ветрами. Целая коллекция!..

– В поэме «Круг», посвященной Липкину, среди своих вещей вы упоминаете «перстень пятигранный». Чем он знаменит?

– Какой-то перстень у меня в ту пору был. А вот то, что он «пятигранный», я скорее придумала.

Иногда о себе слышу ли, читаю, что Лиснянская, дескать, пишет все как есть о себе, что мою жизнь можно вычитать из стихов. Но это не верно! В стихах довольно много вымысла, судеб, взятых в себя. Об этом, собственно, стихи в моей новой книге «Ветер покоя», которая не так давно вышла в Санкт-Петербурге в «Пушкинском доме»:

Пишу стишки простецкие
Под маской дневника, –

В них мира мысли детские
И старости тоска.
Так жизнь и смерть в таинственном
Присутствии Творца
Рекут в числе единственном
От первого лица.

Возможно, в заблуждение вводит то, что доверительно обо всем пишу почти всегда от своего имени. Просто это моя манера письма. И вообще, в лирике легче спрятаться, чем в эпике. Граница между первой и второй реальностью здесь довольно размыта.

К тому же объяснять свои стихи невероятно трудно.

Что за стихи без всяких тайн,
Без спрятанных причин?

– От каких украшений вы отказываетесь наотрез?

– От золотых, за исключением обручального кольца. Когда мне что-то попадало из золота – тут же передаривала. А еще – безразлична к бриллиантам. Не люблю очень дорогое. Я всегда трудно жила. Как правило, имела платье с плеча какой-нибудь подруги. И почему-то темное. Оно было одно. И одна пара туфель. Когда у меня появилась вторая – мне было уже хорошо за тридцать. Плохо жить было прилично. В стихах «Первая поминальная» о Булате Окуджаве у меня есть такие строки:

Мы по лужам шлепали
За твоей гитарою,

Из обувки походя
Выливали дождики.
Где же наши, Господи,
Локоны и ежики –

Жизнь полураздетая,
Правда недобитая,
Песня недопетая,
Чаща недопитая.

Поэтому и роскошные, шикарные меха, и ослепительные драгоценности меня отталкивают. Это все не мое. Мне нравится то, что попроще.

– Чем же вызвана метаморфоза, произошедшая с вами в передаче «Монолог длиною в жизнь» из цикла «Осенние портреты» на телеканале «Культура»?

– Пожалуй, за всю свою жизнь мне захотелось принарядиться всего раз пять. Это были очень кратковременные периоды – вспышки. Вот и минувшей весной мне захотелось сделать прическу, приодеться, я похудела – постройнела. Устроила чалму. И даже закончила ее сбоку бантом.

– Ваше представление о стильной женщине?

– Мне приятно смотреть на красивых, со вкусом одетых девушек и дам. Однако назвать какое-то конкретное имя затрудняюсь. Как-то мы с Семеном Израилевичем смотрели один американский телевизионный сериал – «Династию». Там играла главную роль изумительная актриса. По ходу действия постоянно менялись костюмы героев, интерьеры. И вот Семен Израилевич спрашивает меня: «Ты замечаешь, как одета эта актриса, какая обстановка в доме?» – «Абсолютно нет. Слежу только за сюжетом. Ах нет! Пожалуй, еще, что меня привлекает в роскошной жизни, – слуги. Не надо ни пылесосить, ни стирать, ни обед варить – все чисто, прибрано, подано». Привлекает, потому что я остро нуждаюсь в подмоге, или, как теперь говорят, услуге. Зачастую на вопрос, как вы, два поэта, справляетесь с бытом, отвечаю так: «Я немножечко лучше Семена Израилевича. Вот, например, электророзетка и вилка. Он умеет лишь попасть вилкой в розетку. А я могу и в удлинитель».

– Как вы предпочитаете проводить свободные минуты?

– Их у меня нет. Когда-то играла в шахматы. Сейчас не с кем. В основном это книги. Или музыка. Реже кинофильмы. А сравнительно недавно у меня появилось новое невероятное увлечение – компьютер. Мне подарили его ко дню рождения. Никогда в жизни я ни с какой техникой, как нетрудно догадаться, не ладила. А тут

впервые вдруг быстро освоила. Переписываю в него стихи, пишу на нем письма, рассказики, воспоминания…

Подготовила книгу воспоминаний о Тарковском. Отдала в издательство, а потом сама забрала. Пусть ждет своего часа.

– Вам, конечно же, известна жесткая метафора Тарковского – «лопата времени», что его «швырнула на гончарный круг». Не меньшей художественной силы и у вас – «кухня времени» в одноименном стихотворении. И вообще, слово «время» – и реальное, и условное – среди сквозных в ваших стихотворениях на протяжении многих лет. Строки одного из них прозвучали в самом начале нашей беседы. Перечитаем другие.

1970-й:

Я слышу, как падает время на дно,
И вижу круги на воде,
А мне представляется только одно:
Будущее в беде.

1971-й:

Я и время – мы так похожи!
Мы похожи, как близнецы,
Разноглазы и тонкокожи…
Ну, скажи, не одно и то же
Конвоиры и беглецы? <…>

Я – в бегах, а оно – в погоне,
У обоих мир двусторонний –
Там наш пепел, а здесь пожар <…>

Преимущества никакого
Ни ему не дано, ни мне,
Лишены очага и крова,
Мы бежим, как за словом слово
В обезумевшей тишине.

1981-й:

В душном времени, в болотном пламени
Имя Господа мы долго жгли
И сгорали сами. И, как знаменье,
Ливни милосердные сошли.

1991-й:

…наше время живет, дыша
Не воздухом, а огнем.

1994-й:

Продолжается время распада,
Еле теплятся совесть и честь.

1995-й:

Глупо не знать о прошлом
И поспешать в грядущее <…>

Хитрое, простодушное
Время всегда разбойно,
Коли житье побирушное.

1997-й:

И вырваться тщусь я из времени
Прошедшего и – вообще.

– К сожалению, в этом смысле я не оригинальна. Видимо, время – та философская категория, которая непременно присутствует в творчестве каждого.

– Снова ваши строки:

Все связано,
И потому на всех лежит одна вина.
Все названо,
И потому не называю имена.
Все сказано,
И потому молчу в такие времена.

А вот более поздние:

И трепетнее ветра
Трепещущая тема:

Утрачиваем души,
Одушевляя вещи…
И чем мой голос глуше,
Тем осязанье резче.

Или:

Как ни прельстительно затюканной душе
Ошибки опыта проталкивать в печать,
Хочу во что бы то ни стало помолчать.

Что стоит за вашим молчанием?

– Уже не остается сил спорить, доказывать, что дважды два – четыре, убеждать, даже говорить. Однако это молчание – активное. Означает оно для меня следующее: не участвовать в политизированной общественной жизни. Тем более в ее тусовках. Довольствоваться малым и одиночеством.

Еще года четыре назад я утверждала: «Надо укрепить дух созидательным терпением, работать». Да, работать надо было. Потому что все, что могли, мы просвистели в спорах и разговорах. Мы слишком разговорчивы. Тогда как «в такие времена» совсем не лишне помолчать. А то – сплошной скулеж.

Правда, в книжке стихов «Ветер покоя», которая отличается от предыдущих социальной направленностью, – но именно это мне самой как раз во мне и не нравится, я попыталась что-

то сказать «в такие времена». Считаю эту последнюю книжку своей неудачей.

– Позвольте еще несколько цитат из ваших стихов 1990-х годов, в которых лирическая героиня – как, кстати, и в той же поэме «Круг», где немало личных, биографических реалий, – все-таки неразрывно с вами связана:

Избалована бедой,
Счастьем не замечена…

Я, как стекло, закалена,
Я – и песок, я – и волна,
И приспособлена к бездомью и туману.

И в многолюдстве одиноко
Я шла извилистой стезей.
Верховье жизни – это око
С его младенческой слезой.
Как далека я от верховья –
Стремнина времени быстра…

Судьба моя, спасибо и за то,
Что я была вольна в неволе быта, –
Не выиграна властию в лото
И чернью не просеяна сквозь сито.

Что помогло выдержать «нерукотворные удары», «охулки и ухмылки» «и плевки», «всегда оставаться собой» – сохранить лицо?

– Прежде чем «сохранить лицо», его нужно иметь. Не знаю, есть ли оно у меня.

– Вы – прошу прощения – не лукавите?

– Нет-нет. Правда, не знаю… Может, помогает веселость нрава. Я могу смеяться в самые трудные времена.

– Подтверждением – ваше стихотворение 1978 года из книги «Дожди и зеркала» («YMCA-Press», 1983):

Судьба пытала, брила наголо,
И ты жила сверх всяких сил, –
Лицо смеялось, песня плакала,
Народ руками разводил.

С 1990-х годов слово «смех» и его производные встречаются у вас все чаще. Как пример – два стихотворения 1993 года «В несчастных я себя не числю...» и «Бабочка приколота к вечности иглой...». Или – «Чего я хочу, простодыра, балда, пустомеля?..» 1997-го:

Пытаюсь я золото выискать в человеке,
И смех я пытаюсь извлечь из своей беды.

Себя осмеять – это лучший, наверное, способ
В последнем забое столетья бесслезною быть.

Того же времени – «Ночи Кабирии»:

...Пусть плачут глаза и смеется рот –
За маску сойдет гуттаперчевая броня.

Кстати, строка из «Ночей...» дала название, что весьма показательно, и подборке ваших стихов в февральском номере журнала «Дружба народов» – «Судьба смеется глазами и плачет ртом...». Быть может, смех иронии, самоиронии самый горестный...

– Да, это есть в моих стихах. Смею думать, что мы все могли бы хором посмеяться над самими собой, что-то высмеять в самих себе. А потом взяться за дело, жить дальше. Но мы всегда ищем кого-то другого виновного в своей неудачливой судьбе – соседа, чужеземца и так далее. Возможно, это одна из черт нашего характера...

И под легкостью пера крылатого,
И под тяжестью кариатид
Виноватый ищет виноватого,
Невиновный сам себя винит.

Смех действительно помогает. Хотя он гораздо тяжелее слез, которые, в общем, не требуют больших внутренних усилий. В одной моей неопубликованной поэме 1974 года есть такие строки:

Мой плач пересолил
Событья и могилы.
На плач не тратят сил –
На смех уходят силы.

По сути, об этом и в написанных в 1995-м:

Я сожгла свои слезы на дне глазном,
На сетчатке остался пепел,
Чтобы гость незваный в дому моем
Их не видел, а друг их не пил.

Я могла бы слезами землю залить
Перед тем, как в небо отчалить.
Но к чему мне недруга веселить
И к чему мне друга печалить.

Несмотря на мою веселую устную речь во время нашей беседы, мои стихи, увы, довольно сумрачны:

Мне б заплакать, да глаза мои засушливы.
И прошу я у заступника Николы:
Защити моих детей, они ослушники,
Мои дети – это голые глаголы.

Закаляла их в водице разноградусной,
Упреждала: на дворе не та минута,

Сколько можно жечь сердца в стране безрадостной?
Но ослушались и обожглися люто.

– Однако интонация во второй части стихотворения «Сожженные слезы» все-таки иная, чем в первой, которую вы привели до этого:

Все ж надежду мою не выветрить,
Да и веры моей не вытравить
Солью лжи, сулемой событий.

Ваш голос звучит почти как вызов здесь:

Вся смерть, прошедшая сквозь меня,
Всем чудом жизни во мне болит…

И сейчас повторили бы эти слова, не так ли?

Проклятая жизнь, – все равно ты достойна
Молитвы во благо и благостных слез.

– Сама жизнь, которую подарил нам Господь Бог, такая большая ценность, что не дорожить ей невозможно. Когда тебе уже семьдесят лет, когда за спиной так много прожито, пережито, передумано, осмеяно в самой себе, это воспринимается особенно остро и отчетливо.

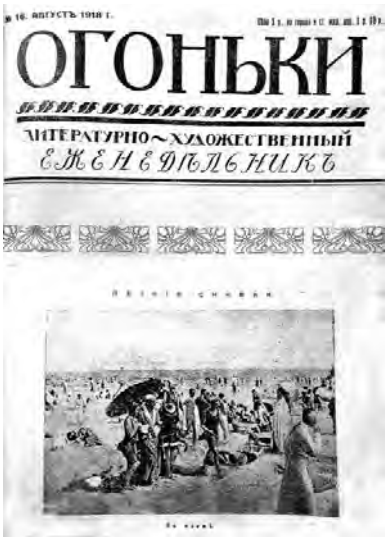
На днях ко мне заходил мастер – надо было что-то починить в доме. Закончил работу. Перед тем как уйти, сказал: «Желаю вам хорошей жизни!» – «Ну что вы, голубчик! Зачем так много? Вы мне просто *жизни* пожелайте…»

Сокровища из сокровищницы

304 Татьяна Щурова
«На пути затерянных времен…»

Татьяна Щурова

«На пути затерянных времен...»


16. АВГУСТЪ 1918 г.

ОГОНЬКИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНИКЪ

Журнал «Огоньки» (май 1918 – февраль 1919 гг.) – значимое периодическое издание «Серебряного века Одессы», не потерявшее до сих пор читательского внимания. С ним непременно работают краеведы, историки, литературоведы, музейщики. Разгадка очень проста: этот журнал был детищем Незнакомца (Б.Д. Флита, 1883-1937?), талантливейшей личности, популярного и чрезвычайно плодовитого одесского издателя, редактора, журналиста, драматурга. Почти два десятилетия он регулярно публиковал свои фельетоны в газете «Одесские новости», но также был редактором или издателем интересных профессионально сделанных журналов и газет, успевая печататься и у своих коллег. О многих из этих изданий мы писали на страницах альманаха, восхищаясь незаурядными явлениями в истории журналистики Одессы, какими стали «Сколопендра» (1908), «Крокодил» (1911-1912), ежедневная (!) газета «Обозрение одесских театров» (1911-1917), «Бомба» (1917-1919), «Огоньки», «Огонек» (1919).

Ростислав Александров назвал очерк о Борисе Давидовиче Флите «Незнакомец, которого знали все», но, похоже, и он всех знал, и всегда

Ѣдутъ на дачу.

умел привлечь к сотрудничеству опытных и начинающих авторов, верно угадывая их потенциальное развитие в дальнейшем.

Уже много написано о том, что Одесса к концу второго десятилетия двадцатого века стала крупным культурным центром. Сюда приезжали из Петрограда, Москвы, Киева известные мастера литературы и искусства. В городе же в 1918 и в первые месяцы 1919 гг. постоянно происходила смена власти: советы, режим гетмана Скоропадского, интервенты, снова советы, деникинцы… И в этой обстановке Незнакомцу удавалось создавать в литературно-художественном еженедельнике «Огоньки» своеобразную мозаику из очень разных материалов, включавших политическую информацию, актуальные бытовые зарисовки, прозу, лирику, театральную полемику (он и сам писал театральные фельетоны, тематически актуальные и сегодня), а также давать выразительные документальные зарисовки, сделанные хорошими художниками Скифом (Самуил Фикс) и Алеко (А. Костюкевич), иллюстрации и шаржи Семена Зальцера – с этими авторами он сотрудничал и в других изданиях.

В сорока двух номерах журнала, изданного на неважной тонкой бумаге без цветных обложек, собраны редкие публикации, многие из которых стали отправной точкой для изучения творчества или дальнейшей

На Андреевскомъ лиманѣ.

Зарис. съ натуры для „Огоньковъ" художника **Алеко**.

1. Воскресная публика, ѣдущая на лиманъ.
2. На берегу лимана.
3. Въ поискахъ дешевой дачи.

Свѣжеиспеченные милліонеры. — „...Такимъ ты долженъ выглядывать, когда ѣдешь съ женой на бѣга...“

судьбы того или иного автора. Здесь фельетон Аркадия Аверченко, рассказы Семена Юшкевича, Лазаря Кармена, Александра Федорова, очерки Тэффи о животных, рассказы юных Валентина Катаева и Юрия Олеши. И очень много стихотворений «мальчишек и девчонок», ставших впоследствии знаменитыми авторами «Юго-Запада».

О поэзии в журнале «Огоньки» мы поговорим в следующем номере альманаха. Сейчас же хочется представить любопытные прозаические публикации. Например, в октябре 1918 года Флит напечатал два рассказа девятнадцатилетнего Юрия Олеши: «Конец студента Бахромова» и «Ветер». В них нет еще «короля метафор», это образцы ранней прозы будущего мастера. Но здесь точно и тонко переданы настроения и юношеские сомнения влюбленной души, вероятно, связанные каким-то образом с романтическими исканиями самого автора. Взволнованно-приподнятое состояние героев рассказов фабульно уводит молодого литератора в мир «фильмы» с участием Веры Холодной. Автор пытается понять, как чувство возвышенной любви может сочетаться с любовью плотской…

Рядом с романтической прозой уживаются реалии непростой жизни горожан. И сто лет назад Одессу волновало, например, разрастание

игорного бизнеса, возмущало открытие многочисленных клубов и мелких притончиков. Интересны впечатления журналиста Василия Страхова, сумевшего украдкой проникнуть в жуткую своеобразную жизнь «темного мирка» и показать ее изнутри.

Чудеса автомобильной техники. — Новый способъ передвиженія въ Америкѣ на автомобиляхъ-велосипедахъ.

Рисунки и фотографии знакомят нас с бытовыми подробностями существования одесситов того времени. Например, очень забавно видеть фото «чудеса автомобильной техники», на котором девушка передвигается на «агрегате», очень напоминающем механические самокаты сегодняшнего дня, столь полюбившиеся юношам и девушкам века нынешнего.

Конечно, не хочется обойтись без театральных публикаций в журнале «Огоньки». Как всегда, интересно читать «Театральный фельетон» Незнакомца. Он нащупывает болевую точку в сценическом искусстве и с горечью отмечает пресыщение публики, ее равнодушие к настоящему театру и желание просто потешить свое зрительское «пошлое любопытство». Его возмущает, что публика валом валит на актерское исполнение своих рассказов писателей Юшкевича, Бунина и Ал. Толстого, на сценические эксперименты «королей экрана» Холодной, Рунича, Максимова или на пение режиссера Евреинова, где все эти попытки уступают самому рядовому исполнителю. В то же время профессиональные актеры не делают сборы. «У всех есть свой стакан – и все хотят пить из другого стакана», – образно определяет проблему Незнакомец.

Лицо и шляпа.

Обыкновенно при выборѣ шляпы говорятъ много о хорошемъ вкусѣ, и шляпа выбирается съ этой точки зрѣнія. Конечно, противъ этого ничего нельзя возразить, но хорошій вкусъ—это цѣлая наука и какъ всякая наука не должна принимаиться на вѣру. Одного отвлеченнаго, хорошаго вкуса мало, извѣстнѣйшее произведеніе искусной модистки дѣлается смѣшнымъ, если оно одѣто на голову, къ которой оно совершенно не подходитъ. И удивительно, что самыя умныя женщины носятъ вещи, правда, модныя, но зато такія, которыя имъ совершенно не идутъ.

А затѣмъ оригинальныя шляпы... Оригинальность никогда не бываетъ признакомъ хорошаго тона! Это хорошо должны запомнить дамы изъ силъ выбивающіяся, что бы не быть похожими на другихъ.

При выборѣ шляпы надо только руководиться—нѣжное, тонкое лицо портитъ большая громоздкая шляпа; маленькая же совершенно не подходитъ къ круглому, полному лицу. То же происходитъ съ выборомъ цвѣта. Женщины со смуглой кожей лица не должны носить бѣлыхъ шляпъ, хотя бы онѣ и были очень въ модѣ. Черныя шляпы безъ всякой отдѣлки идутъ не всѣмъ, въ такихъ случаяхъ изъ слѣдуетъ оживить какимъ-нибудь цвѣтнымъ цвѣтомъ. Другимъ не идутъ только черныя шляпы.

Для гармоніи между лицомъ и шляпой большое значеніе имѣетъ настроеніе. (Гармонія въ данномъ случаѣ — это, когда шляпа идетъ лицу). Поэтому нельзя имѣть только одну шляпу. Это утвержденіе обыкновенно вызываетъ насмѣшки со стороны мужчинъ, осужденіе женщинъ. Одну шляпу нельзя имѣть оттого, что она не всегда идетъ къ одному и тому же лицу. Одна и та же шляпа въ зависимости отъ настроенія можетъ иногда идти, а иногда и уродовать лицо.

И затѣмъ еще одно замѣчаніе: красивая шляпа важнѣе красиваго платья. Во всякомъ случаѣ настроеніе женщины (обыкновенно) повышается отъ сознанія, что шляпа ей идетъ. Это не есть, какъ многіе думаютъ, признакъ легкомыслія и поверхностности — красивая, созданная искусствомъ, внѣшность есть признакъ высшей культуры.

Рис. 1. Соломенный токъ цвѣта шампани съ розовыми перышками, покрытыми тюлемъ.

Рис. 2. Черная соломенная шляпа. Отдѣлка два накрестъ положенныхъ синихъ гусиныхъ пера.

Рис. 3. (Модель Германа Штейнберга Дюсельдорфъ). Синяя соломенная шляпа. Отдѣлка: бѣлая коженная лента съ вырѣзанными орнаментами.

Рис. 4. Бѣлая соломенная шляпа, подбитая синимъ, съ синей лентой и бортомъ, обшитымъ перьями.

Н. Ж.

Бурную полемику в прессе вызвала лекция Николая Евреинова «Театр и эшафот», прочитанная в Одессе летом 1918 года. Этот много одаренный театральный деятель был очень популярен, имел широкий кругозор и отличался в своих книгах оригинальностью авторских идей. В своей лекции он смутил слушателей парадоксальностью, утверждая, что «театр – эквивалент эшафота», ибо дает пищу кровавым инстинктам толпы, эшафот сближается с театральной трагедией, у них «одна цель – очищение». Евреинов пытался доказать притягательную силу жестокости, ее театральность, ведущую свою историю еще с Древней Греции. Конечно, критика не могла не отметить, что «казнь и жестокость обговаривались им в условиях революции и Гражданской войны…».

Листая номера журнала «Огоньки», отмечаешь, что материалы в нем – свидетели своей эпохи, но зачастую они оказываются актуальными сегодня и удивительно тематически созвучны с некоторыми проблемами нашего времени.

Азартъ процвѣтаетъ.

И даже теперь, когда организуются общества борьбы съ азартомъ, когда усиленно говорятъ, о «противоазартной агитаціи» – все-же попрежнему разрастается «игорный мірокъ», вновь открываются игорные клубы, а иногда и просто – притончики.

Глубоко ночью, когда городъ уже спитъ, тамъ – въ накуренныхъ душныхъ съ завѣшанными окнами залахъ – кипитъ своеобразная жизнь.

Море зеленыхъ столовъ. Остывшіе стаканы чая. Всюду разбросанные окурки. Игроки – возбужденные,

нервно-приподнятые – сосредоточенно склонившись надъ столами, продѣлываютъ привычныя манипуляціи съ колодами картъ и грудами бумажныхъ денегъ или костянныхъ значковъ, замѣняющихъ послѣднія. Всѣ они – словно чужды всему, находящемуся за предѣлами зала. Вся энергія ихъ направлена исключительно въ сторону «девятки» и «шменъ де феръ».

– Восемь! О шваль!..

– Аванти!..

– Бакъ!

Человѣку постороннему – здѣсь поневолѣ немного жутко.

Разсказъ **Юрія Олеши**.

Иллюстрировалъ для „Огоньковъ“ А. Костюкевичъ („Алеко“).

I.

День молодого вѣтра. Сумасшедшій, шумный, стремительный, какъ только въ апрѣлѣ и ранней осенью.

Заря желтая. Дома шатаются. Извиваются проволоки. Все летитъ, торопится. Одинъ я стараюсь не поддаться общей инерціи. Трудно. Особенно на мостовой. Налѣзаютъ лошадиныя морды, стрѣляютъ бичи, ревутъ автомобили. Со всѣхъ сторонъ – огнедышащія пасти, красные и золотые огни трамваевъ, мечутся пѣшеходы, бьютъ по лицу полы пальто, взлетаютъ, кружатся, разбиваются стуки, звоны, слова, принесенныя вѣтромъ издалека.

Почему то колокола гудятъ. Парохода поютъ. Пахнетъ мокрой землей и опавшими листьями.

– Ай, яй, яй, молодой человѣкъ! Ловите! Ловите!

Канотье въ неудержимомъ бѣгѣ подпрыгиваетъ по камнямъ. Трахь – трахъ – хлопъ! Остановилось возлѣ башмачковъ красавицы. Молю Бога, чтобы вѣтеръ взметнулъ ея платье. Взметнулъ! Ай, спасибо... Очарова-

тельная ножка! Закройте скорѣе, поправьте!

Одной рукой хватилась за шляпу, другой ловитъ развѣвающійся подолъ платья. Названье: «Вѣтеръ». Набросокъ модерниста.

А все таки грустно. Богъ его знаетъ, грустно – и пріятно. Пріятная жалость къ себѣ – чувство отъ дѣтскихъ лѣтъ.

Мнѣ не грустить надо: тосковать, мучиться. Вспоминаю. Такое положеніе, что трудно описать, чтобы было понятно. Я вѣдь не снизу смотрѣлъ, – а профиль ея былъ на фонѣ чернаго, картоннаго неба. И почему звѣзды были видны, хотя слѣпилъ розовый, дуговый фонарь? И гдѣ фонарь – надъ вывѣской, а профиль низко, – но какъ будто отъ нихъ полъ аршина разстоянія. Одинъ моментъ, на ходу – потому все смѣшалось и запомнилось въ своемъ перемѣщеніи относительно меня. Это было недѣлю назадъ. Позвольте, какъ она была одѣта? Ну, этого не забудешь. Совсѣмъ не похоже на амазонку, – а вотъ почему то запомнилась какъ амазонка. Импрессіонизмъ!

Черное платье. Какое то плотное, но не тяжелое, видно. И идетъ же ей, когда талья схвачена... А какая она тонкая въ немъ. Какъ дѣвочка! Узкій мысъ тѣла. Вырѣзъ спереди больше, чѣмъ на плечахъ.

– Вероника. Опредѣленно золотое имя. Не объяснишь. Я подписался подъ письмомъ такъ: «не забывайте»... и затѣмъ имя и фамилія въ родительномъ падежѣ. Письмо дурацкое, влюбленный лепетъ, хоть, напившись въ «Гамбринусѣ» и говорилъ, что не письмо – а молитва. Ахъ, мальчишка, мальчишка!..

Въ лицо сыплются мелкія капельки, и рукава становятся мокрыми: сырость, отъ которой и холодно и жарко въ одно время.

Вероника – это та, которую я люблю и которая меня не любитъ. Вероника, изъ за которой я застрѣлюсь. Не застрѣлишься. Разговорчики. Такъ просто – театръ для себя. Есть и тоска, и горечь и мысли о смерти, но что то есть сильнѣе, что смѣется. Ну, да молодость. Значитъ въ молодости ни радость, ни боль не искренни?

Уже совсѣмъ темно. Зари нѣтъ. Вѣтеръ! Вѣтеръ!

Какое то предчувствіе. Начало каждаго сезона – время предчувствій. Чего еще ждать? – Вероника на письмо не отвѣтила. Можетъ, не получила? – Получила. Недаромъ глаза прищурила, когда встрѣтились.

Чего я хочу отъ Вероники? Прежде всего я ее люблю. Ну, если любишь, значитъ радуйся, что видишь хоть издалека. Написалъ письмо, – слѣдовательно, одной приглядки мало. А что же нужно? И снизу, Богъ вѣсть изъ какихъ глубинъ сердца просасывается нехорошій, но такой истинный, такой живой отвѣтъ – нужно касаній.

Касаній? Значитъ – похотъ! А любовь? Вѣдь я ее люблю. Или похоть и любовь одно и тоже? А, можетъ быть, похоть, которая возникаетъ при любви, уже не похоть? Но все таки, все таки все сводится къ касаніямъ! Чортъ возьми – ясно, что такъ и должно быть: это от природы, отъ души и плоти. Похоть, и великолѣпно! Развѣ и осквернилъ бы свою любовь, обладая Вероникой, – а обладая Надькой, я оскорбляю похоть. Потому что Надьки я не люблю. Тонкое различіе – похоть любящаго и похоть нелюбящаго. Философія!

Улица Памятника. Любимая моя улица. О, этотъ мостъ! Какая чудесная ограда. Когда идетъ снѣгъ, то, если смотрѣть черезъ нее, дома вдали, повисшіе надъ узкой старинной уличкой, напоминаютъ обложку сказокъ Андерсена.

Здѣсь меньше пѣшеходовъ, но зато листья, листья! Летаютъ, мечутся, шуршатъ подъ ногами... А возлѣ обочинъ тротуаровъ отъ нихъ мягко ступать. Иногда, осенью, бываетъ такъ: вчера еще улицы были чисты, а выйдешь утромъ – и все желтое отъ листьевъ, точно за одну ночь аккуратно осыпались порыжѣлые и сухіе.

Вдругъ сердце падаетъ – моментъ небытья, и сразу застучало, какъ молотъ. Да, да! Нѣтъ, не можетъ быть! Она! Она! Она!

О, улица нечаянной радости! Встрѣтилъ – Гдѣ? Когда? Кто бы ожидалъ... Сердце... Сердце...

Идетъ изъ темноты Вероника. Ликую и страдаю. Отъ счастья и испуга. Всегда пугаюсь, когда вижу ее. Почему?..

Прыгнули дома, упалъ памятникъ, поплыли огни.

– Здравствуйте!

– Здрассс...

Боже мой, лицо! Удержать – удержать... еще! еще! Куда тамъ!

Оглянулся. Вероника... Желтый непромокаемый плащъ и поблескивающая небольшая шляпа, даже не шляпа – что то вродѣ шапочки съ бархаткой вокругъ лица... Идетъ, отводя руку въ сторону.

Боже мой, какъ стучитъ сердце. Лопнетъ. Сказала «Здрассс»...

Остановился. Повернулъ за ней. Замѣтитъ! Скажетъ:

– Какого вы черта лѣзете? Письма какія то! Слѣжка! Мальчишка! Я на васъ плевать хочу!

Осторожно ступаю, прячусь въ темнотѣ. Зрѣніе морского волка. Держусь на разстояніи полуквартала. Иногда кажется, что потерялъ... Нѣтъ, вотъ она. Въ полосѣ свѣта.

Ахъ, эти прохожіе, ахъ этотъ вѣтеръ... Все мѣшаетъ, путаетъ, крутитъ передъ глазами...

Куда она идетъ? Ахъ! Неужели въ драму? Одна! А вотъ не встрѣтилъ бы, болтался-бъ по улицамъ – и не зналъ бы, а такъ проведу изумительный вечеръ – вечеръ съ Вероникой. Звучитъ громко! Можно подумать, что сидѣть буду съ ней рядомъ, разговаривать, а потомъ домой провожать въ пролеткѣ.

Да, какъ бы не такъ! Во первыхъ она будетъ сидѣть, вѣроятно, въ четвертомъ-пятомъ ряду, а я – въ концѣ. Буду дожидаться антрактовъ, чтобы видѣть ее ближе, гдѣ нибудь въ фойэ, когда всѣ прогуливаются.

Театръ уже въ огняхъ. Масса публики у портала. Какъ она быстро идетъ! Вечеръ съ Вероникой – это, какъ во снѣ. Увижу, значитъ, ее безъ шляпы. Навѣрно, платье какое-нибудь

„Вероника на письмо не отвѣтила. Можетъ быть не получила."

нарядное, оголенныя плечи и руки такія особенныя, театральныя. Женщины въ театрахъ всегда какія то особенныя.

Вдругъ неожиданность. Есть двѣ подрядъ небольшія темныя улицы, недоходя театра, улицы съ дурной репутаціей. Женщина съ подведенными глазами, удивительная женщина, взглянула на меня такъ, что сладко въ спинѣ стало. Вѣтеръ повернулъ ее и обтянулъ ноги платьемъ. Ноги! Ноги! – Во рту высохло. Конецъ.

Вероника поднялась по ступеням. Вошла.

Останавливаюсь. Женщина тоже. Денегъ у меня хватитъ. Раззорюсь окончательно.

– Смотрите, вѣтеръ унесетъ! – говорю я глупымъ тономъ подъ денди.

– Спасайте, – отвѣчаетъ женщина.

– Идите за мной.

Она смѣется. Какая интересная! Навѣрно, изъ дорогихъ.

– Вы похожи на мою первую любовь! – это я говорю обычно такимъ женщинамъ.

Она улыбается крашеннымъ ртомъ.

– Знаете что? Идемъ въ театръ.

– Не стоитъ.

– Почему?

Беру ее подъ руку. Пальцы скользятъ по шелку отъ локтя къ ладони.

– Идемъ, идемъ… Не разговаривайте.

Она уже прижимается тѣснѣй. О, эти мурашки по спинѣ!

Заходимъ въ вестибюль. Ищу глазами Веронику. Вотъ! Уходитъ? Что такое… Куда? Ахъ, вотъ этотъ господинъ, который съ ней повсюду… Подошла къ нему.

– А у тебя кокаинъ есть? – спрашиваетъ моя дама шопотомъ.

Я не отвѣчаю. Прислушиваюсь къ разговору тѣхъ двухъ. Боже мой, что за голосъ у нея!

Она спиной ко мнѣ. Господинъ значительно выше ея, улыбается, глядя сверху.

– Что за интересъ! – голосъ Вероники: билетовъ еще не бралъ?

– Нѣтъ.

– Великолѣпно. Идемъ въ «Нетопырь».

– А! – отмахивается.

– Ей, Богу, тамъ лучше!

Я вижу, какъ они уходятъ... Рука, отведенная слегка назадъ, бархатка вкругъ лица, красные уголки глазъ. Не видѣла.

– Идемъ лучше въ «Нетопырь», – говорю я.

– Морочишь голову.

Онѣ сразу переходятъ на «ты».

У нея чудесное углубленіе лопатокъ. Видно въ вырѣзѣ. Какъ хорошо поцѣловатъ туда.

– Какъ тебѣ не холодно въ этомъ шелкѣ?

– Сердце горячее.

Отвѣтъ, котораго я ждалъ.

Идемъ въ «Нетопырь». Веронику я потерялъ изъ виду.

II.

Программа уже началась. Въ фойэ только билетеры. Покупаю два билета третьяго ряда. Входя въ полутемный залъ, стараюсь разглядѣть публику. Садимся. У нея мокрый, большой ротъ: поблескиваетъ въ темнотѣ отъ свѣта со сцены. Предвкушаю, – и замираю весь.

Номеръ окончился, Лиловый занавѣсъ упалъ, рампа вспыхнула. Хлопаютъ. Оглядываю залъ. Еще разъ, еще и еще. Нѣтъ! Чортъ возьми! куда же они ушли?..

– Ты мнѣ нравишься! – голосъ низкій и щекочущій мнѣ горло. Сжимаю ея руку. Вся приникаетъ.

Гдѣ же Вероника? Нѣтъ, нѣтѣ и нѣтъ.

Выходитъ молодой человѣкъ со стеклышкомъ въ глазу, осторожно минуетъ суфлерскую будку, волнуя сверху до низу занавѣсъ, и начинаетъ.

– Итакъ, сейчасъ вы видѣли...

Неужели они и отсюда ушли?

– Только хлопайте. Посильнѣе – оканчиваетъ и скользитъ за занавѣсъ.

Глупо сидѣть здѣсь. Лучше пойти ко мнѣ.

Дома деньги: пошлю за виномъ, фруктами и сладостями, устрою нѣчто невѣроятное. Почему уже недосадно на Веронику?

– Плюнемъ на дѣло. Скука.

– А? – она говоритъ «а» – нѣжно, склонясь ко мнѣ.

– Скука. Идемъ ко мнѣ.

– Вотъ невозможный.

– Дома кокаинъ!

– Ну?

– Честное слово.

Встаемъ и уходимъ изъ зала.

Въ фойэ сталкиваемся съ Вероникой и ея спутникомъ. Что это! Боже мой, что она подумаетъ! Вѣдь это сыскъ – куда она, туда и я. Сейчасъ скажетъ

ему, а онъ какъ трахнетъ меня палкой по головѣ: «не бѣгай, мальчишка, за Вероникой Станиславовной!»

Посмотрѣла на меня серьезно и, Боже мой, недовольно.

Что дѣлать? Назадъ въ «Нетопырь»? Что тогда подумаетъ эта въ черномъ. Еще скандалъ подниметъ? Бросить ее и оставаться, или вести къ себѣ?

Они берутъ билеты. Вероника почему-то хохочетъ.

„Мы весело провели время".

Вечеръ съ Вероникой или это углубленіе между лопатокъ?

– Чего жъ ты сталъ? – спрашиваетъ она. Въ это мгновеніе я замѣчаю, какъ черный шелкъ на груди у нея возлѣ вырѣза чуть отстаетъ надъ тѣломъ и образуетъ плѣнительную темноту, гдѣ я вижу кружево. Конецъ.

– Какъ тебя зовутъ?

Она отвѣчаетъ:

– Валя.

Я почему-то начинаю дрожать. Пріятная дрожь, отъ которой трудно говорить.

– Валя, ты меня любишь?

Глупѣйшіе разговоры.

Потомъ на улицѣ она меня цѣлуетъ въ губы.

Приходимъ ко мнѣ. Хозяевъ квартиры нѣтъ: тѣмъ лучше. Я иду за виномъ. Покупаю двѣ бутылки удѣльнаго, грушъ и винограду. Весело проводимъ время.

Вотъ послѣ этого говори о подвигахъ любви, о прекрасныхъ дамахъ, о тоскѣ, о томъ, что въ огонь попадешь изъ-за нея… Чепуха.

Я записываю въ дневникъ:

«Я страдаю. Никакъ иначе нельзя назвать то, что я испытываю отъ нераздѣленности моей любви.

Но возможность близости къ интересной и доступной женщинѣ сдѣлала такъ, что я потерялъ счастливый случай видѣть цѣлый вечеръ ту, которая мнѣ дороже всѣхъ людей. Заключаю: молодость не можетъ ни любить, ни ненавидѣть. Любовь молодого человѣка – это наиболѣе ярко выраженное желаніе. Почему то думаютъ, что «чистая» любовь свойственна юношамъ. Ничего подобнаго!»

Юрій Олеша.

Театральный фельетонъ.

Какъ хорошо, когда каждый дѣлаетъ свое дѣло.

Когда Евреиновъ режиссируетъ пьесы и пишетъ книги о театрѣ. (Впрочемъ, многіе говорятъ, что послѣднее вовсе не такъ хорошо!)

Когда Вѣра Холодная, Руничъ и Максимовъ играютъ для Великаго Нѣмого.

Когда Юшкевичъ и Бунинъ, и Ал. Толстой пишутъ хорошія книги или пьесы, а актеры ихъ хорошо играютъ...

Но такова ужъ иронія судьбы:

Каждый хочетъ дѣлать не то, что составляетъ его спеціальностъ.

Шаржъ Зальцера.

Н. И. Евреиновъ (Шаржъ).

Юшкевичъ и Бунинъ ѣздили въ Кіевъ читать свои разсказы и даже «сдѣлали» сборъ – какъ говорятъ – въ 14 тысячъ.

Вѣра Холодная съ Руничемъ хотятъ играть на сценѣ.

Евреиновъ поетъ свои пѣсенки, уступая въ этомъ самому рядовому исполнителю.

Та же Вѣра Холодная непремѣнно хочетъ танцевать танго, и, конечно, этого дѣлать не умѣетъ, как не умѣетъ балетная артистка пѣть въ оперѣ!..

У всѣхъ есть свой стаканъ, – и всѣ хотятъ пить изъ другого стакана:

– Такъ болѣе сладко!..

Быть можетъ, для нихъ, но не для публики.

Но публика валитъ.

Такая артистка, какъ Полевицкая, уже не дѣлаетъ полныхъ сборовъ.

Драма не привлекаетъ полнаго зала.

Это ли не позоръ, ли не стыдъ для Одессы. Вся Россія зла на Ливскаго, отнявшаго Полевицкую у Россіи для Одессы, а Одесса ходитъ въ кино, и не рвется въ драму съ такой артисткой, какъ Полевицкая?

А посмотрите, что творится на «гастроляхъ» Максимова или Вѣры Холодной?

Сборы по 15 тысячъ.

Оваціи, истерики, гимны и колѣнопреклоненіе...

Вѣра Холодная,
„королева“ экрана.

Максимовъ отвратительно читаетъ плохіе стихи.

Вѣра Холодная ужасно танцуетъ и плохо играетъ.

Евреинов слабо подражаетъ Ильсарову или Юргенсону.

И сборы въ 14-15 тысячъ.

И шумъ и крики, и восторги и цвѣты...

Какъ хотите, – въ этомъ есть что то ужасно не здоровое, любопытство мѣщанское, интересъ не театральный, а пошло-обывательскій.

Во всемъ этомъ есть букетъ пошлости...

Одинъ умный и чуткій старый театралъ сказалъ мнѣ:

– Если я захочу смотрѣть артистку въ драмѣ, я поѣду слушать Полевицкую, Юреневу, Пасхалову, даже Самборскую. Но почему артистка кино, Вѣра Холодная должна играть въ драматическомъ отрывкѣ, а я долженъ ее слушать?

– Не ходите!

– Я то не пойду, но это стадо, публика, въ театръ не ходитъ, а на королей экрана побѣжала стремглавъ.

Говорятъ – что въ театрахъ упали сборы потому что теперь гастролируетъ «Испанка».

Но вотъ же въ «Гротескѣ» Вѣра Холодная набила театръ биткомъ, уплотнивъ массу публики до того, что на одномъ креслѣ сидѣли по двое.

Тутъ «Испанка» не помѣшала.

Больные приползли, слабые притащились.

– Интересъ не къ искусству, а просто любопытство къ тому:

– Какая она изъ себя?

– Какое платье носитъ?

– Какая шляпа?

Тутъ любовь къ театру не ночевала, интересъ къ искусству очень относительный.

Конечно, короли экрана, короли литературы и всяческіе короли дѣлаютъ не то, что они могутъ дѣлать, не только изъ за каприза.

Это дѣлается изъ за денегъ.

За это хорошо, слишкомъ хорошо платятъ, но нездоровое любопытство

публики отъ этихъ баснословныхъ цѣнъ, взвинченныхъ безумно, еще болѣе разгорается.

Для истинныхѣ театраловъ такая переоцѣнка цѣнностей очень полезна, потому что изъ ихъ нервовъ можно теперь сдѣлать шнурки для ботинокѣ, – а это нынче... очень важно.

И быть можетъ потому, что артисты кино играютъ въ драмѣ, а артисты драмы пошли въ кино, – быть можетъ, потому что искусство замѣнили любопытствомъ, – у насъ уже нѣтъ былого театральнаго энтузіазма...

И въ самомъ дѣлѣ, есть ли теперь тотъ огонь у публики, который согрѣвалъ театръ въ прошломъ?

Какой смѣшной и наивной кажется теперь фраза Бѣлинскаго о жизни и смерти въ театрѣ?

Есть ли теперь любимцы у публики, есть ли истинные властители думъ?

Нѣтъ, – кино, клубы и опошленіе театра – убили энтузіазмъ публики.

Вотъ почему нынѣшняя публика почти вся поражена скукой или пресыщеніемъ, почти вся она скучаетъ уже до начала дѣйствій.

Не правда ли, глаза нынѣшней публики не горятъ огнемъ.

У нея нѣтъ пыла ни къ пьесѣ, ни къ исполнителямъ.

А между тѣмъ, въ Одессѣ театру удѣляется прессой столько любовнаго вниманія, столько теплаго доброжелательства, какъ ни въ одномъ городѣ Россіи...

Одесская пресса удѣляетъ театру много мѣста, относится къ нему сердечно и, кажется, воспитываетъ вкусы публики достаточно стойко.

Но и кромѣ общей, – въ Одессѣ теперь расцвѣтъ театральной прессы.

Мы имѣемъ прекрасный, серьезный, вдумчивый журналъ «Фигаро», превосходящій почти всѣ бывшіе столичные театральные журналы, кромѣ развѣ «Театра и Искусства», и сразу заставившій себя уважать и къ себѣ прислушиваться.

Мы имѣемъ очень живой, доступный для массъ первый по времени – и удѣляющій мѣсто всѣмъ театрамъ, журналъ «Мельпомену».

Мы имѣемъ и нѣсколько другихъ театральныхъ органовъ, – и все это, казалось бы, должно звать зрителя въ театръ, будить театральный интересъ, волновать и мучать...

А между тѣмъ публика къ настоящему театру просто равнодушна...

Глубина пьесы бѣжитъ отъ насъ, и наши трепетные глаза лишь хотятъ развлеченія, наши сердца поражены пошлымъ любопытствомъ.

Виноватъ ли въ этомъ упадокъ театра, виновато ли время, виноваты ли артисты, побѣжавшіе за золотомъ, чтобы догонять его въ ущербъ славѣ – не берусь судить.

Но на грустныя мысли наводятъ теперь и публика и театръ.

И та и другой омѣщанились.

Незнакомецъ.

Путешествие

322 Екатерина Безпалова
Мексиканская робинзонада

Екатерина Безпалова

Мексиканская робинзонада

В песчаных степях мексиканской земли
Кокосовы пальмы активно росли,
Подвоха не ждали они беспокойно,
Плоды с молоком раздавали достойно,
Пока не настиг их недуг от врагов,
От знойных лучей и летучих песков.

Весной 2020 мои мексиканские друзья рассказали мне о теории заговора против пальм. Лет 30-40 назад было на Юкатанском побережье пальм видимо-невидимо, а потом принеслась с Кубы зараза, и начали пальмы погибать. Мексиканцы считают, что заразу на Кубу сознательно занесли завистливые и коварные американцы, чтоб жизнь кубинцам кокосовым раем не казалась, чтоб не были они крупными экспортерами кокосов!

Родиной кокосовых пальм считается Полинезия. Распространялись пальмы по островам и побережьям тропической зоны двумя способами. С пальм, наклонившихся над рекой или морем, плоды падали в воду и по течению переносились на большие расстояния. Установлено, что всхожесть плодов сохраняется в морской воде до 110 дней. За это время они могут проплыть до 3000 миль. Морским путем происходило и в наше время происходит распространение кокосовой пальмы по островам Тихого океана. Однако еще большее влияние оказала деятельность человека. Предполагают, что в Африку пальму завезли индийские торговцы, в Америку – полинезийцы. Испанские мореплаватели

в конце XV века обнаружили кокосовую пальму на побережье Центральной Америки. В первой половине XX века американские пальмы стали хворать желтухой, и стало их на берегах США гораздо меньше, а к концу XX века решили американцы кубинские пальмы заразить. Колорадских жуков не запускали для этой операции, но нашли иной способ погубить кокосовые пальмы. И вот то ли и мексиканцам тоже подгадили по ходу, то ли до них добралась кубинская зараза самостоятельно, но больше здесь нет масштабных плантаций кокосовых пальм, а лишь штучные деревья. Тем не менее кокосовых орехов хватает вдоволь не только для местных и туристов, но и для экспорта за рубеж.

Мексика – страна, где хозяйничали майя, инки и ацтеки, – манила меня, чтоб загадать заветное желание и отдохнуть пару недель от европейской цивилизованности. Желание сбылось сразу. Де-юре Мексика пленила нас на пару месяцев, и мы стали победителями не оглашенного конкурса «Лучший карантин 2020», а де-факто мы зачарованы этой страной навсегда.

На родине Фриды Кало, Консуэло Торрес и Карлоса Сантаны приветливые граждане и гражданки кормят гуакамоле и поят текилой и мескалем. Ананасы, манго и авокадо доступны даже для бедняков, а вот самый простой чай – настоящая редкость даже в больших городах. Рыба доступна всем и всегда, а вот на ловлю лангустов до июня распространяется строгий запрет.

Мексиканцы так же трепетно относятся к кактусам, как украинцы к подсолнухам, поэтому изображение колючей опунции (нопаля) увековечено даже на флаге Мексики! Согласно легенде, ацтеки увидели на дереве опунции орла, разрывающего змею, и сочли это благоприятным знаком для основания города Теночтитлан, в переводе – «место, где растет нопаль». Мексика часто ассоциируется с кастанедовским кактусом-пейотом и, конечно, кактусом-агавой, из которого производят текилу. Кстати, текилу делают только из голубой агавы, а из остальных агав – местный самогон-мескаль.

Флора Мексики разнообразна, и в долинах юкатанского Кинтану-Роо кактусов меньше, чем на мальтийских дорогах и одесском подоконнике. Кактусофилы могут не колесить по миру, чтоб увидеть почти все существующие в природе кактусы в живой природе. Им достаточно добраться до тихоокеанского побережья, но не атланического. Даже опунцию здесь вдоль дорог днем с огнем не сыщешь, но на базарах и в магазинах – всегда пожалуйста! Фермеры ее истребляют, поскольку она захватывает их угодья. С другой стороны, где-то есть и целые искусственные плантации для растения, полезного в медицине и даже в производстве

красителей. Красители производят не только непосредственно из растения, но и из тли, наевшейся кактусовых плодов. Чаще всего нопаль-опунцию все-таки едят в салатах, маринуют, солят, варят из нее варенье и жарят! Кстати, если опунцию жарить, то сначала ее рекомендуется отварить, а затем имеет смысл обмакнуть в яйцо и муку.

Мексика – самая большая испаноязычная страна в мире, где проживает более 125 миллионов человек. Густонаселена страна в своих 32 округах непропорционально. В Мехико проживают 8,5 миллионов, как в Лондоне, а вот на полуострове Юкатан мангровых деревьев значительно больше, чем жителей. Часто в этих джунглях прячутся сеноты – естественные подземные пещеры с кристальной водой, образовавшиеся при обрушениях сводов. Говорят, они появились из-за того, что очень давно здесь пронзили землю метеориты!

Именно на территории штата Кинатана-Роо располагается Ривьера Майя – на юг от туристического Канкуна с рыбацкого поселка Пуэрто-Морелос в своей северной части до Пунта-Альен в южной и центром в Плая-дель-Кармен. Последний городок был любим американскими хиппи, но стал более популярным благодаря американским туристам с 1980-х. Общая протяженность Ривьеры – около 140 км. Отсюда легко начинать исследования всех руин древних цивилизаций – от Тулума через Коба и до Чичен-Ицы. Вряд ли возможно быть тут и не думать о том, как кортесовцы заразили майя оспой и почти стерли с лица земли этот милый мудрый народ.

Все здесь вертится вокруг великого календаря майского и народа их дивного, обитавшего тут с 455 по 1178. Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице – всего 24 метра + 6 на вершине, но впечатляет сильно! Длина каждой из ее сторон – 55 метров, а каждая грань имеет 9 ступеней. Со всех четырех сторон от основания к вершине пирамиды ведут ступени, сориентированные по сторонам света. Каждая из четырех лестниц храма имеет 91 ступеньку, а их суммарное количество равно 364. Вместе с базой-платформой на вершине пирамиды, объединяющей все четыре лестницы, получается число 365. Самые крутые чудеса с игрой теней и солнечных лучей в храмах майя в Тулуме и Чичен-Ице происходят в дни весеннего и осеннего равноденствия.

В Тулуме, портовом городе индейцев майя на побережье Карибского моря, большая часть руин связана с женским культом, с рождением и со смертью. Пик расцвета города пришелся на XIV-XVI века, когда местные экспортировали соль, хлопок, каучук, а приход испанцев не препятствовал угасанию жизни «города солнца».

В связи с вынужденными карантинными мерами наш отпуск затянулся. Нам было суждено познакомиться с настоящей нетуристической стороной Мексики.

Если однажды вас занесет в Махахуаль, то лучше именно тогда, когда сюда не заходят еще три круизных судна помимо вашего. Весной 2020 в далеком практически безлюдном поселке Махахуаль пусто. Городок не велик и не мал. 920 душ. Редкие потомки майя и потомки кортесовцев, приезжие испанцы, итальянцы, американцы, немцы и французы живут здесь, совмещая работу с отдыхом души с аквалангами за спиной для погружений в дивный подводный мир окрестностей. От пассажирского терминала и статного маяка бежит вполне обычная карибская улица вдоль возмутительно бирюзовых пляжей. Пробежав кафешки и хибарки, улица впадает в мангровые заросли с непостижимо гладкой дорогой, мощенной тертым кораллом.

Кажется, что именно так и полагается выглядеть дороге, ведущей в заброшенный рай. Тем не менее чистота и красота карибски живописна лишь там, где коснулась берега рука человеческая. Местные жители очищают свои клочки жемчужных пляжей,

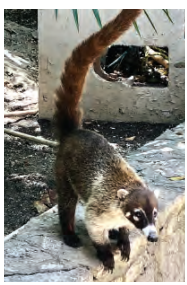
но понять, что это частная территория, едва ли возможно. Никаких особняков, замков и заборов, а лишь шалаши, гамаки, палатки и избушки на пеликаньих ножках. Никто не бежит с ружьем с солью, чтоб выстрелить в похитителей кокосов. Хозяева участков приветливо благодарят, что вы оценили их вкус, и рады видеть вас в гостях, раз и вам по душе их пляж. Однако если вам все-таки неловко злоупотреблять гостеприимством, и есть желание найти собственный ничейный клочок рая на краю земли, вас может постичь минимум разочарование, а максимум глубокая печаль, оттого что нет его больше на земле. Загадили его современники окончательно и вряд ли поворотно. Вначале кажется, что местные – свиньи, не приученные убирать за собой. Потом приходит мысль о маньяке-людоеде, пожирающем людишек и оставляющем после каждой жертвы ботинок-тапок на берегу. Пройдя несколько километров по пластиковой свалке в раю, понимаешь, что море и океан спасают своих обитателей, выбрасывая на берег людишкам то, что они швырнули в пучины чистой морской души.

Ночью звезды в любой глуши мерцают особо ярко, а здесь они сияют совсем новым светом перевернутых родных медведиц, ослепительным сиянием Венеры, тем самым Южным Крестом и Кассиопеей, вдохновением, вечностью и непоколебимой уверенностью, что все-таки жизнь на планете Земля вечна вопреки временным злоключениям. Так здесь всегда шептали волны… Майя они, наверное, что-то тоже пророчили, но сейчас они все-таки добрее, несмотря на все грехи человеческие перед природой.

В Махахуале одна католическая церквушка. 98 процентов мексиканцев католики официально, но верят и в другие высшие силы и увлекаются древними культами. Храм почти всегда пуст, но именно в таких далеких от цивилизации уголках ощущается, что Бог вне религии, а традиции можно чтить и без обязательного посещения церкви. Несмотря на то, что испанцы твердо закрепили христианскую католическую религию на завоеванных землях, им не удалось искоренить местные верования. Подобно тому, как в Украине славянские языческие обряды якобы вполне гармонично вплетены в православные праздники, а маленькие европейские католики уплетают шоколадные яйца и зайцев, пришедших из языческих традиций, так и в Мексике живы свои

ALTO

No
ALIMENTOS



традиции и культы. Мексиканцы веселее и задорнее европейцев относятся к смерти. Быть может, поэтому президент Мексики вместо строгих мер по COVID ввел всего лишь сухой закон, а на следующий день отменил и его.

Одним из самых почитаемых мексиканских праздников является День мертвых и его главные символы – Катрина и череп. Махахуальская деревня небогата на сувенирные лавки, но даже тут можно найти озорные черепа и веселую расфуфыренную скелетку Катрину. Я думала, что она Катька, но оказывается, что не совсем. Катрина очень популярна чуть больше ста лет и является своеобразным символом богини Миктлансиуатль в мифологии ацтеков. Именно она изображалась в виде скелета или женщины с черепом вместо головы; была наряжена в юбку из гремучих змей, являющихся одновременно существами как верхнего, так и нижнего мира. Именно ее особо почитали ацтеки как символ Святой Смерти во время праздников Дней смерти.

Тем не менее XX век внес свои коррективы в образ Катрины. В 1913 Хосе Посада создал одноименную гравюру. Слово «катрина» (исп. catrina) является формой женского рода слова catrín, что означает «франт». Фигурка, изображенная в украшенной цветами шляпе, модной в начале XX века, призвана показать, что богатые и модные, несмотря на их претензии на важность, так же смертны, как и все остальные. Во времена Посады Катрина была очень популярна, однако вскоре после его смерти ее забыли. Возродили память о ней Жан Шарло и Диего Ривера. Катрина стала прочным символом уникального мексиканского искусства, ее начали воспроизводить в большом количестве экземпляров и вариантов. В частности, это изображение включено в картину Риверы «Сон о воскресном вечере в парке Аламеда», на которой также изображены Посада, Ривера и его жена Фрида Кало.

Что касается расписных черепов, то это тоже от ацтеков и майя. Говорят, что те держали в домах настоящие черепа умерших – как своеобразную семейную реликвию их часто демонстрировали во время различных ритуалов, они должны были символизировать смерть и воскрешение. Похоже, что именно так была заложена традиция отмечать Дни мертвых, хотя празднования в честь Санта-Муэрте длились почти весь август, а не два ноябрьских дня. Мексиканцы верят, что в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. В эти дни их предки, майя и ацтеки, приносили дары богине Миктлансиуатль и сооружали стены с изображением черепов – цомпантли. 1 ноября, в День ангелочков, почитают умерших детей. 2 ноября, в День умерших, почитают всех взрослых. В эти дни люди посещают кладбища,

чтобы пообщаться с душами умерших, на могилах и дома строят алтари с фотографиями и реликвиями, приносят любимые напитки и еду умерших. Все это делается для того, чтобы побудить душу усопшего посетить живых. Иногда празднования приобретают веселую окраску, когда родственники умерших вспоминают у надгробия смешные или веселые факты из жизни умершего. Могилы и алтари украшают фруктами и оранжевыми цветами-бархатцами, которые, по поверьям, притягивают души умерших. В День ангелочков приносят игрушки для детей и сладости. Для взрослых же чаще всего приносят текилу и пиво. Тут верят, что все продолжают жить, пока жива память о них среди живых!

Мексиканские автомагистрали приятно удивляют качественным дорожным покрытием, восхищают колоритными пейзажами и удивляют самым типичным автомобилем для мексиканской периферии – легендарным «фольксвагеном-жуком»! До недавних пор именно «жуки»-такси служили одним из символов Мехико. Само собой, «народный автомобиль» бороздит просторы всей Мексики. В 2019 в городе Пуэбла на заводе «Фольксваген» собрали последний автомобиль модели «Жук», а идентичный выпущенному в 1945 году сошел с конвейера в Мексике в 2003-м. Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и других стран Латинской Америки. Всего за почти 70-летнюю историю под маркой «Volkswagen Käfer» было произведено порядка 21,5 млн автомобилей. Модель спроектировал конструктор Порше то ли в 1930-е по заказу Гитлера, то ли даже раньше и самостоятельно. В Махахуале сохранилось много таких экземпляров.

Удивление в маленькой мексиканской деревушке может возникать регулярно. Например, едва ли возможно предположить, что кто-то из местных жителей слышал про далекую заокеанскую Одессу, а тем более бывал там. Мы долго болтали с хозяином местного дайверского клуба. Оскар, вообще-то, испанец. Около десяти лет назад он был журналистом и в качестве корреспондента объездил не только всю Восточную Европу, но и да, успел пожить почти год в Одессе. Хозяин местной гостиницы, пожилой итальянский художник Анжело, тоже бродил у Потемкинской лестницы еще в 1980-е. «Контрольный в голову» был от дайвера Оскара не тогда, когда он сказал, что труднее было найти в переводе «Одесские рассказы»

Бабеля, чем «Конармию», и даже не тогда, когда он жаловался, что Бунина на испанском маловато, а когда сказал, что, чтоб понять Одессу, надо прочитать хотя бы «Яму» и «Гранатовый браслет»!

На втором месяце пребывания в чужой стране начинаешь следить за местными новостями, как гражданин. Когда расстреляли местного мэра, жители стали открыто рассказывать, что он был слишком коррумпирован и занимался наркоторговлей. Быть может, отобрал у полиции и не поделился содержимым контейнера, который двумя неделями ранее прибило к берегу. Законопослушные канадские аборигены, выйдя из своей палатки утром, обнаружили на пляже контейнер, из которого высыпался белый порошок, и немедленно сообщили в полицию. Такое тут периодически случается. Похороны были скромными, но не тихими. По традиции, покойного провожают кортежем сигналящих автомашин, как на некоторых украинских свадьбах. В данном случае вереница была короткой, но венчал ее БТР.

Мы имели опыт личного общения лишь с мелким криминалитетом. Местные рыбаки-браконьеры таки ловят лангустов под запретом. Они издалека замечают голодный блеск в глазах и ломку по свежим морепродуктам и сами выходят на контакт. Лично мне они сбывали по 4 кг свежепойманных раков за 20 долларов! Дальше больше! Местная итальянская «коза ностра» предложила нам присоединиться к тематической подводной охоте на лангустов. В наших рядах был один серьезный профессиональный дайвер. Он добыл нам столько лангустов, что стал победителем спортивной охоты на членистоногих! Кстати, уха из них получается шикарная! А удивительные усики лангуста превратились в арт-объект, созданный нашим другом. Кстати, в Махахуале есть и храм Солнца, возведенный на коралловом рифе знаменитым одесским скульптором. Храм пришелся очень по душе местным жителям, а одесский след остался на мексиканском побережье.

Расширение познаний о мексиканских берегах происходило ежедневно, но следы беглых нацистов и троцкистов совсем не обнаружены, а вот каменные и коралловые останки в воде и на земле не перестают восхищать.

К маю ветра становятся сильными. Почти такими, как далекий мистраль, от которого Винсент В. впадал в безумие и страдал

от приступов головной боли. На пляжах становится некомфортно, но в период карантина роскошные пляжи официально закрыты. В нашем поселке запрет на посещение пляжа длился сутки, так как полиция тут вполне коррумпирована, и нашим итальянцам удалось полицейских прикормить так, что они делали вид, что не видят купальщиц, но вот купальники видеть должны. Кстати, в Мексике довольно строго с купанием нагишом – категорически запрещено на городских пляжах отдыхать топлес. Нудистов же могут не просто оштрафовать, но и привлечь к ответственности, если они, конечно, не нашли какой-то далекий дикий пляж.

В деревенской изоляции в Мексике возникает много неожиданных открытий, неслыханных теорий заговоров, недодуманных дум – и несколько местных питомцев, которые уже воспринимают понаехавших как родственников хозяев. Черепахи в тазиках, ручная попугаиха Симона с перебитым крылом, многочисленные игуанки, сизые голуби, соседские двортерьеры и худощавые коты. Птиц много новых и незнакомых (мексиканские цапли и фрегаты, коршуны и местные крикливые воронообразные, всяческие чайки и пеликаны), а вот то, что тараканы-кукарачи тоже летают, как

птицы, – истинная правда и кошмар и ужас с криком пронзительным. Дикая фауна, видимо, самоизолировалась в дикой флоре и почти не видна невооруженному украинскому глазу.

Финал мексиканской робинзонады был ознаменован сезоном дождей, длящимся в этих краях пол-лета. Тем не менее мы впитали и такие новые впечатления, прочувствовали ценность пресной воды, нарыбачились с местными, научились добывать дефициты из-под полы у спекулянтов и привыкли к жаркому влажному климату. Кстати, о жаре или о глобальном потеплении. Погубило тут глобальное потепление одну маленькую, но важную бактерию, которая способствовала жизни кораллов, но от жары глобальной она погибла, что влечет за собой очень печальные прогнозы для всех коралловых атоллов.

Однако есть и хорошие новости! Две недели назад археологи обнаружили близ Махахуаля доныне неизвестный город майя. Продолжают исследовать, чтоб попытаться не только найти подтверждение того, что тут жили майя-рыбаки, но и надыбать их храм. Некоторые местные уже водят сплетни, что рядом в джунглях еще пару месяцев назад нашли такую же пирамиду, как в Чичен-Ице. В планах у мексиканцев запустить туристический поезд по тропам майя, и он будет проходить сквозь всю Мексику и через Махахуаль в частности. Быть может, совсем скоро здесь появится аэропорт Нью-Васюки! Ой, то есть Нью-Махахуаль! Пока же авиасообщение Мексики с Европой скудно. Проснулись и залетали только кусачие мухи! Они гоняют нас по всему побережью – покой только в воде с маской для снорклинга!

Побережье исследовали вдоль и поперек, а вот джунгли и мангровые заросли таки да непроходимы. Сначала с некой досадой всматриваюсь в густую непролазную паутину веток, за которую улепетывают олени, лисы, белки, еноты-носухи, диковинные пернатые и торопливые пресмыкающиеся, но потом возрадовалась, что природа сотворила для них эти просторные клетки, в которых животные чувствуют себя безопасно вдалеке от хомосапиенсов и их вирусов.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Ах, Одесса

336 **Наталья Бржестовская**
И дольше века длится жизнь

340 **Евгений Ушан**
Этот негодяй коронавирус

343 **Алекс Сино**
Червонец Кобыливкера

347 **Александр Мардань**
С поэтами не расставайтесь

350 **Нина Данилова**
Ангел на абонементе

356 **Екатерина Яковлева**
О котах, об ангелах и о людях

366 **Надежда Барчук**
На Молдаванке музыка играла

Наталья Бржестовская

И дольше века длится жизнь

Можно бесконечно стенать и сетовать, что Одесса уже не та, что в Одессе уже не те и не то…

Можно просто любить свой город и наметанным добрым глазом подмечать его характерные особенности, чарующие детали,

И только самым креативным и вездесущим удается не просто подмечать что-то особенное в городской среде, а продуцировать идеи – и реализовывать их.

О чем это я? О новом одесском проекте «Старики-деревья» писателя и краеведа Олега Губаря. Вот прямо сейчас его энергией и энергией его друзей на наших глазах рождаются новые достопримечательности нашего родного города.

Для почетного гражданина Одессы Олега Губаря город – это, в первую очередь, старые дома, ауры дворов и… дух деревьев. Платаны, каштаны, акации – тоже неотъемлемая часть городской среды. Их век дольше человеческого, но и они стареют. Как

не дать им безвременно уйти – эту непростую задачу и решал куратор проекта. И нашел оригинальное решение.

Начало проекту положила композиция по улице Успенской, 75. Зашел однажды Олег Иосифович во дворик своего детства и с грустью заметил, что старый тополь, которому, возможно, еще долго было предназначено шелестеть листвой, спилен чьей-то недрогнувшей рукой. То ли дерево препятствовало строительству балкона, то ли стало представлять угрозу для тесного дворика.

Так или иначе, остался от него… нет, не пень – ствол метра на четыре, до балок подъезда. Кто-то разобиделся бы и ушел из родного двора, сетуя и сокрушаясь. А Олег Иосифович придумал, как оживить дерево. Позвал на помощь друзей – скульптора Александра Коваленко и художника Валерия Сырова. С Валерием обсудили стратегию и тактику проекта. И тогда скульптор, как папа Карло, отсек все ненужное, явив миру Старика в тельняшке. За руку старик одесской наружности и очевидным морским прошлым держит романтическую Девочку, как бы символизирующую юную Одессу, свежее дыхание приморского города. У ног их примостился обаятельный Кот, олицетворяющий уют и доброту старых одесских дворов. А над головами этой троицы – виноградная лоза. Ветви живого виноградника переплелись с деревянными гроздьями, как сплелось прошлое с настоящим. Здесь же – декоративная скамеечка. И скульптура ожила.

Открытие первой композиции состоялось в жаркий июльский полдень.

Но не прошло и двух месяцев, как проект получил свое уже историческое продолжение.

Новый объект для художества Олег Иосифович присмотрел в переулке Маяковского, 7, некогда Малом переулке. Скульптурную композицию подсказала сама история этого дома, построенного в первой половине XIX века. Два века назад жил в этом дворе австрийский консул в Одессе Христиан Самуил фон Том. Одесский старожил, ближайший сподвижник Ришелье, Кобле, Ланжерона, фон Том был к тому же добрым знакомым Александра Пушкина в период его одесской ссылки.

У Олега Иосифовича есть много историй, связанных с фон Томом, большим остроумцем, хлебосольным хозяином, принимавшим гостей и в доме по Малому переулку, и на собственном хуторе в Дальнике.

Так старый каштан, уже было приказавший долго жить, преобразился под умелыми руками Александра Коваленко, превратившись в скульптурную композицию двух наших героев – Христиана Самуила фон Тома и Александра Сергеевича Пушкина – в черных цилиндрах и сюртуках.

Фон Том всем сердцем был привязан к Одессе, прожил здесь до конца своих дней и похоронен 1 января 1840 года на Старом городском кладбище. Скоро его имя будет обозначено в мемориальном комплексе Преображенского парка. Но прежде Олег Губарь и Александр Коваленко увековечили его в одесском дворе. А дерево получило вторую жизнь, экспонатную.

К слову, увидев новый памятник, некоторые бдительные граждане усмотрели «непорядок» – зеленую листву, окружаю-

щую ствол. Неужто живое дерево пошло под резец?! Но их опасения были напрасны: жители двора так задекорировали виноградом старый каштан, не выдержавший житейских бурь. В отличие от своего соседа, высокого зеленого красавца вровень с домом. Что ж, и у близнецов-деревьев, некогда посаженных одновременно, как и у людей, бывает разная судьба. Новый арт-объект станет достопримечательностью не только города, но и, собственно, двора.

Кстати, частная инициатива писателя и скульптора пришлась по душе городским властям. А значит, получит продолжение. Вот так, шаг за шагом, выстраивается новый туристический маршрут Одессы.

Скажу по секрету, я уже знаю, какое старое дерево обещает стать следующим в этом проекте и какой персонаж получит в нем свое воплощение. Представляю, каким праздником станет его открытие!

Знаю – но держу интригу.

Фото Натальи Евстратовой

Евгений Ушан

Этот негодяй коронавирус

* * *

Спрос на соль и на картошку вырос,
А на марлю – вовсе беспредел!
Это негодяй коронавирус
Паранджу на лица нам надел.
Всюду жесть, живу без женской ласки –
Спасу нет от вируса-врага.
Я привел домой девицу в маске,
А под маской старая карга.
Может, мне в Гвинее поселиться?
Папуасов вирус не берет,
И на папуасихе жениться,
Но, боюсь, она меня сожрет.
Я не псих – останусь в Украине,
Потерплю, деньжат подсоберу
И женюсь, когда зараза сгинет,
Если сам я раньше не помру.
А пока от Альп до Мухосранска
В масках все: и швед, и армянин –
То ли карнавал венецианский,
То ли славный праздник хэллуин…

Зоолог

В болоте старом возле плеса,
Где смрад удушливый царит,

Поймал я жабу-альбиноса,
Науке неизвестный вид.
На белой спинке горб зеленый,
А глазки злобны и красны.
Находку я назвал Матреной
В честь молодой своей жены.
В энциклопедиях отныне
Прочтут и немец, и француз
Ее изысканное имя
С добавкой «жаба-толстопуз».
– Подлец! – жена сказала сразу:
– Такую честь оставь другим,
И имя жабы пучеглазой
Не путай с именем моим.
И я решил: чего же проще?
Назвал лягушку в этот раз
Горпиной Кузькиной, как тещу.
Уж ей-то не фиг обижаться –
И в профиль схожа, и анфас.

* * *

Жить дебилу нефигово,
У дебила справка есть:
Может он убить любого
И с прованским маслом съесть.
И карманнику неплохо
В нашем времени крутом:
Если он обчистит лоха,
То поделится с ментом.
Худо только нам, поэтам:
В магазине и с врачом
Не расплатишься сонетом –
Сразу двинут кирпичом.
Я лежу, теряю силы,
С голодухи не уснуть,
И завидую дебилу –
Сам бы съел кого-нибудь.

* * *

Сидел в театре я, скучая.
На что потратил я бабло?
То «тень отца» права качает,
То гонит принц свое фуфло.
Я весь спектакль стучал ногами,
Свое высказывая «фе».
А ночью мне приснился Гамлет,
Он был изрядно подшофе.
И, наградив сивушным духом,
Спросил он, бледный с бодуна:
– Коль ждет нас всех с косой старуха,
Зачем нам, грешным, жизнь дана?
Ну, доконал алкаш-философ!
И что ни слово, то не в масть.
И, ошалевший от вопросов,
Послал его я в бога мать.
Тут стража мне скрутила руки,
И Розенкранц – каков подлец! –
Шмальнул в живот мне из базуки.
И я проснулся наконец.
А вечером пришел братуха,
И пофиг нам с косой старуха –
Жизнь не напрасна и остра,
Когда есть хлеб и бормотуха,
И можно квасить до утра.

Алекс Сино

Червонец Кобыливкера

Моя одесская подруга детства Люся Герасичкина может рассмешить любого. Смешнее Люси была только ее тезка из шоу «I love Lucy» Люсиль Болл. Они очень похожи – обе высокие, стройные, голубоглазые, длинноногие и с потрясающим чувством юмора. Одно движение, прищур глаз – и ты хохочешь от пуза. Я часто вспоминал Люсины рассказы, переехав в Нью-Йорк.

Несколько лет назад Люся приехала погостить в Штаты. Мы встретились. С первой шуткой мне бросилась в глаза ее коронка из «червонного» золота.

– Люся, это безобразие необходимо исправить, – сказал я.

– Не напоминай мне об этом кошмаре. Саша Кобыливкер мне до сих пор снится. Сейчас расскажу.

В середине 80-х из Одессы спешно уезжали врачи, инженеры, деловые, женщины и дети. Зубные врачи нарезали быстрее всех. На мое счастье на ул. Садовой в коммунальной квартире принимал еще не отъехавший доктор Семен Кобыливкер. Посмотрев на мой разваливающийся зуб, он недолго попытал меня бормашиной и, как заправский военный, скомандовал:

– Срочно с золотым червонцем лети к Давиду Израилевичу в стоматологическую «скорую помощь» на Приморском бульваре, пока он еще не уехал.

Через неделю я, как зачарованная, наблюдала, как Давид Израилевич, дядя Додик, у себя дома на ул. Карла Маркса неподалеку от винного подвала «Два Карла» пропускает красивую золотую монетку со строгим профилем императора через вальцы, словно отжимая мокрое белье из стиральной машины.

Процедуру эту он повторял много раз, пока монета не превратилась в блестящий золотой язык. После этого дядя Додик выверенным движением бросил все, что осталось от монетки, на миниатюрные весы, одобрительно поцокал языком и попросил не звонить ему больше, а просто подъехать через два дня за коронкой в поликлинику на бульваре.

Забрав коронку, я примчалась к доктору Кобыливкеру и позвонила в дверь три раза, как и было написано на старинном бронзовом звонке. Удивительно, но квартира была не заперта. Пройдя по коммунальному коридору и открыв дверь в кабинет доктора, я увидела абсолютно пустую комнату – ни бормашины, ни грязной кафельной плевательницы, ни стеклянного шкафчика со страшными орудиями пыток, ни потертого кресла, ни докторского стула. Посредине комнаты на задрипанной табуретке, покрытой пожелтевшей газетой «Вечерняя Одесса», печально сидел сын доктора Саша, меланхолично куривший косяк, свернутый из куска этой же газеты. Только отвратительный запах формалина напоминал о зубоврачебном кабинете Кобыливкера.

– Папа уехал в Америку два дня назад, – мрачно сообщил Саша Кобыливкер. – Оборудование забрали менты. Пациентами теперь занимаюсь я.

Я пропищала:

– Всего хорошего!

И направилась к выходу.

Но тут Саша неожиданно оживился, вскочил мне навстречу и пафосно заявил:

– Я студент второго курса мединститута и помогаю папе с детства. Садись в кресло и не выдумывай.

Поскольку кресло «забрали менты», я доверчиво села на грязную табуретку. Саша энергично потер руки (крана в комнате не было), достал из грязных штанов старый китайский фонарик и деловито заглянул мне в рот.

– Коронка готова?

– Да, – сказала я, доставая коронку из сумочки.

– Дядя Додик делал? Шикарная работа! Как всегда.

Эти слова меня успокоили.

Саша, насвистывая мелодию из «Скрипача на крыше», вышел из комнаты и быстро вернулся с допотопной ручной бормашиной на кожаном ремне с педалью и половиной резинового мячика с небольшим количеством воды, как у штукатуров. Положив мячик на пол, он надел бормашину на плечо и быстро затанцевал правой ногой на железной педали. Бормашина неохотно заскрипела и закрутилась. Схватив меня за челюсть, Саша довольно ловко всунул бормашину мне в рот. Запахло горелой костью. Я заорала, но Саша не обратил на это ни малейшего внимания. Посетовав, что у меня очень много слюны, Саша снял бормашину и аккуратно положил ее на пол. Затем залез в карман, достал оттуда серый порошок, бросил его в мячик и ловко разболтал пальцем. После этого он измазал раствором коронку и с силой впихнул коронку в мою челюсть. Цемента было много. Я начала икать и плеваться. Тогда Саша, цыкнув на меня, сказал, что надо проверить прикус, покрутил головой, засунул мне руку под зад, оторвал кусок «Вечерки» с табуретки, запихнул грязный ошметок мне в рот и заорал:

– Кусай!

Я укусила газету и закрыла рот. С трудом открыв рот, я выплюнула остатки цемента вместе с газетой. Саша поднял газету, внимательно посмотрел и сказал:

– Прекрасно! С вас десять рублей.

– А что было потом? – спросил я, отдышавшись от смеха.

– Ничего. Ни воспаления, ни боли и никаких проблем. Коронка, как видишь, до сих пор на месте. А Саша продолжал учиться в медине и практиковать у себя в коммуналке. Только после скандала, когда он вырвал зуб у пациентки под наркозом во время подпольного аборта, «чтобы наркоз не пропадал», ему пришлось спешно уехать.

– Секундочку! Если он в Штатах, то мы его легко найдем, – сказал я, подав Люсе ворох газет Грааля эмигранта – «Новое русское слово».

Через часок-другой Люся победно вскрикнула:

– А вот и он, Dr. Alex Kobilivker, the owner of dental clinic «Kobilivker Smile Again» in Brooklyn.

Люся, усмехнувшись, оторвала кусок газеты с адресом и сказала:

– Жаль, что нет «Вечерки», а то бы я ему прикус проверила.

Перед отъездом в Одессу Люся заскочила ко мне, широко улыбнувшись с порога белоснежными зубами с новенькой фарфоровой коронкой.

– Саша оказался настоящим одесситом! Мы хохотали, как угорелые! Мою старую коронку работы дяди Додика я подарила ему на память. А он мне вот это! На всякий случай, вдруг фарфоровая коронка будет не такая прочная, как «червонная»!

– Эх, был бы жив дядя Додик, он бы порадовался моей работе, – сказал Саша на прощание.

Разжав ладонь, Люся продемонстрировала блестящий золотой червонец чеканки 1897 года, завернутый в старую «Вечерку». Ума не приложу, где она раздобыла «Вечерку» в Бруклине!

США

Александр Мардань

С поэтами не расставайтесь

– …И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет.
– Гм… Да ведь других нет.
– Вот никаких и не читайте…

М. Булгаков. «Собачье сердце»

А я посмотрел вечером телевизор…

Пощелкал каналы, все разом.
Все бывшие «хочут», как встарь…
На то и направлен их разум,
Как вспять повернуть календарь.

Они ведь не могут поверить,
Что «власть» не синоним для «красть»,
Что правду нельзя ложью мерить,
Что глупость есть наша напасть…

Что правы не те, кто их смотрит,
Порой позабыв закрыть рот,
Не те, кто по два или по три
Конверта со службы несет.

Не могут одни «почтальоны»
Такою страной управлять!

И вовремя мы, миллионы,
Сумели их на хрен послать…

* * *

Сын спросил у папы: «Пап, «Ревизор» – трагедия или комедия?»

«Если свой – комедия, а если чужой – трагедия», – ответил отец.

Старая шутка

Кто посмотрит «Ревизор»,
Свой расширит кругозор.
В мире, где на воре вор,
Где порядочность – позор,
Где от моря и до гор
Честных нет – свалил всех мор,
Справедливостью не пахнет,
Слышно только дезодор…
До чего противен Гоголь –
Два столетья нам укор…

* * *

Плохо, когда бесятся от жира.
Страшно, когда – от голода.
Плохо, что нету мира
На пространстве серпа и молота…

* * *

С поэтами не расставайтесь,
Кладите их в пустой карман.
Хоть изредка, но совещайтесь,
Чтоб знать – где правда, где обман.

Они подскажут, как не плакать
И как смеяться шире рта,

Где «нет» держать, где можно «дакать»,
В чем смысл есть, где пустота…

Поэты не простые люди,
Ведь чувствуют они больней,
И судят их другие судьи,
Которым сверху все видней.

Но иногда все ж доставайте
Их из кармана на часок
И, снова прочитав, прощайте
Кровь, что стучится вам в висок…

* * *

Может, кто-то нашел душевный покой?
Вот уж три дня, как его потерял…
Я все карманы проверил рукой,
Сумку открыл, в чемодане искал…

Нашелся в смартфоне он, в имени вдруг
Давно это имя я в нем не читал…
Спокойней, теплее все стало вокруг,
Снег быстро растаял и дождь перестал…

* * *

Ревун стонал ритмично и тоскливо
И многих тех, кто рядом был, будил.
Он осени подхватывал мотивы
И вместе с ветром песню заводил…

В ней не было веселья и задора,
Зато был плач листвы и облаков,
Спустившихся с небес на сонный город,
Укрыв его туманом до основ…

Нина Данилова

Ангел на абонементе

На дворе у нас настоящий високосный год 2020 со многими непредсказуемыми событиями, катастрофами, трудностями и трагедиями…

Минуло 100 лет, и жители нашей планеты переживают очередную пандемию. Все лишились душевного покоя, многие уже потеряли работу. Ближайшее будущее непредсказуемо. Но мне повезло, меня пригласили на подработку в магазин «Русская книга», расположенный в центре нашего израильского городка Бат-Яма. Хозяйка магазина – моя давняя приятельница Клара, в прошлой жизни преподавала иностранную литературу в МГУ.

Книжный магазин когда-то был очень прибыльным, Клара регулярно заказывала популярные литературные новинки из Москвы. Кроме того, здесь можно было приобретать диски, авиабилеты, экскурсии по Израилю, делать переводы документов на требуемые языки. Но в последние годы книги покупают все реже, Интернет и электронные читалки перетянули подавляющее большинство любителей чтения. Все чаще бывшие покупатели безвозмездно возвращают ранее купленные книги в магазин, иногда привозят целые собрания бесценных сочинений великих авторов, прибывших когда-то багажом из стран исхода. Ну не выставлять же эти сокровища просто на улицу!

Поэтому в последнее время магазин утратил свою прежнюю рентабельность, работает в основном только библиотека, куда довольно регулярно подтягиваются престарелые выходцы из стран СНГ. За несколько месяцев я познакомилась со многими из них и, естественно, немало впечатлилась! Некоторые читатели посещают библиотеку вместе со своими помощницами, госу-

дарство прикрепляет к пожилым израильтянам так называемых метапелей. Они заезжают в магазин с сумками на колесиках, наполненными пакетами с покупками и библиотечными книгами. Иногда метапели приходят менять книги самостоятельно, но при этом приносят большие тетради, в которых по возможности в алфавитном порядке по фамилиям авторов записаны названия уже прочитанных книг. Поскольку обычно метапельки сами книг не читают, весьма нелегкая задача для библиотекаря подобрать литературу из предпочтительных авторов таким образом, чтобы не случилось, не дай боже, повторного чтения. Хотя я уверена, что содержание очень многих прочитанных сюжетов благополучно испаряется из расслабленного сознания большинства наших славных читателей практически одновременно с погружением в них.

Как написала в своих «Блаженствах» чудная пенсионерка Инна Бронштейн:

С восторгом читаю знакомую прозу,
И всё мне как внове – спасибо склерозу!

Но поскольку в библиотеке за прочтение каждой книжки взимается пять шекелей, такое освежение памяти совсем не приветствуется.

Нужно сказать, что из всех разделов литературы самым популярным является, конечно же, современный детектив. Но встречаются и особые предпочтения. Некоторые являются фанатами одного плодовитого автора, например Даниэлы Стил или непостижимой для меня Дарьи Донцовой. Другие требуют исключительно сборники анекдотов, причем свежих, что весьма затруднительно при нашей невеселой, в общем-то, действительности. Многие просят посоветовать почитать просто что-нибудь жизненное. Или желают поговорить «за жизнь». Но иногда судьба преподносит такие встречи-сюрпризы…

Однажды для обмена книг пришел очень пожилой джентльмен, лицо которого мне не суждено забыть даже по прошествии полувека. Он назвал мне свою фамилию, и я с трепетом прочла в его карточке именно то имя, которое с великой благодарностью

запомнила навсегда. Это действительно был очень старый одесский знакомый – случайный спаситель моей профессиональной судьбы.

Одесса, незабываемый 70-й холерный год. Я бегу по малолюдной ночной улице Чижикова (теперь Пантелеймоновская), пытаясь умудриться заскочить на ходу в пятый трамвай. Мне нужно еще успеть пересесть на последний восемнадцатый трамвай, уходящий на Большой Фонтан ровно в двенадцать часов ночи. Я еду с работы, тащу с собой рулоны распечаток, выданных при очередной отладке программ на ламповой ЭВМ «Минск 32». Дома меня ждет крошечная дочка Ирочка и ее обессиленная бабушка, моя свекровь, которая ожидает моего возвращения с великим гневным нетерпением. Ей рано утром нужно уходить на свою работу в библиотеку. Моего мужа студента политеха военная кафедра мобилизовала на временную службу в Ильичевск.

У нас возникла материальная пропасть. Несколько месяцев мы с дочкой в основном питались продуктами, добываемыми на детской молочной кухне, а также разваренной гречневой кашей. Но долго так не протянешь. Мои сердобольные сотрудники выделили ссуду из кассы взаимопомощи и уговорили директора нашего ВЦ разрешить мне выполнять любимую работу по программированию дома и выходить на отладку программ в вечернее время. Каждое утро я бегала звонить на ВЦ с улицы Сегедской, где возле шестой поликлиники стояли будки с капризными телефонами-автоматами, обожающими внезапно неоправданно глотать дефицитные двухкопеечные монеты. Мне нужно было регулярно докладывать по телефону своему начальству о продвижении очередного задания и выяснять, в какое время можно вечером приехать в Колхозный переулок на ВЦ для выхода на ЭВМ.

Вот именно в тот период я часто видела этого человека возле входа в шестую поликлинику. Он несколько раз дарил мне двухкопеечные монеты, когда я в отчаянии стучала кулаками в телефонной будке. Он мне казался уже тогда довольно пожилым и на вид болезненным типом (теперь я понимаю, что ему было около сорока). Сейчас при нашей такой совершенно невероятной встрече я оценила, как хорошо лечили больных в этой шестой поликлинике! Ведь ему должно быть порядка девяноста

лет, а он вполне узнаваем и посещает нашу библиотеку самостоятельно, даже без метапелет.

– Аркадий, здравствуйте! Вы меня помните? Вы не представляете, как я рада нашей встрече! Вы сделали мне такой подарок тогда в Одессе в семидесятом году, я всю жизнь испытываю огромную благодарность к вам.

– Мы были знакомы в Одессе?

– Ну не то чтобы знакомы. Вы несколько раз дарили мне двухкопеечные монеты для очень важных телефонных звонков у шестой поликлиники на нашей улице Сегедской.

– И вы так долго ощущаете благодарность за это? Видимо, это были какие-то судьбоносные звонки…

Я поняла, что он не может вспомнить и узнать меня, это и в самом деле очень сложно, и принялась объяснять, задыхаясь от нахлынувших воспоминаний.

Я всегда звонила на свою работу, так как была программисткой-надомницей с маленьким ребенком и училась на третьем курсе вечернего мехмата. И вдруг к нам пришел новый директор ВЦ и категорически запретил всякие надомные работы. Очередь в детские ясли в те времена, если вы помните, нужно было занимать за пару лет до зачатия ребенка. Немилосердная судьба и проблемы выживания заставляли меня немедленно увольняться с любимого ВЦ и идти работать в ясли няней, чтобы туда взяли мою девочку вне очереди. И вот я шла по Сегедской, и не могла сдержать рыданий – такая ближайшая перспектива ввергала меня в омут отчаяния. И вы остановили меня и спросили, отчего я так горько плачу, и не нужно ли мне много двухкопеечных монет, чтобы с их помощью попробовать решить свои проблемы. А я ответила, что мои проблемы не имеют, к огромному сожалению, достойного решения. Помню, что, рассказывая о своей жизненной западне этому практически незнакомому и, по моему мнению, чуть ли не умирающему человеку, я не могла сдержать эмоций и потока слез. А он смотрел на меня почему-то с улыбкой, что еще больше разжигало мою злость. Я понимала, что именно могу услышать от такого страдающего индивидуума – вы так молоды, все эти проблемы со временем так или иначе разрешатся, главное – здоровье, и все такое… Но неожиданно он сказал совсем другое:

– Я терпеть не могу ситуаций, когда такие славные девушки рыдают на улицах. И давайте наконец познакомимся. Меня зовут Аркадий. Я работаю диспетчером в одесском порту. Приезжайте, пожалуйста, к трем часам ко входу в порт. Моя сестра работает там в отделе быта. Мы решим, чем можно вам помочь.

Дальше события развивались, как на ускоренной кинопленке. Я оказалась двоюродной племянницей Аркадия. Мой муж в заполняемой анкете оказался работающим в порту грузчиком. Буквально за пять минут они оформили по телефону какой-то обмен места в детском саду порта на место в ведомственных яслях пароходства. Мы вышли из проходной порта, и улыбающийся Аркадий вручил мне путевку для обмена. Я должна была немедленно зайти в отдел быта пароходства и завершить процесс обмена путевками.

– Я не знаю, какой адрес будет у полученных яслей, они есть по всему городу, всегда можно обменять поближе к дому, но придется возить ребенка, – сказал Аркадий.

– Как я могу отблагодарить вас? – мой вопрос звучал почти истерически. Я не могла поверить, что все это произошло наяву за несколько минут.

– Есть только один вариант. Я хочу, чтобы эти красивые глаза никогда не знали слез.

Пришлось пообещать ему никогда больше не плакать. В завершение этого невероятного дня я получила в пароходстве путевку в прекрасный ведомственный комбинат одесского пароходства, расположенный на нашей недлинной улице Сегедской. Эти ясли-сад моя дочь посещала до самой школы. А я благополучно закончила учебу в университете и проработала на своем ВЦ более четверти века.

Но с того дня я больше никогда не встречала Аркадия, часто вспоминала этот счастливый случай и поверила, что это был ангел, посланный мне милостивой Вселенной в одну из тяжелых минут.

И вдруг через столько лет этот ангел сидит передо мной и улыбается.

– Вы вспомнили эту историю, Аркадий?

Ответ я получила, вполне достойный ангела одесского разлива:

– Разве можно вспомнить всех плачущих девушек на одесских улицах? Их было довольно много.

– И вы всем всегда помогали?

– Терпеть не могу, когда девушки рыдают. Старался всегда помочь. Часто это удавалось.

– Но я, к сожалению, не смогла выполнить вашу просьбу. Пришлось плакать в жизни довольно много. Но и радовалась, и смеялась тоже часто.

В это время в магазин вошла пожилая дама с раскрытой книгой в руках. Она почти кричала:

– Вы мне дали читать эту книгу повторно. Верните мои пять шекелей. Но самое возмутительное, что при первом прочтении в этом сюжете был счастливый конец!

Мы с Аркадием переглянулись и без слов согласились друг с другом: сюжеты каждого дня в конечном счете мы создаем сами.

Бат-Ям

Екатерина Яковлева

О котах, об ангелах и о людях

И повезло же мне с тобой!

– Нет, ну вы видели таких дурней! Старый идиот какой-то! Человеческим языком же было сказано, пожилые люди первыми вымирают от вируса, ограничить передвижение в общественных местах!

Негодовал кот, нервно дергая ушами. Мотя трусил по Садовой в сторону Соборной площади. Был совсем ранний час, солнце только встало.

Хоть зимы, можно сказать, и не было совсем, осень как-то плавно перетекла в весну, но март, как всегда, оказался непредсказуем. Ночью была минусовая температура, и кот то и дело огибал замерзшие лужи.

– Посмотрите на героя гражданской войны, а! Если враги не сломили, голод не одолел, коммунальную обдираловку выдержал, то что такое для него вирус? Так, пшик на палочке! Героя войны никто не заставит отсиживаться в хате!

Мотя резко остановился.

– Слушай, ты уже целых двадцать минут за мной тащишься. Тебе чего, собственно, надо? – раздраженно прорычал кот идущему рядом спутнику и зло уставился ему в лицо.

На него смотрели большущие, нет, огроменные синие глаза. Казалось, что вся синева ясного неба собралась в этих бездонных глазах.

– Так ты же сам меня позвал. Кто попросил о помощи лечить Потапыча? Вот я и спустился на помощь, – тихо ответил спутник и ласково заулыбался.

В его небесных глазах побежали лучи золотого солнца. Сам он был бледненький, на ногах только гольфы с бумбончиками, а за спиной торчали перья. Мотя расслабился и побежал дальше.

– Понятно. Помощник, значит. Тогда со мной пойдешь, – буркнул он, а про себя подумал: «Странный какой-то, в одних гольфах по улице разгуливает и в перьях! Хотя в наше время всякое можно увидеть, да и карантин к тому же».

– Куда бежим? – поинтересовался Помощник.

– К знахарке. У Привоза живет моя знакомая кошка-знахарка. Она шибко в травах разбирается, возьмем у нее грудной сбор. А то мой человек всю ночь пробухыкал, еле дышит. Спасать надо!

– Как скажешь, – ответил спутник.

Дальше бежали молча. Знахарка выслушала Мотин рассказ, отсыпала травяного сбора и еще валерианового корня дала, для самого Моти, чтобы не злился так на человека.

Вернулись домой, кот быстро воду вскипятил, траву заварил. Помощник пошел в спальню на Потапыча посмотреть. Тот спал на постели весь расхристанный, потный, горло шарфом обмотано, одеяло на пол сползло. Что-то тревожно бормотал и всхлипывал. Кот вошел с дымящейся кружкой.

– Футы-нуты, опять издергался! За ночь раз десять одеяло подбирал, все бежит куда-то.

И мрачно добавил:

– Отбегался уж.

Мотя поставил кружку на стол и аккуратненько взобрался на кровать.

– Кружку подай, лечить его буду.

Вместе посадили человека, и кот стал поить его отваром. Тот морщился, не открывая глаз, на горячее, но послушно пил. Затем снова вместе положили Потапыча на подушку и хорошо укрыли одеялом.

– Ну вот, справился. Может, поспит теперь спокойно. Пошли чай пить, у меня бублики есть и шоколадные конфеты «Ромашка», – выдохнул Мотя и впервые улыбнулся.

Чай был вкусный, с молоком. От конфет Помощник отказался, а вот бублики грыз с удовольствием.

– Слушай, а Потапыч действительно герой гражданской войны? Он вроде не такой уж и старый… – поинтересовался Помощник.

– Да нет, конечно! – хмыкнул кот. – Это я так, от злости и тревоги. Всю ночь над ним сидел, боялся, что задохнется. Карантин же объявили в городе, говорят, вирус китайский завезли! Как будто местных не хватает…

Мотя прихлебнул чай с блюдца.

– Ему всего шестьдесят лет-то. В Афганской участвовал, да. И медали имеются, весь пинджак в них! – с гордостью констатировал Мотя.

– Молодой еще мужик. Исполин. А поди ж ты, для вируса этого китайского старый!

Мотя так рьяно вгрызся в бублик, что зубы лязгнули, сомкнувшись, словно стальные.

– Благодарю за прекрасный чай, – сказал Помощник, вставая.

– Теперь я пойду лечить Потапыча.

– Стой, стой!

Кот загородил ему проход в дверном проеме.

– Ты-то что можешь, человек в перьях?

– Я не человек, я – Ангел. Ты же сам просил помощи, я спустился. Забыл?

Мотя аж на попу сел, услышав слова Помощника.

– Кто, кто? – еле слышно прошептал Мотя и громко сглотнул слюну.

– Ангел. Спустился к тебе на зов.

Мотя опрометью кинулся к кровати. Вскочил на нее, ощетинился и зашипел, как фурия.

– Не подходи, не отдам! Это мой человек! Я не дам ему умереть!

Ангел удивленно смотрел на кота. Такого поворота событий он никак не ожидал. Обычно все радовались его приходу.

– При чем тут смерть? Я для того и пришел, чтобы человек не умер. Я же Ангел-хранитель.

– Хранитель чего? – уже спокойнее спросил кот.

– Хранитель жизни и здоровья вашего. Охраняю вас, живых. А ты за кого меня принял?

В этот момент Потапыч так натужно закашлялся, казалось, что даже воздух сотрясается. Мотя присел, прижал уши к голове и спрыгнул с кровати. Ангел подошел к человеку, и вдруг перья зашевелились. Два белых крыла раскрылись на спине у Ангела, таких чисто-белых, что Мотя даже зажмурился от такой белизны.

Когда он осторожно приоткрыл глаза, увидел, что Ангел нагнулся над Потапычем и всего укрыл крыльями, как пуховым одеялом. Что-то шептал на непонятном языке, водил пальцем по лбу больного. Потапыч потихоньку затих и стал мерно посапывать, как в старые здоровые времена.

– Вот теперь все хорошо с ним будет. Еще лет двадцать пять точно проживет, – сказал Ангел, складывая крылья.

Они пошли на кухню.

– Так за кого ты меня принял?

– Та дед, когда на меня злится, все время повторяет: «Вот заберут меня ангелы, что тогда один делать будешь?». Я и подумал, что ты забирать его у меня пришел.

Кот аж покраснел от виноватости за свои глупые действия.

– Знаешь, а тебя тоже можно хранителем величать. Мотя-хранитель! Повезло человеку с таким другом, как ты, – торжественно сказал Ангел.

Потом Мотя с Ангелом снова пили вкусный чай с бубликами. Чая же много не бывает. Болтали о чем-то своем, перебивая друг друга, шутили, посмеивались тихонечко.

Мотя заглянул в спальню. Потапыч размеренно дышал, жар спал.

– Ну вот, все уже хорошо. А то: Ангелы заберут, Ангелы заберут… А он, наоборот, вернул тебя мне, – улыбался кот над своим человеком.

Берегите в себе человека

Сережка сидел в стенном шкафу за старым матрасом и прижимал к себе Сержа, своего кота. Мальчику уже двенадцать лет, а выглядит он лет на восемь – маленький, худенький и вечно простуженный. Кот, наоборот, огненно-рыжий здоровяк

с квадратной мордой, на острых ушах кисточки, и шерсть, словно персидский ковер. Сидя, они были почти одинаковыми, поэтому было неизвестно, кто за кого прячется, Сережа за кота, или Серж за мальчика. Сидели всегда тихо-тихо, почти не дышали, главное – чтобы отчим не догадался, где они, иначе получат увесистых пинков.

Отчим еще только во двор входил, Серж уже начинал волноваться, нервно бегал от окна к входной двери и обратно. Женщина тут же запихивала сына с котом в шкаф к задней стене и закрывала их всем, что в нем хранилось. Так они пережидали буйство пьяного отчима и выходили, когда мама укладывала его спать. Потом они все вместе сидели на кухне, пили чай и плакали, а кот слизывал слезы с их лиц.

Сереже было три года, когда мама вышла замуж за отчима. Это был высокий, спортивно сложенный мужчина, всегда элегантно одетый, и пахло от него терпкой свежестью. Правда, лысый, зато с модной трехдневной небритостью. Как говорится, с мужика воды не пить, лишь бы заботливый был. И он был очень заботливым. Маму одевал в красивые вещи, Сереже тоже ни в чем не отказывал. Когда заходили в детские магазины, он присаживался на корточки и шептал в ухо мальчику, чтобы тот выбирал все, что понравится. В путешествия возил по разным заморским странам – а там показывал такие диковинные места и штуки, что знакомые пацаны не верили Сережкиным рассказам о них. Думали, Серега сочиняет.

Года через два Сережа стал называть отчима папой. Тот был так счастлив, что устроил им с мамой большой сюрприз, привез их в огромную сверкающую квартиру в Аркадии и объявил, что теперь они живут здесь. Мальчик вышел на балкон, а там было море: во весь взгляд – только синее море.

И кота этого рыжего подарил ему тоже отчим, на семь лет. В день рождения он поставил на праздничный стол круглую, как торт, коробку, завязанную пышным синим бантом. В ней что-то скреблось. Сережа аккуратно открыл коробку, а там – он, рыжий толстый пушистик с кисточками на острых ушках. Мечта всей его жизни. Он сразу окрестил его Сержем – больно на него похож, такой же рыжий и конопатый.

Пришел две тысячи восьмой год, бабахнул кризис. Отчим практически перестал бывать дома. Стал нервным, раздражительным, прикрикивал на маму и Сережу, а коту вообще опасно было показываться ему на глаза, тот просто пинал его. Мама пряталась от сына и тихонечко плакала от бессилия.

Через полгода они съехали из Аркадии сюда, на Нежинскую, в эту маленькую квартирку на первом этаже. Зато какой замечательный двор с большим деревом посередине! Сережа с Сержем забираются на него и читают книжки о далеких космических мирах и героях, покоряющих их.

Как-то вечером мальчик подслушал разговор родителей. Отчим утверждал, что всё: у них больше ничего нет, еле-еле с долгами рассчитался. Мама плакала, обнимала его и говорила, что все переживется. А он пил водку.

Маме удалось устроиться учительницей математики в школу на Пастера. Отчим не удерживался ни на какой работе дольше месяца. «За двести долларов я никому подчиняться не буду!» – кричал он жене в лицо, пил и матерился. Больше не было спортивного, элегантно одетого мужчины с брутальной небритостью – был обрюзгший небритый мужик с трясущимися руками, в помятой одежде, всегда воняющий перегаром.

А потом наступил вечер, когда отчим ударил Сережу за то, что тот пролил чай, пока нес ему. Ударил сильно, разбил губу и нос. Хотел было еще приложиться, но Серж ощетинился, зашипел и, как змея, впился ему прямо в живот всей своей мощью. Отчим только кулаком смог сбить его с себя, чуть не убил. С тех пор мама и прячет их в стенном шкафу.

Сегодня он пришел какой-то особенно злой. С порога заорал жене, мол, где ее ублюдок прячется, все кости переломает, когда найдет. Оказывается, кот ему в туфли написал, а тот не сразу заметил, только когда на работе переодевался вечером, понял, что так воняет. Мама пыталась его успокоить, уговаривала сесть ужинать. Вроде пошли на кухню – и вдруг там все зазвенело. Женский вскрик – и яростная брань отчима.

Сережка и Серж так сильно вжались в стену, что казалось, она под ними прогнется. Сколько так сидели, неизвестно, за ними так никто и не пришел.

Сережа медленно открыл дверь шкафа. Отчим оглушительно храпел на диване, на кухне тишина, а в ушах звенел страх.

Мама лежала на полу, запрокинув голову, в луже крови. Лицо белое, руки раскинуты, рот приоткрыт, как будто звала кого-то. Страх в ушах зазвенел еще громче, будто пытался вырваться наружу. Кот то шипел, то рычал, то выл. Сережа выскочил в подъезд и затарабанил в дверь к соседке.

Слава Богу, мама была жива, еле-еле, но жива. Врач сказал, что повезло, удар о стену головой прошел по касательной – видно, пыталась увернуться. Отчим сопротивлялся, когда его забирала полиция, орал на весь дом, что всем покажет такую-то мать, когда вернется.

Сережа с Сержем жили у маминой тети на Черемушках. Звон в ушах все не проходил, был то тише, то громче, но не проходил. И мамин вскрик преследовал его по ночам. Он никому не рассказывал, старался привыкнуть к этому. Серж не выносил громких звуков, сразу становился на дыбы и шипел.

Маму выписали из больницы через месяц. Они втроем вернулись в свою квартиру на Нежинской. Потихоньку все прибрали. Мама и сын вернулись в школу: она на работу, он учиться.

Прошла весна, пришло лето и каникулы. Рано утром они ходили на Ланжерон купаться, а Серж ждал их на подоконнике распахнутого окна. Вечером уже втроем ходили в сквер на Ольгиевской к бювету за водой. Потом пили чай с мамиными пирожками, всегда шутили и смеялись. По-моему, Серж тоже смеялся.

Вот в один из таких летних вечеров Сережа вдруг заметил, что в ушах больше не звенит. Весь следующий день прислушивался: нет, больше не было звона, он растворился, страх отступил.

Три тысячи лет без любви

Кот жил уже три тысячи лет. Он родился вместе с великой Первой империей Египта. Рыжий-рыжий, как огонь, потому и назвали его Нуто. И характер такой же обжигающий, яркий, независимый. Он с удовольствием играл с маленьким сыном

хозяина дворца и даже горевал, когда он, все и всё исчезло из его жизни. От этой жизни у Нуто остался ошейник с золотым солнцем.

Потом он жил в красивом римском доме с большим бассейном, где всегда плавали желтые лилии. Кот очень любил играть с ними, они были такими же огненными, как и он. Хозяйка дома умилялась тому, что кот с таким удовольствием плещется в воде. Она звала его Игнис, огонь в ее доме. Ему тоже было приятно проводить с ней долгие вечера, качаться на качелях и играть с бумбончиками ее туники. Когда был пожар, Игнис пытался позвать на помощь, но Рим весь пылал, и никто не обращал на него внимания.

Кот переплыл море и ушел жить в горы, в великие Гималайские горы. Шерсть перестала быть гладкой и бархатистой, в глазах появился настоящий огонь, когти стали такими острыми, что он свободно карабкался по скалам. Кот старательно избегал встреч с людьми. Сам себя называл Мис, солнечный, как когда-то в детстве, совсем маленького, звала мама.

Так прошли столетия, большие одинокие столетия. Мис ни о чем не жалел, никого не вспоминал.

Его нашел тибетский монах, уже обессиленного от упорной борьбы с камнем, который, упав, защемил ему лапу. Через месяц, окрепнув, кот принял решение все же остаться с монахами и поселился в статуе. Стал отзываться на имя Маскулин, небесный огонь. Он снова пообмяк и даже чуточку разленился от постоянных подношений. Маскулин любил вечерами лежать на голове статуи и следить за уходящим солнцем, подмурлыкивая песенку, которую любил когда-то египетский мальчик. И все же кот не любил, да просто не хотел что-либо вспоминать.

Китайская революция разрушила это его многовековое спокойствие, выгнала с насиженного места, лишила уходящего солнца. И Маскулин ушел, снова стал Мисом.

На этот раз Мис не привыкал к одному месту, к каким-то людям. Бродил по разным странам, городам, что-то делал, кому-то помогал, о нем даже книги писали знаменитые писатели, рисовали известные художники. Его любили великие люди, кому-то он был признателен всей душой, как тогда тибетским монахам.

Сколько же войн и человеческих трагедий пережил кот! Но так и оставался одиноким, независимым, непричастным, да и имя больше не менял.

Кот жил уже три тысячи лет, три тысячи лет он никого и никогда не любил.

Мис шел по Нежинской ранним осенним утром, быстренько сделал кое-что по необходимости – и домой в теплую корзинку, к миске с едой. Эту молоденькую беленькую кошку он видел уже не первый раз, видно, она где-то рядом жила. Даже не понял, как свернул за ней в чужой двор, затем в подвал. Кошка была не хозяйская, подвальная, звали ее Розой. У нее большие янтарные глаза и розовый нос, белая шерсть и рыжее пятно между ушей. На третий день Роза сказала, что кот может оставаться, но звать она его будет Рыжим, так ей удобнее. И потекли дни, месяцы, годы совместной жизни. Роза родила Рыжему много котят, а он по вечерам в их подвале рассказывал ей истории своей трехтысячелетней жизни, и они вместе мурчали, засыпая.

Так прошло одиннадцать лет – одиннадцать лет, когда кот наконец стал счастливым. Сегодняшним утром Рыжий сбегал по своим делам и нес кусок колбасы из местного супермаркета на завтрак. Роза еще не вставала. Она открыла глаза и тихо позвала его. Он нагнулся над ней, она слабо лизнула его нос. Кот заглянул в Розины глаза и провалился в черноту. Ушел янтарный блеск, да и рыжее пятно между ушей как-то потускнело. Рыжий облизывал кошкино лицо уже два часа, когда понял, что она умерла. Он подошел ко входу в подвал, оглянулся и ушел.

На Отраде забрался на верх камня и уснул. Вечером следил за уходящим солнцем и вспоминал, вспоминал каждую минуту, прожитую с Розой, ее тепло, заботу и янтарные глаза.

Кот прожил три тысячи лет и вот он влюбился, и вот остался один. Кот мог бы снова начать все заново – да только зачем без нее? Рыжий отвернулся от заката и первый раз в жизни заплакал, и вдруг почувствовал себя старым, уставшим.

Мысли и прожитые столетия как-то сразу навалились на него. Египетский мальчик пел его любимую песенку, рим-

ская женщина дарила ему желтые лилии, тибетские монахи угощали его вкуснейшими блюдами, а Роза, как обычно, лизнула его в нос. Кот улыбался и засыпал. Он навсегда засыпал счастливым.

Надежда Барчук

На Молдаванке музыка играла

На Молдаванке музыка играла,
И фраер долго мучил свой баян.
В углу свеча покорно догорала,
Как непристойный времени изъян.

В хмельных глазах разбуженное счастье,
В зубах застрял откуренный бычок.
И песня, как бесстыдное участье,
Поддеть стремилась пошлость на крючок.

На Молдаванке были пересуды.
Кто пил рассол, а кто готовил фиш,
Чтоб деликатно все сложить на блюде…
А кто-то сёрбал постненький кулиш.

Дородным дамам место уступали
В трясущейся трамвайной суете.
В цвету акаций окна утопали…
Как далеко умчались годы те…

На Молдаванке в сплетенном угаре
Резвилось время сильным кулаком.
Звучал каприз на старенькой гитаре.
И радость птиц, летящих косяком.

Тряслись дома от грохота трамвая,
В булыжных мостовых гудела спесь,

У спекулянтов камбала живая…
Все было лишь тогда и только здесь!

И примуса в малюсеньких пристройках,
Звенящий колокольчик у ворот…
Кричали «Керосин!» довольно бойко.
И очередь. Все двигались вперед.

И очередь за маслом и за хлебом,
За сахаром… И вообще – за всем.
Зато была любовь под звездным небом,
И было счастье – нежное совсем.

Зато и море било чистым светом –
На пляже негде яблоку упасть,
Никто не лез в карманы за советом
И не хотел от скромности пропасть!

Из окон – патефонное веселье,
Пластиночки, как чудо, под иглой.
А в рюмках – горячительное зелье,
В учебниках – как небо кроет мглой.

Все было так некстати позабыто,
Разрушено предательской игрой…
Пластинка с танго варварски разбита…
Жизнь наполнялась купленной мурой.

Да вроде и жалеть о чем там было?
О пьяной роже в винном погребке?
Зато какие перлы пропустило
Это хавло с бутылкою в руке!

Таких рассказов больше не услышишь –
О родственниках, маме, о тебе…
Все это не запомнишь, не опишешь…
Была Одесса добрая в судьбе.

Одесса! Это вечное желанье
Любить и верить просто в чудеса!
Кто уезжал, тот плакал на прощанье,
И я ревела, глядя в небеса.

Я спрашивала: «Что ж мы натворили?
Зачем же нити рвутся этих уз?..»
Но мне в ответ о чем-то говорили…
На стол колоду карт… Червовый туз…

И все! И окольцованной свободой
Летело время жажды и тепла.
Что было спорить с этой глупой модой,
Терзать печаль оконного стекла?

А я хотела вырваться из плена
Каких-то мне неведомых оков…
Какое счастье, что во всей Вселенной
Я не нашла других приятных снов!

Издано...

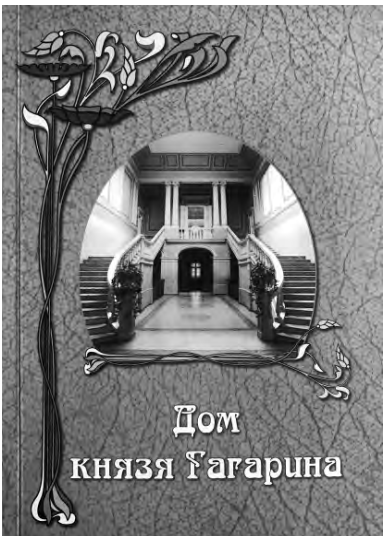
370 Евгений Голубовский
Книжный развал

377 Ольга Ладохина
Целостное представление о герое

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Одессе



Дом князя Гагарина
Сборник научных статей
и публикаций. Выпуск 9
Одесский литературный музей,
2020

Как и предыдущие восемь выпусков, сборник рассказывает о литературной жизни нашего города и региона за прошедшие 226 лет со дня основания Одессы.

Сотрудники музея изучают творчество как украинских писателей (Михайло Жук, Михаил Коцюбинский, Павло Тычина, Панько Педа), так и российских (Корней Чуковский, Владимир Лазурский, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Василий Каменский). Среди авторов не только одесситы, но и профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик, прозаик из Нью-Йорка Вадим Ярмолинец, польский исследователь Михал Седлецкий.

Много интереснейших публикаций, но я бы выделил, прежде всего, работу Алены Яворской в архиве СБУ над «Делом

Валентина Катаева», сидевшего в ЧК в 1920 году по сфабрикованному чекистами «польскому делу». Изучение прежде недоступных документов позволило Яворской опубликовать неизвестные раннее стихи Катаева, написанные в тюрьме ровно сто лет тому.

Александр Бирштейн
«Бульвар Французский весь…»
Одесса, Астропринт, 2020

Эта книга-альбом стала продолжением «Прогулок по Одессе» этого же автора. О Французском бульваре написано много статей, были даже книги. Но чаще всего авторы ограничивались двумя-тремя сюжетами, связанными то ли с архитектурой, то ли с жизнью известных людей, объединенных этими местами.

Бирштейн тотально обследовал Французский бульвар, каждый дом, каждую дачу, а когда-то хутор. И во времени он рассматривает каждый участок последовательно – кто купил, кто строил, кому и когда перепродал. А в результате оказывается живая панорама Одессы, так как с бульваром связаны писатели – от Пушкина до Катаева, врачи – от Пирогова до Филатова, предприниматели – от Бабаджана до Вайнштейна.

Как бы много ни писали раньше о бульваре, у Александра Бирштейна есть свои находки, впервые вводимые в краеведческую литературу, к примеру, то, что связано с Мариной Цветаевой, с Леонидом Каннигисером…

Альбом удачно иллюстрирован Юрием Бойко, Сергеем Гевелюком и автором.

Михаил Пойзнер
Тот, кто рожден был у моря
Одесса, ТЭС, 2020

Мы часто определяем книги как «нон-фикшн», перевести это можно как «без фикции», а значит, без художественного вымысла, сугубо документально. Вот и новая книга Михаила Пойзнера задумана автором как серия документальных очерков.

Это не помешало книге быть лиричной, эмоциональной, поэтичной.

Первый очерк автор назвал «Мое Черное море». Помните у Марины Цветаевой – «Мой Пушкин»? Это такое же личностное произведение, я бы сказал, стихотворение в прозе.

Есть очерки автобиогафические, есть о людях моря, о легендах одесского порта, Черноморского пароходства.

На меня большое впечатление произвел очерк об Олеге Томасе, когда-то начальнике порта, затем пароходства, которого довели до самоубийства чекисты и партноменклатура.

Уверен, что все, кто был связан с морем, с интересом прочтут эту книгу.

Татьяна Попова
Авто-Био
Историографические заметки
Одесса, изд. Бондаренко М.А., 2020

Профессор Одесского национального университета Татьяна Николаевна Попова посвятила свою новую книгу истфаку, с которым связана ее жизнь, ее становление как ученого.

Проще всего было бы определить эту книгу как мемуары. Но книга сложнее. В ней есть «Авто-Био…», но в ней есть и взгляд исследователя, оценивающего процессы, проходившие и в обществе, и в науке, и на родном истфаке.

Любовно и бережно рисует Попова портреты людей, с которыми долгие годы проработала в университете. Многих я знал, и рад, что наши оценки совпадают, имею в виду Петра Осиповича Карышковского, Михаила Ефимовича Раковского, Семена Иосифовича Аппатова.

Человек с хорошим чувством юмора, Татьяна Николаевна умеет быть не только ироничной, но и самоироничной, что делает чтение книги увлекательным. Тем более что структурирована книга с выдумкой. Как интересны разбросанные по книге авторские ремарки!

Книга предназначена историкам, выпускникам университета. Уверен, она важный вклад и в биографистику, и в краеведенье.

Елена Андрейчикова
Нежные выживут
Киев, Форс Украина, 2020

Это уже четвертая книга рассказов прозаика, переводчика Елены Андрейчиковой. Она начинала свою дорогу в литературе с коротких рассказов, затем последовал роман «Тени в профиль», и – вновь рассказы. Но я бы сказал – на новом уровне. Я это определяю, как путь от Чехонте к Чехову.

Психологические рассказы проникнуты сочувствием к героям. Нежностью, которая в дефиците в наше время.

Если прежде сюжет строился как переживание женщины, многие читатели воспринимали их как автобиографические, а критики готовы были отнести к разряду «женской прозы», сегодня в поле зрения писательницы появились мужчины, женщины и дети. Рассматривать этот калейдоскоп судеб как автобиографию смешно. Нужно оценить, как психологически точно ощущает автор переживания своих героев, как реалистично погружает читателя в наше непростое время.

А вот что сохранилось в прозе Елены Андрейчиковой от первой книги до нынешней – это ирония. Ирония делает ее прозу очень одесской.

Издано в Херсоне

Н.П. Белявская, Л.П. Еремина,
И.И. Зинченко
Вольдемар Рейсих
Одесская национальная академия
пищевых технологий
Херсон, Олди-Плюс, 2019

Герой этой книги инженер Вольдемар Рейсих мне был ранее неведом. Я не знал, что именно он возглавлял Одесскую школу мукомолов (1903-1907), а потом и Мельнично-техническое училище (1909-1919), из которого и родилась нынешняя академия. А для Н.П. Белявской, которая написала книгу-монографию о Григории Вайнштейне, выдающемся предпринимателе-мукомоле, новая книга стала продолжением рабочих исследований.

Но Вольдемар Рейсих был не только целеустремленным инженером, он был общественным деятелем в Одессе, борцом за права этнических немцев, которых начали притеснять с началом Первой мировой войны.

Так что теперь, задумываясь о немецкой составляющей одесского народа, будем помнить, что Рейсих был заместителем председателя Общества немецких колонистов Причерноморья, внесших большой вклад в экономическое развитие Одессы.

Издано в Нью-Йорке

Борис Амчиславский,
Эдуард Амчиславский
Утесовская энциклопедия. Том 1. А–В.
Нью-Йорк, Эдна Медиа Корп.,
2020

Более тридцати лет отец и сын Амчиславские изучают, собирают, издают материалы, связанные с нашим прославленным земляком Леонидом Осиповичем Утесовым.

Вершиной их трудов становится Утесовская энциклопедия.

В первый том, а это более 500 страниц, вошли только три буквы, так что предвижу, что энциклопедия займет около 10 томов. Это все песни, которые исполнял Утесов, их авторы, их история, это все адреса, где жил, где выступал артист, это все музыканты из его джаз-оркестров…

Читал первый том и находил многих одесситов, которых хорошо знал, будь то Михаил Водяной или Александр Баренбойм… Но очень многое было для меня открытием. К примеру, Утесов читал в концертах стихотворение Эдуарда Багрицкого «Контрабандисты». И вообще, поэт и артист переписывались.

Мы все запомнили Утесова по фильму «Веселые ребята» (кстати, герою фильма поставили памятник на родине – в Абрау-Дюрсо), но сниматься в кино Утесов начал много раньше. К примеру, в фильме по сценарию известного поэта Николая Агнивцева «Торговый дом Антанта и К°» Утесов сыграл роль Петлюры…

Думаю, много таких неожиданных историй ждет читателя в Утесовской энциклопедии.

Ольга Ладохина

Целостное представление о герое

Издано в Санкт-Петербурге

Елена Погорельская, Стив Левин
Исаак Бабель: Жизнеописание
СПб., Вита Нова, 2020

«Жизнеописание» Исаака Бабеля, человека с писательским любопытством и «аппетитом к жизни», такое долгожданное и симпатичное, в моих руках. Книга приехала из Санкт-Петербурга то ли с дыханием города на Неве, то ли с любовью всех, кто эту книгу готовил к печати.

Убеждена, что настоящая книга должна быть такой красивой, драгоценной, как в Одессе ее артефакты: дома на Ришельевской и Дерибасовской, оперный театр, гостиница «Красная»…

Читаю медленнее медленного, рассматриваю фотографии, как семейный альбом, внимательно и с любовью. С обложки смотрит на читателя пристальным взглядом Исаак Бабель. Впереди целая жизнь, взлеты и падения, травля со стороны коллег, попутническая, по словам Полонского, репутация, но «неугасимое

бешенство познания», работа над собственным стилем делают его сильнее. Это время, когда он собирает материал к новой книге, возможно, циклу рассказов по романному типу. Он словно говорит нам с портрета словами из письма: «Вы увидите, что медлительность моя имела основание…».

Вот авторы «Жизнеописания» Елена Иосифовна Погорельская и Стив Хаимович Левин между строк, цитируя тексты Исаака Бабеля и архивные материалы, пытаются разобраться, что же это было за основание. Что-то одесское в том, что у книги два родителя. Елена Иосифовна Погорельская – прекрасный комментатор «Конармии», ее филологические труды печатаются не только в России, но и за рубежом. Стив Хаимович Левин, влюбленный в творчество Бабеля еще студентом Саратовского университета, описал жизнь Бабеля на Волге в 1915 году в мельчайших подробностях.

Литературный Саратов всегда для меня был городом Н.С. Чернышевского, теперь стал еще бабелевским пространством. Когда я приехала в Саратов этим летом, то у памятника автору романа «Что делать?» увидела знаменитую консерваторию, в которой предположительно жили студенты и профессура киевского университета, эвакуированные во время Первой мировой войны. В книге фотография здания консерватории 1910 года, но и сейчас этот сооружение в псевдоготическом стиле с арками, летящими совами магическим образом привлекает к себе, не узнать его невозможно. Главка «На Волге» стала травелогом, увлекательным маршрутом моего познания жизни Бабеля в приволжском крае. И город Энгельс, куда наезжал Бабель, посетила, пытаясь найти следы былого изобилия и красоты, которыми восхищался Бабель. Колонистов давно нет в этих местах, но ландшафты призрачно напоминают о том времени. Название гостиницы у дороги сохранило прежнее наименование местечка – Покровское.

В книге переплетаются хроника и художественные тексты Бабеля, воспоминания его окружения и комментарии авторов. Подробно описан его дневник участника военного похода. Представляю Бабеля верхом, ума не приложу: где он всему этому обучился?! Примечательная запись автора: «Командарм вызывает начдива на совещание в Козин. 7 верст. Еду. Пески. Каждый дом

остается в сердце». А люди ему еще интереснее («мы беззаветные герои все»). Внутри массы выделял кубанцев, отмечал их привлекательность, истовость и умение дружить, а я эти качества всегда замечаю в одесситах, поэтому читать текст было в удовольствие мне, родившейся на Кубани, влюбленной в Одессу.

Внутри книги есть история создания Бабелем «Жизнеописания Павличенки, Матвея Родионыча». Авторы словно дают подсказку: книга названа так, потому что задумано «целостное представление о герое», как у Бабеля.

Все начинается с описания Одессы, где зародилась золотая писательская жилка, цитирования «Истории моей голубятни». Книга получилась с одесским акцентом – сначала детство на Молдаванке, потом время создания литературного клуба «Под яблочным деревом» в 1921 году и жизнь с семьей в женском монастыре на девятой станции Среднего Фонтана.

Московские страницы «Жизнеописания» пестрят известными фамилиями вокруг Бабеля: Маяковский, Кирсанов, Мейерхольд, Катаев… Маяковский не только обожает Бабеля, его любовь граничит с восхищением, он считает его новым поколением писателей, в Германии на одном из выступлений он превосходно прочел рассказа Бабеля и произнес сакральное: «Прежде чем нападать на Советский Союз, надо вам послушать, как у нас пишут».

Подробнейшим образом описана парижская жизнь советского Мопассана, его окружение и пристрастия. Потом будет Марсель, в котором он видел сходство с Одессой.

Самыми лиричными фрагментами «Жизнеописания» станут главы, в которых Бабель знакомится с Антониной Пирожковой, ее памяти посвящена эта книга. Спустя много лет она напишет: «Моя жизнь с Бабелем была очень счастливой. Мне нравилось в нем все, шарм его был неотразим. Перед ним нельзя было устоять». Вот в этой тональности искренности их первые свидания в Москве и потом, после его возвращения из Парижа, в Кабардино-Балкарии, в Донбассе…

Все главы сопровождают эпиграфы, к последней слова французского писателя Андре Мальро: «Ад – это не ужас, ад – это когда человека унижают еще до смерти, независимо от того, приходит смерть или проходит мимо». Читать о жизни Бабеля в годы

большого террора, когда процессы над «врагами народа» и аресты каждую ночь, поучительно и символично сегодня, в это время он не расстается с «Историей Рима», произнося: «Похоже на наши дни». Съездила в писательский городок, с крылечка дачи Бориса Пастернака смотрела в ту сторону, откуда на рассвете после обыска забирали Исаака Эммануиловича, и читала в «Жизнеописании» последний диалог с Антониной.

«Ужаснее всего, что мать не будет получать моих писем», – сказал Бабель.

«Буду Вас ждать, буду считать, что Вы уехали в Одессу… Только не будет писем», – ответила Антонина.

Последняя фотография в книге – дочь, внук и правнук у памятника Бабелю в Одессе. И это не случайно, потому что он там, и не только на улице Жуковского, его тексты рассыпаны по всему городу, арестованные, как пишут авторы, творения еще ждут возвращения в родной город. У Дмитрия Быкова тоже была попытка – объяснить белые пятна в биографии Бабеля, и он написал фантастический роман «Оправдание». Авторы «Жизнеописания», основываясь на достоверных фактах, используя тексты писателя, сумели увековечить его память.

Москва

Содержание

От редакции 3

Михаил Жванецкий
Обман 6

Юрий Михайлик
В том небе, которое нам дано 8

История, краеведение

Олег Губарь
Путеводитель по пушкинской Одессе 12

Андрей Добролюбский
«Я попал в какой-то другой мир…» 32

Макс Нужный
Человек инициативы 45

Тамара Каганович
Одесские Кагановичи 57

Проза

Елена Андрейчикова
Рыба на дереве 76

Яков Шехтер
Черный ластик 84

Анна Михалевская
Хлеб Соломии 94

Александр Бирштейн
Сказки 110

Алексей Овчинников
Рассказы на этикетках 125

Ирина Фингерова
Рассказы не о любви 132

Поэзия

Игорь Потоцкий
Стихи о моей еврейской родне 140

Вера Зубарева
«Между Омегой, Альфой и Одессой…» 147

Анна Стреминская
Мы держим шар земной в руках. 155

Алла Марголина
Из сожженной рукописи 162

Инна Квасивка
Во времена года 164

Эвелина Шац – Татьяна Грауз
Диалог поэтов. 168

Первые шаги

Море талантов Украины 180

Искусство – жизнь – искусство

Евгений Голубовский
Ангелы Александра Ануфриева 194

Феликс Кохрихт
Я не ангел, не Нерон. У меня – иной резон! 198

Белла Кердман
Островские 199

Феликс Кохрихт
Per aspera ad astra. 208

Виталий Абрамов
О художнике Александре Неймане 215

Микола Жулинський
Іронічно-сатиричний погляд славного одесита 238

Леонид Авербух
Одесские музы поэтов 241

Публикации

Евгений Голубовский, Евгений Деменок
Хлебников, Бондарин и «Зангези» 262

Аркадий Ровнер
Эпифания 278

Елена Константинова
«Лиры струна поострее осоки…» 285

Сокровища из сокровищницы

Татьяна Щурова
«На пути затерянных времен…» 304

Путешествие

Екатерина Безпалова
Мексиканская робинзонада 322

Ах, Одесса

Наталья Бржестовская
И дольше века длится жизнь 336

Евгений Ушан
Этот негодяй коронавирус 340

Алекс Сино
Червонец Кобыливкера 343

Александр Мардань
С поэтами не расставайтесь 347

Нина Данилова
Ангел на абонементе 350

Екатерина Яковлева
О котах, об ангелах и о людях 356

Надежда Барчук
На Молдаванке музыка играла 366

Издано...

Евгений Голубовский
Книжный развал 370

Ольга Ладохина
Целостное представление о герое 377

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах
Книга 83

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac
Book 83

Издается с 2000 года

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Технический редактор Геннадий Танцюра
Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 31.10.2020
Бумага офсетная PAMO SUPER 80 г/м

FSC
accredited
FSCTrademark©1996
ForestStewardshipCouncil®A.C.
FCS-ACC-015

Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Заказ № .... Тираж 100 экз.

Всемирный клуб одесситов
65014 Одесса, Маразлиевская, 7
Украина
Тел.: +38 (048) 725-45-67

Worldwide Club of Odessits
7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa
Ukraine
Tel.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»
Украина Одесса, ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД № 121 от 20.01.2003 г.
E-mail: takibook.odessa@gmail.com. Тел.: +38 (067) 486-20-34
www.takibook.od.ua

Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
Регистрационное свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010
а/я 299, 65001 Украина Одесса
Тел.: +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua